

Апостолы Алтая. Сборник рассказов из жизни алтайских миссионеров

А.И. Макарова-Мирская

Предисловие

Апостолы Алтая... Чудное создание Божие – Алтай, прекрасная жемчужина в венце Его творений, дана была им в жребий, и они свято исполнили своё предназначение: призванные Господом к проповеди Слова Божия на новой ниве, они всю свою любовь и силы отдали просвещению народов дальних окраин отечества, пребывающих во «тьме и сени смертной».

Книга А. И. Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая» повествует о жизни и трудах священнослужителей Алтайской духовной миссии, учрежденной в 1830 году для проповеди Евангелия среди инородческого населения Алтайской возвышенности в Сибири. Первое издание её было осуществлено в 1909 году в память 25-летия епископского служения святителя Макария (Невского, 1835–1926). О нем и его сподвижниках рассказывается в этой с любовью созданной книге. Рассказы и стихи сборника дышат достоверностью собственных воспоминаний автора и высокой поэтичностью в изображении чудной природы дикого Алтая. Книга увлекательно повествует о жизни и обычаях алтайцев и о чудесной помощи Божией в трудах их просветителей, в простоте и смирении совершающих великий подвиг самоотвержения во имя Божие.

Проникнутая высоким настроением радости стояния в вере, книга поможет нам утвердиться на спасительном христианском пути.

Родители, желающие воспитывать своих детей в духе Православной Церкви, найдут в сборнике «Апостолы Алтая» лучшие примеры христианской добродетели.

Предисловие

В известном, весьма симпатичном очерке «Алтайские Подвижники» А. Гено, между прочим, пишет... «вот уже около ста лет, среди дикого населения Сибири, работали и работают

безвестные, но самоотверженные и доблестные работники на ниве Христовой, имена которых, благодаря их скромности, почти неведомы толпе, но зато записаны у Господа Бога на небесах. Так, в далёкой, холодной стране, среди тысячи опасностей и всевозможных лишений суровой обстановки, часто рискуя своей жизнью, терпя холод и голод, работают священнослужители Алтайской духовной миссии. Они проповедуют имя Христово людям, не знаяшим дотоле своего Создателя. Несут свет христианской любви и милосердия в непроглядную тьму язычества, часто не получая на земле другой награды за свой великий и святой подвиг, кроме предвкушения обещанной награды на небесах: «аще кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царствии Небесном» (Мф. 5:19).

В настоящей книге «Апостолы Алтая» я и хочу познакомить читателей с некоторыми из этих смиренных и незаметных подвижников, во главе с Высокочтимым Высокопреосвященнейшим Макарием, Митрополитом Московским и Коломенским, которых я, как жившая много лет на Алтае, лично хорошо знала и о трудах и подвигах которых слышала от очевидцев, достойных полного доверия. Это второе издание, как и первое, я посвящаю Высокопреосвященнейшему Макарию, единственному так много и с пользою потрудившемуся на миссионерском поприще Алтая.

Это второе издание, как и первое, я посвящаю Высоко преосвященнейшему Макарию, единственному так много и с пользою потрудившемуся на миссионерском поприще Алтая.

Митрополит Макарий Московский

Выдержки из отзывов печати о первом издании книги А.И. Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая»

I

«Симпатичный по идее и назначению труд известной сибирской писательницы А. И. Макаровой-Мирской – «Апостолы Алтая» достоин глубокого всестороннего внимания и широкой популяризации. Сколько чувств святых, сколько благородных мыслей, сколько энергии к подражанию будет в читателе эта краткая Алтайская библия – «Апостолы Алтая». Она является светлым огоньком, возле которого холодные сердца могут согреться; огоньком, возле которого заблудившиеся могут найти себе покой и пристанище... Смело могу сказать, что если бы Катунские ледниковые столбы были людьми и прочли бы «Апостолы Алтая», уверяю, растаяли бы. С каким захватывающим интересом и упоительным умилением читается эта книга одним, но ещё большее впечатление, ещё большее душевное наслаждение дает эта книга, когда читаешь её народу вслух. Лучшим доказательством этого может служит опыт.

Опытом установлено, что «Апостолы Алтая», в руках хорошего лектора на народных праздничных чтениях производят неотразимое действие на слушателей...

Остается одного пожелать, чтобы добрый труд доброй труженицы А. И. Макаровой-Мирской читался народу на воскресных и праздничных чтениях. Дай Бог, чтобы её святые семена сеялись в сердцах доброго русского простого народа. Простой народ мало видит доброго, мало чувствует теплого. А эта книга, «Апостолы Алтая», вдохнет в сердце народное доброту любви и теплоту сердечной веры и приучит к самоотверженному труду».

Павлин Алтайский.

«Томские Епархиальные Ведомости»

II

«Прекрасно составленная и прекрасно изданная сия книга достойна общего внимания и особенно внимания миссионеров.

Здесь во множестве отдельных этюдов изображена святая и великая деятельность алтайских миссионеров... Большая часть книги написана составительницею в одном духе и стиле живого и поэтически возвышенного описания чудной природы Алтая и удивительной деятельности Алтайских миссионеров...

К дивным словам прекрасных описаний присоединяются столь же прекрасные картинки природы и изображения лиц, притом не только главных, но и второстепенных, и даже персонажей, по-видимому, совершенно не важных, но необходимых для обрисовки всей картины жизни и общего состояния алтайского миссионерства. Невольно, посему, думается: вот бы какие книги должно читать воспитанникам духовных семинарий, а равно и будущим миссионерам, а не Майн-Рида и Купера!

Поэтическая проза нередко переходит здесь и в лирическо-стихотворные излияния о лицах и событиях».

А. А

«Казанские Епархиальные Ведомости». 1910 г

III

«Новая книга «Апостолы Алтая» – юбилейное издание, дар глубокого почтения Апостолу Алтая, Высокопреосвященнейшему Томскому Архиепископу Макарию. Точно живыми в рассказах Мирской, дочери алтайского миссионера о. Ландышева, встают перед вами алтайские миссионеры-подвижники... Автор, плоть от плоти и кость от кости миссионерской, дивно хорошо воспроизвела в своих рассказах настроение души миссионеров, их горячую любовь к алтайцам, детям природы, их полную веры и чувства проповедь Христа, замечательно художественно и трогательно, но до слёз изобразила труды и подвиги Апостолов Алтая, не жалевших ни сил, ни жизни для служения спасению людей...

Художественное изображение природы Алтая с его горами, оврагами, водопадами и реками, вместе с иллюстрациями красивых местностей Алтая, его храмов, выстроенных на вершинах гор, святых обителей с сияющими крестами на главах церквей, уносит мысль читателей в отдаленный край, где так ещё много людей, незнающих Христа. Так и хочется улететь

туда, отдать себя на святой подвиг проповеди христианства: едва ли найдется такой сухой сердцем человек, который, прочитав книгу, состоящую из нескольких рассказов и стихотворений, полную прекрасных иллюстраций, не благословит сердцем тружеников-миссионеров, не почувствует всей высоты их дела, не проникнется к ним уважением».

Иеромонах Никон.

Троицкое Слово.

IV

«В минувшем 1909 году, когда исполнилось 25-летие служения в святительском сане Архиепископа Томского и Алтайского Макария, увидела свет прекрасная книжка А. И. Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая»... Книга эта является благоухающей пальмовой ветвью на тернистом жизненном пути архипастыря, одного из числа тех работников на ниве Христовой, имена которых не пользуются громкой известностью, не окружены дымкой легендарных подвигов, но свято чтутся теми детьми природы, среди которых прошла их многотрудная жизнь, в чьих сердцах затеплилась, благодаря им, вера в учение Божественного Страдальца».

«Русский Паломник». 1910 г. № 8.

V

«Рассказы и письмо это (Архиепископа Казанского Владимира) – не вымыслены. Это факты из жизни, сравнительно не очень давней, небольшой кучки миссионеров на Алтае. В книге названы имена действующих лиц, большую частью уже умерших. Называется книга «Апостолы Алтая»... Так вот где они – люди трогательной доброты! Думалось при чтении книги, вот куда они унесли доброту, уйдя из духовной школы! Так немного этих людей: и горячность и ласковость христианской души они унесли почти первобытным народам!..»

«Московский Еженедельник». 10 июля 1910 г.

VI

«Книгу А. Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая» – сборник рассказов из жизни алтайских миссионеров, в память 25-летнего служения в святительском сане Высокопреосвященного Макария, Архиепископа Томского и Алтайского, – Харьков, 1909 г.

– одобрить для приобретения в библиотеки духовно-учебных заведений».

«Журнал Учебного Комитета», утвержденный Св. Синодом.
«Церковные Ведомости». 18 сентября 1910 г. № 38



- 1) Архимандрит Владимир (умерший архиепископ Казанский);
- 2) Прот. Стефан Ландышев (умерш.);
- 3) Игумен Макарий (ныне Митрополит Московский и Коломенский);
- 4) Прот. Василий Вербицкий (ум.);
- 5) Иеромонах Иннокентий (Солотчин, ныне епископ);
- 6) Иеромонах Антоний (ум. архимандр.);
- 7) иеромонах Дометиан (ум.);
- 8) свящ. А. Гусев (ум.);
- 9) свящ. Филарет Синьковский (ныне архиепископ Донской);
- 10) свящ. Вас. Постников (ум. протоиерей);
- 11) иеромонах Тихон (ум.);
- 12) свящ. В. Россов (ныне протоиерей);
- 13) свящ. М. Чевалков (ум. протоиерей);

- 14) свящ. К. Соколов (ныне епископ Бийский);
- 15) свящ. И. Смольянников (ум.);
- 16) учит. М. В. Турбин (ныне протоиерей);
- 17) диакон В. Ландышев (ум. Свящ.);
- 18) диакон Никита Михайлов (ум. свящ.);
- 19) диакон Суслонов (ум.).

Алтайские миссионеры

Я знаю вас, Апостолы Алтая,
Я с детства знаю вас,
С восторгом вас всегда благословляю
И песнь сию с любовью начинаю
Я петь не в первый раз.

Не славу вам певец родной слагает,
Нет, – песнь его чиста...
Вам слава не нужна, он это знает,
Но, славой вашею, он прославляет
Спасителя – Христа.

Владыка мой!
Тебя Отцом не смею
Назвать... Благослови
Воспеть Тебя, как смею, как умею;
Воспеть слова, которые лелею
В душе, – слова любви.

Прости меня! Отеческой любовью
Миссионеров сих
Ты осенил. А я – родной им кровью,
Любовью, верою... Я славословлю
Тебя, Господь, для них...

Спаси их, Господи! Они достойны
Любви Твоей святой.
За подвиг их тяжелый, беспокойный,
За веру их, терпенье, труд их знайный –
Спасенья удостой!..
Вотъ, на горах стопы благовестника, возвещающаго мир.
(Наум. 1: 15. Ис. 52: 7 Рим. 10: 15, 18. Пс. 18: 5).

|

На дальней окраине русской земли,
В стране, где – громады Алтая,

Где к своду небесному льды подошли,
Где всюду леса вековые росли,
Руки человека не зная,
* * *

В стране, где с создания мира царил
Князь тьмы и враг веры Христовой, –
Там люди не знали, кто их сотворил, –
Кто солнце, луну и тьму звёзд засветил,
Кто создал Алтай стоголовый.

* * *

Они поклонялись богам из камней,
Из дерева, меди и кожи,
А в жертвы – живых раздирали коней...
И жизнью и нравом – на диких зверей,
Соседей их, были похожи...

* * *

Не знали они, что Спаситель-Христос
Явился, от Девы рожденный;
Что с неба на землю любовь Он принес
Всем людям; что эту любовь Он вознес
С Собою, на крест пригвожденный...

* * *

И вот, через много веков, наконец,
Любовию Божьей водимый,
В Алтае явился предивный пришлец, –
По дебрям искать горохищных овец...
И с ним был Спаситель, незримый...

* * *

Беду и нужду, и труды без конца
Принявшi как счастье, как благо,
Крестить стал алтайцев, во славу Творца,
Пришлец сей священный, во имя Отца,
И Сына и Духа Святого.

* * *

Сей верный раб Господа жизнью своей
Был дивен, как ангел во плоти...
Смирением сердечным пленив дикарей,

Он кроткими сделал неверных людей,
У демона бывших в работе...

Ни сил, ни здоровья своих не жалел
Отец архимандрит Макарий...¹
Он душу свою положить захотел
За други... ²За кровный же труд приобрел
От Домовладыки динарий... ³

То было давно: три и осьмидесят лет
С тех пор протекло...⁴ И пустыня
Как крин процвела... В мире сем уже нет
Макария, – в небе он... Только привет
Алтай ему шлет и поныне...

II

Преемник Макария был ученик
Сего преподобного. Свято
Учителю следовал он. И проник
С Господним крестом вглубь Алтая стариk,
Любя инородца – как брата...

То – многострадальный Стефан⁵. – Он просил
У Бога, для жатвы богатой,
Дать делателей, ибо не было сил
Успеть одному...⁶
И сей раб получил
Динарий от Господа в плату...⁷

III

И скоро на проповедь веры Христа,
Собрались отцы отовсюду,
И скоро в Алтае, на лучших местах,
Воздвигнули знамя святого Креста,
Воздвигнули храмы повсюду.
Где идоложертвенный огнь ещё тлел,
Там слышалось слово: «Спасайтесь», –
Спасайтесь, друзья, так Господь восхотел...
Пронесся в Алтае, везде загремел

Евангельский голос: «Покайтесь»...⁸

* * *

Господь возлюбил сих отцов... Благодать
Господня на них обитала:
Крестом они стали бесов отгонять,
Душою и телом больных исцелять⁹,
Чтоб слава Христа воссияла...

* * *

Но демон, дух злобы, не раз восставал
На сих проповедников Слова.
Не раз против них он войну воздвигал,
И в людях не раз он вражду возбуждал
И ненависть к слугам Христовым...¹⁰
И много они, от бесовской вражды,
Терпели несчастий и горя...
И ждали они постоянно: беды¹¹,
Болезни, опасности, скорби, нужды,
Напастей житейского моря...

* * *

То – в пропасть с обрыва летит, то – с горы,
Усердный Господень служитель,
То – горных, холодных рек бурный порыв
С конями уносит, то – снег, то – жары...
Но всюду хранил их Спаситель...

IV

И ныне нам чудный является вид:
В Алтае – крещёном, в горах,
В лесах православная церковь стоит,
На ней, выше леса, сияет-горит
Святой Крест – для демонов страх...

* * *

И там, где недавно жрец демонов – кам,
Бесов призывал заклинаньем,
Где демонский хохот гудел по лесам,
Где идольской жертвы был стон, – ныне там
Всё дышит Христовым сияньем...

* * *

И там, где гудел только бубен шаманский,
В пустынном ущелье глубоком,
Где крики и стон были шайки шайтанской, –
Звон колокола, слышим мы, христианский
Несется далёко-далёко...

Несётся и – в дом, и в аил по долам
И ласково-нежно поёт...
Зовёт христиан он к Спасителю в храм.
Собрал он отцов проповедников там
И – юных по вере зовёт...

И в храме убогом с народом стоит
Епископ Алтая смиренный,
Алтайским, родным языком говорит
Он слово алтайцам: «да благословит
Вас, дети, Спаситель вселенной»...

Со своим архипастырем, в ризах, собор
Отцев-иереев. Меж ними
Алтайцы природные есть. С ними – хор
Алтайцев-певцов. – Полон храм и притвор,
Алтайцами полон одними.

И радостно тихо несётся волной
Торжественно-чудное пенье:
Сегодня собрал нас Святой Дух Своей
Святой благодатью...¹² – Невольной слезой
У всех говорит умиление...

V

Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш
благоволи дать вам царство.
(Лк. 12:32)

Макарий – посеял, Стефан – поливал,
Христос возрастил эту ниву¹³,
И новых Он сеятелей посыпал,
И жатву обильную им подавал

Везде, где трудились, – на диво.

* * *

Так тихо заря христианства зажглась
На дальнем Алтае суровом,
Зажглась, разгорелась и ввысь поднялась...
Холодная мгла духа тьмы улеглась,
Гонимая светом Христовым...

* * *

Так многие тысячи диких людей
Узнали на небо дорогу;
И нравами ныне, и жизнью своей –
Уже не похожи на диких зверей,
А сделались чадами Бога...

* * *

Возрадуйтесь же, проповедники Слова:
Динарий от Домовладыки,
За труд ваш, – всем равная плата готова,
Готовы объятия Отчи, Христовы,
Принять вас в небесные лики.

* * *

Ликуйте епископы – миссионеры,
Трудившиеся на Алтае
Полжизни своей, ибо радостной веры
Никто не отнимет у вас¹⁴ и, без меры, –
Подвижникам радости рая...

VI

О, родина-мать! Православные люди
Молитесь и жарко и много:
Да пламенные не изноют их груди
Под ношою крестной... Да с ними пребудет
Любовь Вседержителя – Бога.

* * *

Молитесь о тех, что для Бога решились
До смерти своей потрудиться,
Чтоб все инородцы в Алтае крестились...¹⁵
Чтоб Господа славить они научились,
Чтобы научились молиться.

* *

*

Подвижников этих Господь призывает
На проповедь веры святую;
Своими Он братьями их называет...¹⁶
А тем, кто их любит, Господь помогает
И радость дает неземную.

* *

*

Придите-ж на помощь им, братья и други!
Хоть слово скажите в отраду,
Хоть лепту им дайте, хоть – ваши досуги,
Хоть – чащу студеной воды для услуги, –
И Бог не лишит вас награды...¹⁷

Из алтайских воспоминаний

Посвящается Высокопреосвященнейшему Макарию,
Митрополиту

Московскому и Коломенскому.

І

У просфорни Евдокии были глаза ребенка – большие, чистые, светлые. Вся её кроткая душа глядела из них, и матушка Агрипина Ионовна, которой она помогала проводить многотрудную жизнь, не раз повторяла своему миссионеру мужу:

– Святая она, о. Стефан! Сколько в ней этого незлобия – Боже мой! никогда ни слова ропота... вся – любовь.

И в шутку говорила смущавшейся сотруднице: – Ну, моя любовь ходячая, иди-ка: новое дело есть, потрудись. Умелыми руками пекла сестра Евдокия просфоры, обмывала и обшивала новокрещённых, учила читать детей, и единственной мечтой её была мечта жить в обители, о которой мечтали все в маленькой миссии, начинавшей уже разрастаться. Мечтала сестра Евдокия о строгой жизни, о подвиге, не сознавая, что совершает его, бредила схимой и, слушая шелест леса и шум реки в тихие вечера, когда засыпало многочисленное потомство о. Стефана, она говорила Агрипине Ионовне, выходившей к ней на крыльцо под деревьями:

– Схиму вижу... в гробу себя... поют надо мною, а колокола звонят... около Маймы реки, где заводь... там – монастырь будет.

Матушка улыбалась, но сдержанно: она тоже начинала верить, что мечты просфорни Евдокии сбудутся, потому что и о. Стефан мечтал о том же, и суждено, значит, было раздаться колокольному звону под синим алтайским небом в долине, у быстрой речки Маймы.

– Кто знает, – рассуждала она с мужем, – может будет она схимницей за кротость свою... душа её подвига желает.

И матушка вглядывалась в темную синеву вечернего неба, на котором мерцали звёзды.

П

Редко миссионерский стан посещали гости; ещё реже являлись сотрудники; тugo шли в миссию священники: пугала необеспеченность, труд непосильный, езда по трущобам тайги и перевалам, пугала борьба со стихиями. О незаметных тружениках стали говорить, как о смельчаках; говорить, удивляясь их терпению, о том, с каким трудом достаются им души алтайских людей, которые они пришли спасать, а имя умершего уже святого архимандрита, основателя Макария, произносили с благоговением, его память чтили и, когда о. Стефан впервые увидал молодого студента Михаила Андреевича Невского, пришедшего к нему с горячей просьбой о работе в миссии, он пристально взглянул в горевшие пламенем веры ясные глаза своими умными зоркими глазами и сказал:

— Ну, и будь ты вторым Макарием, золото мое, Михаил Андреевич.

III

В маленьком домике, где просфорня монахиня Евдокия учила девочек и пекла просфоры, была чистота ослепительная. Матушка Агрипина Ионовна часто приходила к ней помогать в пении, а инородческие девочки, пока в количестве четырёх, охотно слушали мечты Евдокии о монастыре и монашестве, особенно одна маленькая Чевалкова, дочь толмача инородца, была внимательна к её словам. Приходили и молодые тётки Чевалковой и её сестрёнок, и матушка с детьми на убогое крылечко, и тихие Улалинские горы слушали молодые голоса, певшие слова стихов, сложенные для них Макарием основателем. Сестра Евдокия учила просто, ласково, любовно, и все дивились доброте и терпению этой бледнолицей девушки с ясными глазами, умевшей так любить всех и так же неутомимо работать, как и матушка, сильная телом и духом, а девочки Чевалковы, первые её ученицы, вместе с дочками матушки считали её за вторую мать. Здесь, в этой тихой комнате, коротала она краткие минуты досуга, очень редкие, здесь думала свои думы, здесь в странном экстазе после молитв ей виделось будущее, и она улыбалась ему, являвшемуся к ней миражем с рядами монахинь, несущих ей схиму под звон монастырских колоколов.

IV

Был тихий жаркий летний день. Парило. Беловатое марево тянулось к небу, и Павел Тюнеков, приехавший из Чергачака, говорил, что Бобырган (гора по левую сторону Катуни) закурился, предвещая ненастье. В доме о. Стефана усердно мыли и без того чистые полы, а матушка хлопотливо и торопливо бегала по комнатам. Через того же Тюнекова она получила записочку от мужа, что он к вечеру приедет с сотоварищем миссионером, всегда дорогим гостем в семье о. Стефана, и привезёт ещё нового сотрудника и помощника последнему. Сестра Евдокия и две инородческие девочки усердно помогали ей, а детки о. Стефана играли на большом дворе, где природные деревья густо разрослись, пышные и незапылённые среди зеленой поляны, за которой шумела Майма.

– Что ты задумалась, сестра Евдокия? Не хвораешь ли? – спрашивала между делом матушка. – Что-то и лицо невесёлое стало!

– Ничего я это, родная! – встрепенулась та. – Нашло на меня что-то... вот, точно жду кого.

– Ну и сказала же! – усмехнулась матушка. – Конечно, ждем. О. Стефан давно уже уехал, долго не видали, соскучились, и гостей везёт. А знаешь? Чевалков был у нас поутру, говорит, что люди насмехаются, что он поёт с детьми, и над нами с тобою. Вот и Павел Тюнеков, что сейчас был здесь, тоже смеется:

– «Воете, как волки!» – говорит... Они, ведь, не стесняются... богатый он... при мне обидел Чевалкова. Дикие, от света сторонятся... Не жалею я, сестра, что пошла сюда. Вовсе нет – люблю их; знаю, и ты любишь, только трудно, милая, приучить их к себе, к хорошему, к добруму. А Чевалков лучше – он понимает и помогает нам... Побольше бы таких! Вот, сейчас едет новый, издалека... убежит, пожалуй: скучно молодому в горах наших будет.

– Если для дела пришел, то их полюбит! – сказала раздумчиво сестра Евдокия. – Ах, матушка, почему это мне всё кажется: шумит река, звонят колокола, не наши улалинские, а другие... И вижу я икону Божией Матери, и хор поёт, а в хоре том

– Матрешин голосок ясный и мой грешный голос слышатся, и что-то точно сердце толкает: «скоро, говорит, скоро!»

– Провидица. Про своё всё, о монастыре грезишь! – улыбнулась матушка, умыв руки и оправив рукава.

V

– Мама, едут, едут! – закричали дети. И обе женщины кинулись к воротам, за которыми виднелись вдоль улицы несколько всадников. Матушка шла быстро, почти бежала, а за ней в отдалении, слегка прихрамывая, шла сестра Евдокия, и её глаза неотступно и зорко вились в приближавшихся, полные странного и восторженного изумления. Вот, они спешились. Вот, она различила ясно небольшую фигурку о. Стефана и священника миссионера... – «Но кто же этот?» Мелькают черты... Не простой молодой человек видится ей, нет: тёмную рясу она видит, видит клобук... Опять точно застилает ясные глаза... Вот, он в омофоре и саккосе, с митрою на голове и с посохом в руке под сводами огромного храма... Вот, он в белом клобуке с белым же крестом, этот новый человек... и блестит, горит белый крест; горит и переливается этот знак высшей духовной власти...

Со страшно забившимся сердцем, сестра Евдокия сделала несколько шагов навстречу идущим к ней путникам и перед всеми, изумленно глядевшими на нее, упала в ноги скромному красивому студенту, с невольным испугом взглянувшему на эту бледную монахиню, поклонившуюся ему до земли.

– Сестра Евдокия, что с тобой? – воскликнул миссионер гость в глубоком недоумении. А матушка испуганно старалась приподнять склонённую в поклон голову;

– Милая моя, что с тобою? Один только о. Стефан, раздумчиво качая головою, махнул всем рукою по направлению к дому, и, когда они, повинувшись, отошли, положил руку на всё ещё склоненную голову монахини и молвил просто, задушевно, МЯГКО:

– Что тебе привиделось, Евдокия? никого нет, ушли, не смущайся.

Она, наконец, подняла голову и глазами, полными слез, взглянула на о. Стефана, которого чтила и любила; её губы затрепетали, и она сказала, с трудом произнося слова:

– Сану его великому, будущему поклонилась я... В омофоре и митре его увидала, и крест белый на клобуке, может быть это знамение, может быть это от лукавого, прости меня, о. Стефан!

Он тихо усмехнулся мягкой и ласковой усмешкой и промолвил, кладя палец на уста, серьёзно и властно: – Молчи! никому ни слова... Душа твоя, как у ребёнка чистая, многое такое видит, что иным неведомо: но рано говорить об этом до поры, сестра Евдокия.

И она долго никому об этом не говорила.

VI

Шли времена. Над Маймой зазвонили колокола тихой обители; скромная труженица через много лет приняла схиму; приняла её тогда, когда уже не стало Агрипины Ионовны и о. Стефана. Им не суждено было увидеть омофор и саккос на плечах Михаила Андреевича: они умерли, оставив его архимандритом Макарием... Всё уносящее время унесло и схимницу: она ушла в горные селения уже при епископе Макарии; но из горного мира все они, много потрудившиеся в горах Алтая, видят митрополита Макария, печальника алтайского, чью будущность прозрели чистые глаза скромной монахини, положившей жизнь на благо родного сердцу Алтая...

Не многим говорила она о своём видении, но в сердце любящем добрых и чистых сложились и запомнились её сбывающиеся слова. И теперь, в дни служения в великом сане митрополита Макария, они решились рассказать то, что было, потому что светильники должны быть возожжены, чтобы осветить чистое прошлое светлых людей для истории и будущих поколений.

Смиренный

Тихие, невозмутимые, безучастные ко всему люди.

Иногда Михаилу Андреевичу казалось, что их нельзя тронуть, что для них имя Бога Живого непонятно, и что их ленивому уму не постичь тех слов, которые рвались из его сердца и трепетали на устах... Они и за своих идолов держались потому, что эти божки не требовали ни особых молитв, ни особых приношений, все молитвы у них исполнялись камами, и редкие интересовались своей религией. Он не раз высказывал о. Стефану свои мысли.

– Не хотят слушать! плохой выйдет из меня миссионер.

И столько искренней печали звучало в молодом голосе, что о. Стефану становилось его жаль.

– Учись языку! – говорил он ласково. – Жене и мне тоже тяжело было, тоже и надежды теряли с ними, и о. Макарий не раз, может быть, сомневался в силах своих. Народ кроткий, но ленивый, трудно им от старого отрешаться. Погоди, не всё сразу, наше дело уловление душ терпением даётся. Лукавый тут на страже, ему тошно, что эти простые сердцем запутались в цепях его. Вот, говорю, учись с Чевалковым языку: убеждённый он человек, ученик Незабвенного. Да ты уже много успеха сделал... слышал я тебя, понимаешь алтайский уже хорошо!.. Вот весна настанет, поедем с проповедью вдаль, в глушь; они, ведь, гостеприимны и добродушны. А ты можешь говорить, золото мое, потому что пришел с любовью в сердце сюда, не из-за корысти какой.

И уходил справляться с отчетами и многими письменными работами, в неутомимом труде проводя жизнь, а дома говорил жене, отрывавшейся от вечных забот и хлопот для кратких минут досуга:

– Будет из него толк, из помощника моего нового; смотрю на него и Незабвенного вспоминаю. Бывало, также горел, на дело рвался, и всё ему казалось мало. И этому хочется проповеди и боится за силы свои, очень уж его пугают алтайцы, боится, что души их ленивые тронуть не сможет, и ни помысла о мире, о

семье, будущий инок. Помяни меня, преемник будет незабвенному архимандриту, первому Алтая апостолу.

Жена внимательно слушала его речь, она привыкла вдумываться в каждое слово мужа и знала, что он не скажет необдуманных слов. Умными темными глазами она приглядывалась к новому помощнику мужа и стала замечать, что он действительно горит на работе, она дивилась его готовности отдаваться делу, его неутомимым занятиям алтайским языком и ставила в пример своим малышам этого ушедшего из мира юношу, полюбившего их родину, задумчивый и прекрасный Алтай.

II

К весне Михаил Андреевич чудесно усвоил алтайский язык; в семье толмача Чевалкова к нему привязались все, как и в семье о. Стефана; и как дивились сам Чевалков и его семья тому, что скоро научился он понимать язык их родины.

– Матерь Божия помогла! – говорил Михаил Андреевич, и стал заниматься вместе с толмачом переложением священных книг на язык Алтая.

Слушая восторженные отзывы толмача Чевалкова о своём помощнике, о. Стефан улыбался редкой улыбкой и говорил своей Агрипине Ионовне: – Золото он мое. Сердце радуется, смотреть на него люблю я: весь он – пламя чистое, будет светильник Алтая.

А весна наступила чудная, теплая и ровная в этот год, осыпая кой-чечеками проталины гор.

Из дальних аилов потянулись в Улалу больные; матушка любила лечить, она не гнушилась грязных ран и больных глаз, не гнушилась паршами и молочницей, неизбежной болезнью алтайских детей, поражавшей даже восьмилетних. И лечила, обмывала и перевязывала их вместе с сестрой Евдокией, а Михаил Андреевич дивился этим деятельным любящим женщинам, и в его кроткой душе опять рождалась мысль, смиренная и скорбная, о том, что сам он ещё так мало сделал для Алтая. Семья о. Стефана почитала основателя миссии, его имя было святым тут, и рассказы о его подвигах, о его трудах трогали Невского, возбуждая пламенное желание подвига. Он

стал помогать Агрипине Ионовне в её трудах, не оставляя переводов, занимаясь пением и готовясь ехать на проповедь с о. Стефаном вглубь пробуждавшегося Алтая, который загремел ручьями, зарокотал шумными речками, сбросившими ледяные оковы.

– Погоди, пройдут реки! – удерживал его о. Стефан. – Я, милый, не раз тонул; успеем, не рвись!..

И когда береза развернула чуть-чуть клейкие душистые листочки, о. Стефан сказал ему ласково:

– Ну, вот, и пора пришла: Алтай ждет, я в одну сторону, а тебя дальше отправлю с проповедью.

Сердце Михаила Андреевича трепетно забилось: «вот, она жданная, желанная проповедь!»

А о. Стефан продолжал:

– Я там давно не был, силы не хватало, а к о. Макарию часто оттуда люди приезжали, многих крестил он тамошних, слыхали они проповедь его вдохновенную... Ох, и умел он говорить просто; проникновенно, ясно и любил алтайцев, как детей... так и звал: «детки»; а какой талантливый был; и так же душа горела на подвиг, как у тебя.

– О. Стефан! – скорбно, весь вспыхивая, сказал Михаил Андреевич. – Боюсь я проповеди первой там, не сумею.

– Сумей! проси, чтобы научил тебя архимандрит, у Бога он теперь. Праведник был незабвенный мой, молись, проси о вразумлении, он поможет, зови его на помощь. И Михаил Андреевич в этот вечер, накануне поездки, страстно молился безмолвной молитвой, глядя на темно синее небо, туда, где зажигались звёзды, в бездонную глубь; молился, прося архимандрита Макария помочь ему, ободрить, наставить. – «Ты любил Алтай, ты дошел до сердца его детей, ты мне поможешь!» – шептал он с упование. А в окно, открытое на простор полей, несся, как благовоние, запах зацветшей черемухи, а ветерком тёплым и нежным из-за грохочущей Маймы реки нёсся аромат хвои: то пихты и сосны струили из пихтача смолистый запах, мешавшийся с ароматом черёмухи. Где-то пели заунывную алтайскую песню, безнадёжно грустную, так не вязавшуюся с

красотой душистой весенней ночи, и строгие ясные силуэты гор прислушивались к ней:

«Боим торогон туштаза
Эзень салам айдып-бар!»

– «А встретятся где родные мои, им мир и поклон скажи от меня!» – невольно перевёл он сам себе, оторвавшись от молитвы.

– «Да мир и поклон тем, что остались там, в далеком мире, полном суеты... всю жизнь отдать на служение этому краю, спокойному и прекрасному. Его народу... Пробудить его, поднять, научить»...

И опять сжал руки, а губы шептали с глубоким упование:

– Помоги, не оставь... ты был праведник, ты меня слышишь, ты видишь моё открытое сердце, вложи в уста мои твои слова, вложи в сердце моё любовь твою святую...

И поздно, поздно уснул он на бедном ложе, когда уже стали тухнуть звёзды, и яркая заря занялась, окрашивая в розовые тона вершины гор. И снилось ему, что он не спит, что он видит чье-то лицо неодолимо симпатичное, кроткое лицо, седеющую голову, покрытую монашеской скуфьей, добрые детские чистые глаза и выющиеся волосы до плеч... оно выплывало перед ним, как из тумана, и становилось ясным... Вот, он весь этот небольшой старец в иноческой рясе, с очками на глазах... вот, он глядит поверх них на него с мягкой улыбкой и приветом во взгляде, и вдруг его сердце затрепетало восторженно:

– Архимандрит Незабвенный пришёл, услышал дорогой, добрый!..

Ему захотелось пасть на колена перед ним, схватить его руки и целовать их и облить слезами чистой светлой радости, но он не мог этого сделать и только глядел в глаза своему гостю восторженным взглядом, а тот, всё продолжая улыбаться, склонился к нему и сказал голосом проникновенным, дошедшем до души Михаила Андреевича:

– «Ты после меня здесь обучайся!»

Эти слова заставили Невского залиться слезами счастья, он опять сделал движение с мыслью кинуться к ногам архимандрита, обнять их с трепещущими на устах словами

обета, и широко раскрыл глаза. Бедная комната, вся залитая солнечными лучами, иконы, и ни признака того, кого он видел сейчас так ясно, чей голос слышал, чьи слова, как приказание, запечатлелись в его уме. Он не удерживал слез, они лились светлые, и с каждой облегчалась его душа, росла уверенность, что тот, кого он чтил, не зная, будет помогать ему невидимо и не оставит его никогда.

III

О. Стефан, выезжая, зорко взгляделся в просветленное лицо помощника, он ни о чем не спросил его, не любил он много говорить и не был любопытным, но редкая на его лице улыбка осветила на минуту это лицо со лбом, на котором прежде времени тяжелая жизнь, полная труда, наложила ранние морщины, и, расставаясь, сказал с любовью:

– Христос с тобою! О. Макарий поможет тебе.

Тихая долина, окруженная горами, поросшими лесом, и быстрая река... юрты... немудрая, простая обстановка аила, спокойные лица алтайцев, теперь сосредоточенные и небольшая стройная юношеская фигура среди них. Тихо догорала заря, в черемуховой пышной забоке начали посвистывать соловьи. Дым от разведенного костра, точно фимиам, поднимался к небу, и слова проникновенные, полные любви, на странном алтайском языке, лились убедительные, властные, чарующие и правдивые... Какие это были слова! молодая душа, горевшая любовью, влагалась в них, они звучали невыразимым убеждением, они трепетали бесконечною верою, они покоряли и звали за собой к Тому, проповедь о Ком говорили.

Старик алтайец бросил трубку, и она давно потухла, его молодые сыновья и подросток дочь слушали, не спуская глаз, а другие, сидевшие поодаль, тихо придвигнулись ближе, а по лицу Чевалкова текли слёзы, которых он не замечал.

– «Правду сказал о. Стефан!» – неслось в его уме, – «да он будет нам на радость, этот помощник будет ему преемником, Незабвенному... Как говорит, слова какие! И я не умею попросту рассказать себе, как сладко сердцу моему слушать слова его, точно опять Незабвенного Макария слушаю,

архимандрита, моего отца. Точно опять он говорит сегодня передо мною!»

Миссионеры

Жизнь наша должна вся без остатка идти для пользы этих людей простых, друг мой! – сказал высокий, красивый священник. – Какие труды не вершатся ради любви у нас? Пример – о. Макарий, основатель «Незабвенный», как зовет о. Стефан; вот – жизнь! А я, например, что же? Сибаритствую, читаю, на библиотеку трачу сколько! Гоголем брежу, пишу много и только час времени отдаю инородцам нашим. Нет, голубчик мой, похвала ваша мне не прилежит; и в еде себе не отказываю, и сад люблю до страсти: для меня каждый кустик существо живое. Напрасно послали вас со мною, если хотели подвигу учить; ну, да ничего, отдохните, будем ездить по аилам причащать больных крещеных и проповедовать там. Однако, брат Михаил¹⁸, – оглядел он молодого собеседника, – и юны же вы, погляжу я! двадцать лет!.. Дай Бог вам потрудиться на пользу Алтая. А я, вот, думаю немного побывать тут: хочется в тайгу Кузнецкую, стан там основать, тут делатели есть, а там – никого; вот и нужно мне идти туда. Для меня алтайцы наши – дети большие, а я детей люблю чрезвычайно.

И он задумался на минуту, вспомнив милое детское лицо там, далеко в прошлом, и теперь лицо племянника Вани, трехлетнего сына отца Стефана, напоминает ему то первое лицо ушедшего из мира ребенка. – Жаль и оставить вас тут, брат! – указал он на видневшееся на фоне снега у темной полосы леса селение. – Серый день... В такие дни особенно чувствуется одиночество, а мне торопиться надо. На неделю придётся одному оставаться вам. По аилам прoberитесь, крещёных подготовите, ещё покойный архимандрит печалился о таких, не раз о. Стефану говорил:

– «Не печальные ли виды представляет состояние тех, которые многие уже лета не вкушали, может быть, от Источника Бессмертия единственно за домашними нуждами и по отдаленности приходской церкви. Когда бы церковь являлась среди домов их, они были бы ей рады. С благодарностью бы принимали врачество своих недугов, от сей Врачебницы и, укрепившиеся, привлекали бы к ней немощнейших своим

примером и советами, и, таким образом, в душах их открывалась бы спасительная алчба к Хлебу жизни».

– Да, нескоро ещё исполняются его святые мечты, пока нет сил у юной миссии нашей... зато вы, будущие наши преемники, может быть, увидите храмы по Алтаю везде. Итак, через неделю! Христос с вами, брат Михаил. Я – прямо, а вы – вправо. Помоги вам Бог!

Они, оба ехавшие на крепких алтайских лошадях с двумя алтайскими проводниками, разъехались и потонули в начинавшихся сумерках мартовского хмурого дня, с небом, затуманенным тучами.

– Нам направо! – сказал тот из двух проводников, что остался с Михаилом Андреевичем. – Ой, ой, ровно и не Курюкай! А старые люди говорят, что в него год переваливается, как с наклонной лесины, и снег подтаянный спадает. Какие тут бурундуки выйдут из нор? Того гляди – падера завернет! давно не было такого года: холода и день из-за туч короткий. Не то, что на шесть арканов прибыть должен, а и на два-то, кажется, не хватит. Год на год, видно, не приходит. Ты озяб однако?

– Нет! – ласково улыбнувшись, сказал Михаил Андреевич и невольно вспомнил, как в детстве зяб в родном селе, и даже старая кацавейка старшей сестры не могла согреть его худенькое тело. С юных лет он знал нужду, видел её, и она его не пугала, да и не удобства земные пришел он искать сюда.

– Ой, ой, скоту плохо! – говорил медленно и с расстановками его спутник. – Таяло, а теперь застыло, и снег на пал. Где добраться коню до корма или рогатому скоту? Ладно, на гривах обдуло, да и то плохо: высоко и скользко, теперь на гору и забраться-то коню силы нет. Кудай осердился... Надо, по-нашему, мало-мало камлать, тогда ладно будет.

– Не поможет ваше камланье! – нахмурился Михаил Андреевич. – Лжецы ваши камы, обманывают вас. Кудай такой добрый, что не терпит чужих мучений, а вы лошадей как мучаете! Бесы только разве любят камланье. Бог – Отец человеку, Он Сам сотворил и умножил всякое своё создание и неужели захочет Он, чтобы мучили животных и приятной жертвой Себе это сочтет? Да, Он отвертывается от вас всегда за ваше

камланье. У нас ученики Божии учили: «блажен, кто и скоты милует», а вы их губите. Как нехорошо это! У вас точно сердца нет. И у нас убивают скотину на пищу, но разве так, как вы? А какой, кажется, мягкий и кроткий народ!

Он задумался, а хмурый день гас, и сумерки всё сильнее густели, хмурились тучи и ползли по горам, скрывая их чистые линии. Холодало.

— Однако снег пойдёт! — опять заворчал проводник. — Говорю, что нынче весна не хочет прийти на Алтай. Бывало уж кой-чечеки зацветают, а теперь плохо, совсем плохо, — качал он головою. — Вот скоро и избы. Замерз ты, продуло?

И, действительно, в избах и юртах верхнего Карагужа приветно начали зажигаться огни, и скоро собаки громким лаем встретили путников, несясь за ними по улице и хватая за стремена.

II

Неделя пролетела незаметно для Михаила Андреевича. Молодой сотрудник старых миссионеров объездил аилы со словом любви, общественной молитвой и поучением, приготовляя инородцев к таинству Причащения, потом о. Василий причастил это собранное стадо, и они уже вместе побывали в Таште и Кабыжак, где крестили кумандинца Илькэ с женою и сыном. Крестили, учили и проповедовали, и старший замечал с любовью, что брат Михаил разгорается на дело; спокойному ученому нравилась эта пылкая жажда труда и подвига в нем, таком еще юном.

— Устал? — говорил он, внимательно глядя на молодое побледневшее лицо. — Ну, теперь скоро кончим; вот еще завтра причастим остальных, окрестим двух младенцев и двинемся до домов, а то Алтай, который теперь хмурился и снег сулит, пожалуй, не пустит нас долго, если замедлим, посмотрите-ка, как загремит разом! Всегда так бывает, когда зима выдерживает; в два дня мест не узнаешь. Ноют ноги и тело у вас, наверное, брат Михаил? У меня, вот болит голова, мучают меня эти головные боли страшно перед ненастьем. Что, не болят, говоришь? Ну, значит, молодец, а у меня болели ноги часто и сейчас болят: сойдешь с лошади и распрямить их не можешь: у

всех миссионеров болят они. Я иногда сам себя утешаю: всё-таки на лошади, мол, а апостолы-то по Палестине, да и везде пешком. Здесь бы долго не пробиться пешему. Другой раз закроешь глаза и отдашься коню, а под ногами пропасть, и ленточка бома узкая-узкая, точно карниз, а над нею – стена. Лошадь идет полу боком, потому что живот и ноги седока в стену эту природную упираются... ну-ка, пройди тут пешком? а на лошади – ничего. Вот всё будет узано вами: и бома, и перевалы, и грозы, и метели... да и сегодня, однако, хватит нас буран: вы смотрите, тучи совсем снеговые, и ветер какой крутит пыль дорожную, точно выдрать её хочет на голых местах. Надо двигаться завтра будет до Улалы, где уже ждут нас, а пока усните, друг мой!

– Не хочется... Вы ведь не ложитесь? – Я тут записываю то, что услыхал сегодня... преданья алтайские. У них есть своеобразные; краю нашему будущность огромная предстоит; нельзя не заглянуть в будущее, увидят же в нем люди жемчужину родины нашей, тогда и мои скромные записи о прошлых верованиях и легендах читателей найдут, друг мой, Михаил Андреевич... а вы всё ещё плохо с языком справляетесь, или уразумели?

– Немного, – оживился тот. – После того видения, – помните, как ясно мне представилось лицо архимандрита тонкое с глазами глубокими и добрыми? И после того, после его ободрения мне стал казаться понятным и ясным алтайский язык, говорить порядочно уже начинаю.

Они проговорили ещё долго, а на утро встали для дела, ждавшего их, которое совершили с обычным рвением и благовением; только к полдню, управившись с требами, наконец могли они двинуться домой. Ветер дул опять резкими порывами, всё усиливаясь и сдувая с гор тучи снегу. Они летели им навстречу и слепили глаза. Лошади, сперва бежавшие рысью, замедлили шаг и пошли тихо, мотая головами и наклоняя их к земле.

– Долго же мы будем так пробираться! – сказал о. Василий и нахмурился.

А буря крепчала, и после ужасного порыва ветра в долине, загудело, как в котле; тучи словно разом открылись, и снег посыпался густой и крупный. Буря ревела, и свет затмился, скрыв путь. Кони брели, сбиваясь с дороги, от которой не осталось ни малейшего следа, снег засыпал его, и целые бугры быстро образовались на пути, в котловинах дороги лошади тонули.

– Ой, ой! – сказал проводник. – Ой, ой, шибко худо, однако не добраться до Ташты, однако погибнем! Ой, ой, как худо, шибко худо!

– Бог с нами! – заговорил о. Василий, погоняя лошадь.

– Вы тут, брат Михаил?

Буря достигла апогея, и громкого голоса даже неслышно было в шаг расстояния, слепило глаза, и лошади с трудом вытягивали ноги, вытягивали и брели, увязая опять, а время шло, проходили минуты, часы. Уже прошло часа четыре с их выезда из селения, мгла бури не позволяла различать местности, люди мерещились друг другу через сетку снега, продолжавшего обильно падать туманными пятнами.

– Тут ли, брат Михаил? – кричал от времени до времени о. Василий. – Иван! Максим!..

Ему откликались, а лошади брели, обессилев от убода. Темнело... Они не знали все четверо, куда лежит их путь, иногда натыкаясь на деревья или скалы, они давно отдались на волю лошадей. Вдруг младший, тоже окликавший спутников, увидел, что чья-то лошадь сунулась на колени. Торопливо слезая со своей, он очутился в рыхлом снегу чуть не до пояса и побрел, держа за повод свою лошадь, немного назад крича:

– Постойте, упал кто-то! Постойте, разве можно бросить кого-нибудь?

И сам ощупью, одною рукою ища впереди себя, наткнулся на упавшую лошадь.

– Нога в стремени... не ожидал, что упадёт лошадь! – своим спокойным голосом, немного повышенным, что бы достигнуть слуха среди хаоса бури, откликнулся упавший о. Василий на вопросы Михаила Андреевича. – Лошадь жаль, изнемогла она.

Ну-ка, вместе не подымет ли её, а то занесёт и, чего доброго, заморозит!

Он сам ещё не высвободился из-под лошади, а уже хлопотал о ней. А инородцы точно сгинули за снежной завесой.

– Вот так. Не надсадитесь, брат Михаил.

– Ничего!

– Нет, не ничего: юны, ведь, и сил мало.

Теперь я сам... хорошо... ну, так... целы кости – слава Богу!

С отцом Стефаном в позапрошлом году хуже было... расскажу после, если Господь сохранит. Теперь лошадь потянем.

И тянули, поднимали изо всех сил, стараясь поставить её на ноги, чего и достигли с великим трудом.

– Не сяду я, устала она. Побредем, брат Михаил...

Залезайте на свою лошадь, и вперед.

– Вам сесть нужно: ногу вам отдавила лошадь, а я пойду; вы старше и измучились более моего! – сказал твердо младший.

– Не послушал бы, возроптал, да правда ваша: не могу ступить, неловкость какая-то... Я о седло обопрусь, разомнусь, может быть.

– И не думайте, – с энергией взял его младший. – Обопрitezь на меня, пожалуйста; я подсажу вас.

И молчаливо посадив на седло старшего, побрел, ведя за собою лошадей, – свою и хромавшего коня о. Василия.

Буря слепила глаза, гудела, металась и вертела снежные столбы, а вой её печальной нотою звучал в ушах миссионеров:

– У-у-у-у-у.

Михаил Андреевич спотыкался, падал, опять вставал и шел, шел, таща за повод лошадей, тоже оступавшихся, измученных, а впереди не было свету, точно в гигантском котле гудела одна буря, проглотившая их спутников-инородцев.

– Брат Михаил, трудно? – спрашивал о. Василий. – Промок ты!

– Ничего, ничего! Вы точно застонали?

– Так я; лошадь меня придавила боком, ногу задела. Сшиб я её, должно быть, да это пустяки! Темнота какая наступила! Жаль, если погибнем... жизни твоей молодой жаль, Михаил Андреевич... моя почти отжита.

— Господь сохранит! — холодеющими губами, совсем сморенный усталостью, сказал младший. — Вот те где? А если они погибли тут же где-нибудь?

— Они — горные птицы: лучше нашего в дороге разберутся и среди этого ужаса. Они уже, наверное, в Таште.

— Это хорошо! — радостно сказал Михаил Андреевич. — Дети у них.

И опять, после этих слов, брели в молчании измученные кони, и юный сотрудник, и старший, едва сдерживавший боль, ломившую ногу, стараясь не стонать, заледеневшими руками хватаясь за нее.

— Точно колокола, о. Василий?! — Опять среди жуткого воя бури сказал молодой голос. — Слышите?

— Это буря! — повышая голос, отвечал ему из мглы старший.

— Это буря, друг мой. Жаль мне вас, такого молодого! Моя жизнь была одна печаль: я всех схоронил, что было мне дорого: а все-таки жаль жизни... Ваню жаль, племянника, любимого сынка о. Стефана... Но я уже жил, а вы?...

— А я?.. Господи, ну что же? — ясно и без страха ответил молодой. — Кто знает, что жизнь даст? Мы на посту, на деле погибаем, Господь видит.

И светлое выражение ложится на лицо старшего.

— Да прав брат Михаил. «Небо и земля прейдут, но слова Господа не прейдут», а Он сказал: «Если кто душу положит за други своя»...

И стал молиться громко, ясно, без страха:

— Господи, прими наш труд малый и нас самих, наши души, открытые Тебе... прими нас!

И младший с невыразимым упнованием повторил:

— Прими нас!

Лошадь остановилась: она дрожала мелкою дрожью и готова была пасть, а кругом была мгла жуткая, мрачная, густой завесой закрывшая все, и буря гудела, меча колючий снег в лица путников, чьи руки обледенели, и застывали тела.

— В руце Твои, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой! — сказал старший с твердою верою слабеющим голосом, а младший, припавший к его рукам и старавшийся

согреть их своим дыханием, повторил несколько раз последние слова: предаю дух мой», чувствуя, что цепенеет.

И вдруг среди тьмы и хаоса бури послышался собачий лай, совсем близко, сбоку, и этот лай заставил лошадей дрогнуть и встрепенуться, а сердца двух людей, покорившихся своей участи, забиться надеждою.

– Неужели там жилье? – вспыхнула энергия у старшего. – Брат Михаил, иди: у тебя ещё есть силы... иди туда налево, а меня оставь, не движется лошадь, и мне не дойти... чувствую я.

– Вместе! – сказал тот в ответ, и непреклонной решимостью зазвучал его голос.

– Погибнем, – так оба. Дойдем: может быть, лошадь все силы соберет, а другую я отпущу... она не отстанет.

И, действительно, животное почувствовало инстинктом, что спасение близко, напрягло силы; шаг-два... Тихо брели они во мгле, пока лай не раздался совсем близко, тут и сквозь бурю мелькнул спасительный огонек.

– Ташта! – оба разом перекрестились они. – Ташта! Да, да! И через несколько минут очутились уже во дворе убогой избушки, точно снова рожденные, вырвавшиеся от смерти в алтайской долине и от холодной подснежной могилы.

III

Слабо мигал огонь в очаге, освещая вспыхивающим пламенем убогие стены бедного жилища. О. Василий, вытянувшись, лежал на ложе; его нога ныла, но на сердце было хорошо и тепло. Ему вспомнились пережитые часы, долгие и страшные, его ухо ловило шум бури, бушевавшей за стенами жилища, и он долгим взглядом глядел на брата Михаила, утомленного усталостью и спавшего на полу, прикрывшись шубой. Он думал о тех минутах, когда холодающие уста юного сотрудника старались согреть его руки, и слёзы набегали на его красивые, умные глаза, туманя их.

Да, гибель заглянула им в глаза, и они оценили друг друга и узнали в те страшные минуты; а их спутники-инородцы хрюкали вовсю, тоже прибредшие в Ташту гораздо ранее их. Они встретились с ними случайно в избе гостеприимного крещёного инородца. Буран утих, оставив следы свои в деревне и на поле,

утихла и нога о. Василия, и рано, чуть забрезжил день, он и его спутник уже собрались в отъезд. Им запрягли гусем сани, так как старший миссионер не мог ехать верхом, и оба путника вышли на улицу. День разъяснился, но вся Ташта тонула в снегу, точно зимою, такая маленькая и ничтожная, темнея юртами и редкими избами, казавшимися особенно крохотными среди больших гор. Три плохие заморенные лошади, запряжённые одна за другой, едва в состоянии были идти, и Михаил Андреевич попросил себе лыжи.

— Погоди, и я смогу взойти на гору, — сказал о. Василий. — Да, смогу, буду двигать ногами, не разгибая колена левого, ушибленного.

И они направились на гору, взираясь на которую, лошади падали и скользили.

— Ну, как и мы, так же заскользим? — говорил о. Василий. — Так, брат Михаил... назад поехали... Ну, что же, опять?

И, взираясь, скользя, скатываясь, они пробились с подъемом часа два.

— Придётся на салазках! — с сокрушением сказал о. Василий.

— А жаль коней, да что же делать? Опять нога заныла. Садись, брат Михаил.

Кони едва шли, и миссионеры переговаривались с проводниками.

— Едем так же, как из Кобыжака вчера, — шутил о. Василий и серьезно сказал: — Ну, и буря была, я и в Алтае редко видел такую. Помню, как раз о. Стефан изувечился: ехал, ехал ночью после бури, и ухнула лошадь у него в сугроб; он ногу выдернул из стремени, она сверху сугроба и задержалась, а сугроб был такой, что от сотрясения внезапно задранной ноги лопнула кожа в паху, и сделалась у него грыжа. Да, буря шутит нехорошие шутки на Алтае. А сегодня день какой!

И оба они, забыв о смерти, глядевшей им в глаза прошлым днем, пели, коротая досуг, духовные вещи по просьбе провожавших их людей и вздохнули радостно, когда из-за кустов стал показываться верхний Карагуш, приютивший их, усталых и измученных; они с грустью подумали, что нужно разъехаться тут, чтобы отправиться по местам. Ночь захватила их на пути, где

они должны были расстаться. Она была, в противоположность прошлой, теплая, снег таял, и небо было чисто от туч. Звёздысыпали это весеннее небо, синее, прекрасное и смотрели на двух людей, чьи дороги расходились.

– Поклон Стефану Васильевичу, матушке, детям, – говорил старший. – В гости ко мне на досуге в Майму... вот на Пасхе. Приедете, друг мой?

– Приеду! – с охотою откликнулся младший. – Храни вас Бог, о. Василий.

И они расстались и исчезли из глаз друг друга среди величавых оснеженных гор, такие маленькие, в сравнении с ними, телом и такие великие в неведомом миру смиренном труде, о котором забывали, свершив его.

Звёзды сияли над Алтаем, звёзды светили им, месяц Курюк-ай брал верх над зимою и морозом, вчера старавшимся натешиться вволю, теплый месяц Курюк-ай, в который расцветают на алтайских горах белые кой-чечеки.

Божий слуга

(Из записок сотрудника Алтайской миссии, священника Василия Вербицкого).

Зимою 1857 года пришли они ко мне – оба из аила Ужлэпа, оба юные, не старше девятнадцати лет, и их взгляд, полный мысли, задумчивый и кроткий поразил меня. Было очень холодно. Стоял январь, и я привел их к огню, пылавшему в печи, только что за топленной мною, и спросил по-алтайски, зачем они пришли ко мне. – Мы пришли креститься, абыз, – сказал по-русски один из них, высокий юноша. – Меня зовут Дэнишкэ, и я могу говорить на твоем языке, а он хотя говорит мало, – указал он на товарища, – но всё понимает. Мы из Ужлэпа... Ты знаешь наш аил?..

– В Алтае много аилов, – сказал я, – и мне приходилось бывать в них, но вашего я не помню... Кто-нибудь говорил вам о Господе Боге, если вы пришли искать крещения?

У них заблистали глаза и их лица стали красивыми, осветившись светом веры.

– Мы знаем о Боге, – скромно, но убедительно сказал старший. – Ведь он приходил к нам летом, тот, кто научил нас Его любить... такой молодой, добрый. У него было лицо, как лицо светлого Духа, и говорил он... ах, как говорил нам с Кобрахом о том, как любит Господь крещёных людей, потому что Он им Отец, и как хорошо быть детьми такого Отца!.. Он говорил, что только Ему принадлежит Алтай и вся земля, небо, звёзды и солнце, что Он всё знает и не любит злых, что некрещёные не будут Его детьми... Когда померкнут очи людей, – говорил он нам, – и смерть возьмёт их, то для своих детей Он готовит жизнь светлую и прекрасную у Себя, а некрещёные не придут в ту страну, где не будут они жить никогда: их возьмёт диавол, который будет их мучить и сам мучиться с ними... Как он говорил, отец!.. Мы бросили охоту и приходили к нему, но он ушёл, потому что не мог быть всегда с нами: он послал нас к абызам, и мы более не дождались его. Тогда мы захотели найти другого, чтобы, как он говорил, нас крестили и нашли тебя, абыз.

Я видел, что их души открылись для веры, и спросил ласково:

– Почему он не пришел к вам опять?

– Не знаю, – сказал с грустью Дэнишкэ. – Он сказал нам молитвы, и мы учили их тайком, ходя к крещёным, жившим от нас за двумя горами.

И он прочитал некоторые краткие молитвы, а другой повторил их толково и ясно.

В миссии у нас было немного народа: я знал всех и, перебрав их в уме, спросил у него:

– У него, – того, кто учил вас, были темные глаза и волосы вились на голове?.. У него молодое лицо и кроткий голос?..

Они оба быстро ответили, глядя на меня с мольбою:

– Ты его знаешь, абыз?

– Не знаю, – сказал я, – а может быть и знаю. Сначала я вас накормлю, а потом вы расскажете мне, как вы увидали его.

Они торопливо поели, очевидно, не желая обидеть меня отказом, и, пока мой сотрудник грел нам чай, Дэнишкэ живо заговорил:

– У нас говорливая река, абыз, такая быстрая: падает с камней и журчит, журчит, убегая по долине... Я и Кобрах всегда отдыхали около нее, под кустами, как воротились с охоты... Мы – звероловы, и птиц бьем, и ловим в силки... наш отец тоже зверолов... Лежим так в один день и слушаем реку: я Кобраха по-русски учу... он всегда в аиле, а я далеко с отцом ездил с пушниною (шкуры убитых зверей) и научился болтать, как сорока по-русски. Он мне и говорит: «у них всё не так, как у нас». – «Не так, – говорю, – у них есть дома, с которых звон летит, в которых они Кудаю молятся». А он говорит: «зато у них богатырей таких нет, как у нас, и наши Ульгень и Эрлик лучше их Бога... у нас много богов – говорит... У нас каждый род ещё и своего бога имеет и каждая семья Баштут-хана... Хорошо у нас. Так всё и говорим – о жертах, о камланье, и договорились, что у нас боги жадные... это – я, а он заступается и грозится... «Ой, однако, тебя Кара-немэ услышат»... И тут мы, абыз, в первый раз его голос услыхали, не видя его самого.

– «Не бойся их!» – сказал он мне.

– И из-за кустов появился перед нами светлый и добрый, в такой же одежде, как у тебя, с широким поясом, такой же тонкий, как Кобрах, и молодой, как мы. Мы подумали сперва, что Ульгень послал к нам Ак-немэ, но он, сев около нас, сказал:

– «Я человек такой же, как и вы; я сын моего Небесного Отца и хожу по земле для того, чтобы спасать моих братьев от Курюмеся».

– Он говорил по-алтайски так же, как и мы, и Кобрах придинулся к нему, глядя на него и забыв о нашем споре, а он, смотря на горы, залитые солнцем, стал нам говорить своим ясным голосом о великом Кудае. Который сделал из ничего большой огромный Алтай, всю землю за ним, засветил солнце на небе и месяц, о Кудае, Чьи руки затеплили звёзды и сделали человека... О, абыз, как он говорил!

– Ночь спустила свои тени, потухла вечерняя заря, заблестели звёзды, а он всё ещё рассказывал нам о великом народе, о потопе, и дошел до того, как люди ждали на землю Бога. Мы умоляли его пойти с нами, но он, спросив, откуда мы, сказал, что в нашем аиле его утром приняли враждебно, и обещал на завтра опять ждать нас у реки... У нас глухо, абыз... у нас и медведи и рысь ходят по лесам, а волки скалят свои зубы из-за кустов даже и днем. У него не было с собою ни лука, ни ружья, даже ножика не имел он. Нам тяжело было уходить от него, и мы плохо спали в аиле, где отец ворчал на нас за то, что мы ничего не принесли из леса и не осмотрели силки. Ему мы ничего не сказали о том, с кем были день, и в заботе провели ночь... Поутру нам не удалось рано уйти из аила, хотя нас тянуло к нему, а отец сердился и ворчал, о чём-то шепчясь с дядей Кобрахом и его матерью... Моя мать сказала мне, когда я стал собираться, что дела много и в аиле, и оставила меня, но Кобрах ушёл... – Ты понимаешь наш язык, абыз?.. Вот Кобрах скажет, что было.

– Я нашёл его у реки – быстро продолжал Кобрах. – Он грустно посмотрел на меня и сказал:

– «Ты один?»

– Но сейчас же улыбнулся, когда я объяснил, что Дэнишкэ не пустили, и что ему хотелось идти. Он стал со мною опять

говорить, абыз, и рассказал, как Бог, жалея людей, уходящих во тьму, после того, как Улюм приходила к ним, послал на землю Своего Сына.

– Это был Христос, абыз! – затрепетавшими губами быстро сказал Дэнишкэ.

– Да, это был Христос! – подтвердил Кобрах с благоговением. – Он рассказал мне, как Христос родился от чистой Девы и рос в бедности, он рассказал, как над Его пещерой горела звёзда, и мудрые из далекой страны шли Ему поклониться... О светлых духах, слугах Бога, певших на небе, обо всем, и я тогда вскричал: – почему тебя не слышит Дэнишкэ?

– Его лицо отуманилось и он стал передо мною.

– «Пойдем к нему», – сказал он. – «Если Дэнишкэ хочет меня слушать и не может прийти сюда, я пойду к нему!»...

– И запел, как поют на заре птицы, что-то светлое и красивое на вашем языке... Угрюмо встретили нас в аиле, залаяли науськанные собаки, но я отогнал их. Дэнишкэ не было видно, но его отец и мой дядя – все наши угрюмые и злые – подошли к нам.

– «Чего тебе надо?» – закричал на него отец Дэнишкэ, – показал на товарища Кобрах.

– Тогда он печально улыбнулся.

– «В Алтае есть хорошие обычай!» – сказал он. – «Но в вашем аиле, видно, не знают их: гость, который переступил за черту аила, уже не гость здесь... может быть, здесь не алтайцы живут? Вчера на меня натравили собак, а сегодня, когда этот юноша угнал их, вы хотите встретить меня побоями, но я не уйду пока, потому что нашёл желающих послушать меня, которых не было вчера».

– Отцу Дэнишкэ стало стыдно: они отошли все и оставили его в аиле, но дядя погрозился мне... Тогда он посмотрел на меня печально и сказал:

– «Иди к твоему товарищу, скажи ему, что через семь дней я опять приду к вам в вершину речки и стану говорить с вами... Здесь я могу подвести тебя, и, смотри, они не выпустят его».

– Наши все столпились у юрты и не шли от нее.

— «Иди к ним, махни на меня рукою... И ложь иная во спасение бывает... А я уйду. Скажи другу — я приду через семь дней... и не говори обо мне ни с кем, тогда здесь люди ваши ожесточенные забудут обо мне».

— Я так и сделал, как он велел. Мы видели, как он ушёл в лес на радость наших и на горе Дэнишкэ, который, как и я, тянулись за ним думою: его нельзя было забыть, абыз... его слова, как огонь, зажигали наши сердца, они трепетали в уме, и их хотелось слушать еще.

— Родные скоро успокоились... Дня три они следили за нами, но, когда увидали, что мы никуда не рвемся, охладели к. заботе, а тут случилась байга, и мы снова получили свободу делать, что хотели. Первый увидал его Дэнишкэ.

— Я каждый день ходил в вершину реки, — сказал тот, — и на седьмой пень увидел его: он сидел под кустами, и книга лежала у него на коленях. Он глядел куда-то своими глазами и не видел, как я приблизился к нему... Лицо у него было такое же чистое, как вода горной реки, а мне подумалось, что он молится своему светлому Богу... Я подошёл и поклонился ему только тогда, когда он опустил голову над книгою, — я боялся его потревожить... ведь, Великий Дух слушал его. Он, увидав меня, обрадовался мне и сказал:

— «Я рад, что ты пришел, но где же другой?»

— И другой придёт скоро, — поспешил я успокоить его, видя, что он мгновенно опечалился. — Мы ждали тебя к ночи: тебе далеко, наверное, было идти... русские живут от нас в отдалении.

— Но он только улыбнулся.

— «Господь с небес приходил, чтобы спасти погибающих; мне только пали пути земные... На заимке у русских, знаешь, я оставляю лошадь: тут, ведь, недалеко».

Я знал, что до заимки был день и ночь пути, и пожалел его такого небольшого и слабого. Мы сели, отойдя в сторону горы, к камням, и он, глядя на воду, сказал мне:

— «Смотри, как она бежит, ясная, чистая... видишь тот камень, нависший над нею? — он скоро упадет, потому что вода его подточила... Так слова людей-абызов, пришедших в Алтай

посланниками Бога, создавшего мир, подточат старую темную веру, и исчезнет она, уйдут камы, и по Алтаю зазвонят колокола... Мне больно за души ваших близких: они и сами не хотят спасения и вам загораживают его... Я ушёл, чтобы не ожесточить их»...

– И много говорил нам, когда пришел Кобрах. Его слова делали наши души мягкими и добрыми. Мы поняли, что наша вера темна, наши жертвы – жестокость и наши камы – обманщики и лжецы, что они служат Курюмесю, и нет ни Ульгения, ни Эрлика, – а есть только один Вечный Бог, Который любит всех людей на земле и зовет к Себе, как своих детей.

– Нам никто не мешал: мы сделали ему шалаш из ветвей, потому что пошли дожди. И четыре дня он был с нами... Не разводя огня, проводил он ночи, потому что не хотел, чтобы о нем узнали, пока он нас не научит, и на пятый день сказал нам с грустью, что должен идти к другим... Он велел повторять те молитвы, которым научил нас, и ходить учиться им в аил за двумя перевалами, где жила крещеная семья. Мы заплакали, узнав, что он уходит, и просили его сказать нам, как его зовут, но он этого не сделал: он сказал, что его зовут – Божий слуга, велел нам искать абыза, утешил, обласкал и ушёл, не велев себя провожать. А с тех пор мы его не видали... Потихоньку от своих мы стали ходить к новокрещёным и решили, как только наступит месяц Чан-ай, идти искать абыза. Раз на охоте мы услыхали о том, кто приходил к нам... Заехали в незнаемый аил, где разговорились с детьми старого кама... Они тоже учились молитвам тайком и рассказали, что их научил молодой светлый человек, похожий на абыза. Потом у Катуни, в глухой тайге, мы тоже услыхали о нем: это было повыше Тельдекменя: мы ездили туда к родным. Там он вылечил больную старуху, и она и дочь её ушли в стан креститься... Но самого его нам не могли указать: он, как Ак-немэ, ходил по Алтаю... Недаром назвал он себя Божиим слугою, слугою Великого Духа... Великий Дух был с ним.

– В месяце Чан-ай искать тебя, абыз, нам не удалось: началась охота, и родные все так же косились на нас, но нам было тяжело жить в аиле, словно его голос звал нас: идите, идите... И мы пошли нарочно сюда, услыхав о тебе, чтобы за

нами не кинулись в погоню. Теперь наши ищут нас по станам, но мы не пошли, ни в Улалу, ни в Чемал.

– Еще, – сказал Кобрах, – нам сказали, что его видели в Улале, но мы были там осенью со своими и не нашли его.

Мне сразу подумалось, что их учитель был наш сотрудник – Невский¹⁹, юноша с горячим сердцем, но он постоянно был на деле при миссии и не мог бродить по далеким аилам, так как имел мало досуга... Кто же был этот Божий слуга, чья душа томилась о подвиге и чьи ноги обтекали глухие углы Алтая, ища для Господа людей? С моими гостями легко было заняться: они все понимали быстро... так крепко поселяны были в них первые семена, пустившие ростки глубоко. Я, не утомляя себя подбором слов, говорил по-русски Дэнишкэ об истинах веры, и он, живо и с увлечением, передавал мои слова Кобраху. День их крещения был для них днем светлой радости: они с ясными лицами приступили к таинственной купели, и Дэнишкэ, нареченный Иоанном, на вопрос; сочетаваешься ли Христу? никем не предупреждаемый, отвечал троекратно:

– Сочетаваюся Истинному Богу Иисусу Христу.

У меня на сердце была большая радость, потому что это было истинное приобретение церкви Христовой, и я благословил неведомого человека, спасшего эти две души.

Кобрах, или Григорий, вернулся домой к престарелой матери, желая и её привлечь к вере, а Иоанн остался со мною, и только позднее уехал в родной аил, обещая приехать ко мне скоро.

Наступил март, и ко мне приехал на помощь брат Михаил Невский, по распоряжению, из Улалы. Мы с ним условились так: он за неделю уезжал в дальние аилы крещеных и готовил их к причащению, а я, приезжая, причащал их, уже подготовленных к принятию Таинства.

В один день на моем пути меня догнал Иоанн: он узнал, что я близко около их аила проеду, и приехал вместе с бывшим Кобрахом... Наша встреча была радостна. Иоанн сообщил мне, что привезёт креститься сестру, что и отец его, хворавший эту зиму, хотя и сердится на него, но не так уже клянет за крещение, а мать Кобраха колеблется и скоро склонится принять новую

веру... Они, переночевав со мною, поехали до аила, где ждали нас оглашенные, и те, что готовились к принятию святых Таин, куда я ещё вечером накануне послал сказать, что приеду к ночи на завтра.

После бури, не редкой в Алтае, в которой уходящая зима тратит последние силы, очищая путь весне, наступила оттепель, и розовый закат озарял горные вершины. В долинах ещё не стемнело: благодаря поздней весне, – они, ещё полные снега – тоже полны были розовых тонов. Мы ехали тихо и близились к цели, разговаривая между собою, когда из-за поворота от горы, почти на нас, немного забирая влево к горной тропе, выехал одинокий всадник без проводника.

Иоанн сразу замолк, увидав его, а я узнал в нем брата Михаила, уезжавшего, видимо, в другой аил. По нашему условию мы были должны встретиться, и я писал ему ещё накануне, что приеду вечером с Кобрахом и Дэнишкэ-Иоанном, о которых говорил ему ранее. Теперь я удивился, увидав, что он не дождался меня и хочет свернуть на горную дорогу, словно избегая нас.

– «Брат Михаил!» – крикнул я.

Он медленно остановил двинувшуюся на сверток лошадь. Я поехал к нему быстро, но мои спутники перегнали меня. Они оба спешился около него, взяли его руку, кланяясь ему с взволнованными лицами, и я услыхал их слова, подъезжая:

– «Добрый наш, мы тебя искали везде и нашли, слава Богу... У нас в аиле тебя теперь не прогонят: приходи, учи... Как мы тебе рады... Где ты ходил? Кого спасал для Бога»?..

Они говорили, перебивая друг друга, а он сидел, полный смущения, стараясь не смотреть на меня, и сказал своим тихим голосом, обращаясь ко мне:

– «Простите отец Василий, что я не дождался вас: там всё сделано, а в вершине Карасука есть больные».

– «Простите меня, – наклонился он к молодым новокрещённым, – я рад за вас... я приеду к вам, но теперь мне нужно спешить... Простите меня»...

И, подогнав коня, быстро поехал по каменистой оснеженной дороге, озаренной розовыми тонами заката.

А мои новокрёщенные, сняв шапки, смотрели ему вслед с радостными лицами, не садясь на лошадей, пока он, не оборачивая к нам лица, не скрылся под густыми темными соснами.

У меня шибко билось сердце, и слёзы просились на глазах...

– «Так вот кто был Божий слуга, смиренно скрывавший свой подвиг и не хотевший пожинать плодов своего труда»?!.. Я понял его ранний отъезд: он ждал нас только поздним вечером и, узнав, что со мною едут те, души которых он привлек к Христу, поспешил уехать, чтобы никто не узнал об его смиренном подвиге, которому он отдавал дни досуга. Теперь я вспомнил, что и другие миссионеры говорили о случаях подобных моему, и благословил имя нашего молодого сотрудника. Мне подумалось, что такие будут светочами юной миссии нашей, и из него выйдет лучший апостол Алтая...

А мои спутники тихо говорили между собою с довольными лицами:

– «Слава Богу, увидали его – приедет к нам: обещал... Слава Богу»!

Что делал он, мы не знали, чем было полно его сердце, когда прошло его смиренное смущение, о чём задумался его ум? Его ждала целая жизнь труда и самоотречения, и он, наверное, глядя на небо, на котором погасали краски заката, молился Тому, к Кому привлекал души людей, ища и спасая их для вечной жизни в глухих аилах среди долин Алтая. О чём была его молитва, – то было неведомо нам, но она, думалось мне, была далека от молитв других, обремененных жизнью и заботами... Его забота была с ним: в аилах, где жили полуодичавшие люди, среди царственной красоты величавых гор Алтая, и мне подумалось, что он отдаст свою жизнь на служение им по завету Господа Христа, потому что его молодая душа ищет подвига жизни...

Из записей о жизни былой

Литургию служили соборно. Монах Михаил Невский в назидание народа читал на татарском языке беседу Святого Макария Александринского с Ангелом, объясняющую учение церкви о молитве за умерших.

О. Стефан положил перо и прикрыл дневник чистым листом бумаги, услыхав голос о. Василия Вербицкого и голоса других миссионеров, собравшихся в Улалу и теперь пришедших на заседание.

– «Допишу после... кто знает», – подумал он, – «может быть, потом к истории Миссии записки мои пригодятся. О. Николай пишет, что любит письма мои, интересуются добрые люди страной нашей далекой, а она недаром прекрасна».

И вышел, приветствуя кучку собравшихся для совместного чтения годичного отчета членов молодой Миссии.

Тут были почти все представители её, со всех концов собравшиеся сюда: сухощавый о. Акакий, о. Александр Гусев, иеродиакон Смарагд, церковнослужители Быстрицкий и Мухин, монах Дометиан, о. Арсений Ивановский и молодой рясофорный монах Михаил Невский с юным, красивым лицом и вдумчивыми глазами. Он разговаривал с отцом Василием Вербицким, Кебезенским ученым миссионером, который любил науку и литературу так же, как Алтай, на служение, которому отдал своё сердце и перо.

– Мир вам! – приветствовал их своим тихим голосом о. Стефан, – а я сей час о. Николаю²⁰ в Москву писал дневник свой: интересуются там, слава Богу, Миссией нашей.

– О чём речь ваша, друг мой, отец Василий?

– О бедноте алтайской говорим... кажется, все мы не богачи, но юного нашего товарища поражает она так же, как нас всех вначале поражала: среди роскоши природы эти люди слабые, суеверные, хилые – для него ужасающий контраст. Так, ведь, мой друг?

– Да, – сказал тот горячо, – сколько их нашло сегодня... я с ними толковал о нуждах их, и грустно было, что, несмотря на

скромные просьбы их, не мог отец протоиерей всем помочь, потому что, действительно, все мы имеем так мало.

– Да, – задумался о. Стефан Ландышев, – где находить средства на пропитание их, если не иметь надежды на Бога? Какая нужна помощь, чтобы на ноги поставить Якова Никитина с его четырьмя малютками и старой «матерью», а мы могли им отпустить только хлеба! Мне было тяжело слушать, отцы, когда Чуньджудек, во имя Иисуса Христа, которое уже выучилась произносить, полунасвая, трясясь от холода, просила шубу! Хорошо, что Агрипина Ионовна моя могла её одеть. Не мудрено, что это подействовало на юного брата Михаила... а тут ещё новые гости явились:

Ирина, что приехала из Юрской волости с детьми малолетними, – все они глазами больны, – и Иван Кыджалаков... Хорошо, что добрая братия Митрофаниевского Воронежского монастыря прислала нам денег на постройку для них двух изб в Салганде. Ирине я отпустил из запасов моих ячменя и муки, а больные глаза брат Михаил промыл и мазал елеем. Бедные люди!

– Бог поможет, – бодро сказал о. Вербицкий, – христианство их лишает поддержки родных, озлобленных. Мы готовы, что можем, дать на них столько, чтобы не обездолить своих, которые ждут нас по станам.

– Летом хотя они пищу имеют обильную, – сказал о. Дометиан, – Алтай богат кореньями разными, ягодами, грибами и птицею... мастера они силки ставить.

– Но опять же, – сказал о. Стефан, – здоровые, а, вот, такие, как Чуньджудек и слепой Антип Миронов: у него ещё и теща слепая... у них печальная доля, и мне хотелось бы посещать их чаще, потому что тут нужна помощь ещё и духовная: вечная тьма страшна!

Он не видал, какой печалью разгорелись глаза молодого брата Михаила, который отошел от группы миссионеров и слушал издали слова о. Стефана.

– Да, спасибо жене: она несколько облегчает заботы мои о бедных наших, – мягко продолжал о. Ландышев. – Вашей супруге, о. Арсений, знакомо тоже сострадание! Вот, нашим

женам не дадут ниprotoиерейства, ни орденов за службу, а какие это хорошие миссионеры! Никто только не отметит их.

И мягко улыбнулся.

— Да, сколько в мире подвижников незаметных, — тихо говорил он, — тихо дело Божие вершат. Помню, о. Макарий Незабвенный таких отличал и любил особенно... Был тогда безызвестный в мире Павел Лисицкий, старец в Миссии из ссыльных... что за труженик! Вот умел и хотел работать человек... дивиться труду его надо было... Бывало, утром, чем свет, всем слабым и больным в Майме воды наносит незаметно, дров зимою... случайно попался как то человеку, последившему за трудом его, на колени упал и умолял не сказывать никому о том, что тот его тайные труды увидел... «Пустое для меня дело, — говорит, — работы желаю всегда: без нее мне тошно... ради Христа Истинного не сказывай»... И после ловили его, ночи бессонные проводящею над больными... а, ведь, старец был: семьдесят лет!

Матушка с дочерью подростком внесла самовар, и беседа потекла дружная, согласная и полная интереса...

— Что же брат Михаил не садится? Садитесь, друже, сюда, — пригласил хозяин, — готовитесь к пострижению? Хорошо, самое дело монаху бессемейному тут опасности переносить, хотя женщины много вносят рукою любящей... вспомнить Вальмонт покойницу и наших скромниц... вот просфорною, — усмехнулся он, показывая на помогавшую матушке хромую некрасивую полумонахиню с глазами ребенка чистыми и доверчивыми.

Она не слыхала его слов, помогая передавать стаканы. Ея озабоченное лицо, опущенное над работой, было грустно.

— Что она сегодня такая? — спросил жену о. Стефан.

— От доброты своей! сейчас горевала, что работы много у нас, и слепых посещать не можем вечерами... жаль ей их одиноких: Дарья, ведь, уехала к отцу в аил: хворает он! попроведать, и буря её, видно, не пускает домой... хотела Евдокия их поместить у себя в школе на время, — некуда, тесно: сирот понабрала. Вот, и горюет, а они живут за Маймой... нынче, говорит, пошла к ним вечером, а собаки чуть было не заели... далеко поселился бедный!.. Как свечереет, они, сказывают

соседи, сидят по углам и молчат, а в избушке темно, как в могиле! Печальна эта жизнь во тьме вечной.

– Да, а сил нет помочь: все мы разрываемся на работе, а ночью тело, истомленное покоя ищет...

– Вот, у нас завтра оглашать нужно многих, – задумался о. Стефан, – а ты, брат Михаил, займись завтра с тербезенем этим, что крещения просит... дети у женщин: Агрипина Ионовна и просфорная учат их; да нужно ещё в аил съездит, отцы: там ждут больные; ужасно в этом году лихорадка мучает! Целый день, вот, помощники мои за больными ходят... зима морозная, жилища плохие, пища скверная... и холодно, и голодно бедным нашим.

О. Василий Вербицкий стал говорить о лихорадке и её лечении плёнкой свежего яйца, не раз применяемого им и всегда с успехом, а брат Михаил тоскливо думал о тех, кто теперь сидят в темной, как могиле, избушке и среди вечной тьмы в жуткой тишине, окружающей их, слушают вой бури.

– «Бедные! Горькие!»...

– Надо читать, брат Михаил, у вас голос ясный и глаза зоркие... рассмотрите-ка отчет наш: я его кое-где подправлял, да стали глаза изменять, плохо вижу вечером! Прочтите.

Брат Михаил стал читать отчет, потом ему велели его переписать набело. И долго сидел он в кабинете о. Стефана под рев разбушевавшейся падеры, старательно переписывая листы для отсылки по назначению. И все-таки в то время, когда он разгибал спину для отдыха, представлялся ему одинокая избушка и слепые по углам в жуткой темноте, не спящие и слушавшие рев бури.

Съезд проходил; все миссионеры собирались по местам, торопясь с окончанием дел. Миссия ждала их, созревшая нива требовала жнецов, несмотря на бури, несшиеся над Алтаем, засыпавшие тропы такими обильными снегами, что старожилы не запомнят подобных давно.

За последние дни о. Стефан хмурился, глядя на брата Михаила.

– Что с ним? – говорил он жене, – похудел, осунулся, развеянный... не так уже и к делу относится: готовности не вижу прежней: шлю в Салганду, точно испугался, просит: «нельзя ли

после бури?» — не похоже на него... это и не пристало миссионеру бури бояться.

Умные темные глаза Агрипины Ионовны стали задумчивы, и она медленно покачала головой...

— Что-нибудь не так, отец, — сказала она, — его, я сама вижу, забота томит, печаль за кого-то, только о ком он печалится, догадаться не могу...

— Положим, заботиться есть о ком и печалиться тоже, — сказал о. Стефан.

И оба они покончили об этом разговор.

В этот вечер, несмотря на метель, Агрипина Ионовна решила пойти с просфорней Евдокией посетить слепых, о которых её сердце болело. Михаил Васильевич Чевалков — переводчик — пошел проводить их.

Было уже поздно: матушка, только уложив детей, могла уйти из дома и спешила, переговариваясь с Евдокией.

— Тяжело идти тебе? — поддерживала она хромую, — ну, и буря! вой этот жалобно хватает за душу... Посыпал ли им сегодня еду, Михаил Васильевич?

— Вчера сам ходил к ним, — ответил он, — жена и ребятишки самого уехали в аил к родным давно, захворал там отец Дарьи... Эти трое слепых, думаю, голодны... Нет, гляжу — хлеб у них, свечка... спрашиваю: «кто огонь жжет? разве Дарья вернулась?» «Нет, — говорят, — не вернулась!». Видно, она свечку оставила им. Чуньджудек веселая такая, и Антип с Софьей тоже: должно быть, день-то чуют, отходят... дверь надо им поправить: насквозь видно в избу... ладно, сени крепки... нынче сделаны... тепло на улицу не выпустят...

Так говоря, они прошли пустырь и по полу занесенной тропе во мгле приближались к избушке.

— Дарья вернулась, — сказала матушка спутникам, — огонь... и как поздно сидят: уже десять часов ночи!

Они неслышно вошли в сени и только когда затворили их, шум бури отошел и затих, заглушенный крепкими стенами. Из избы шла в сени полоса света в широкую щель плохо сколоченной двери, и матушка невольно остановилась у нее, сделав знак молчания своим спутникам.

За дверью мягкий и ласковый голос ясно произносил алтайские слова, понятные матушке, прекрасно владевшей языком.

– И ты, Чуньджудек, и ты, Антип, и ты, старая Софья, и все, которые не видят света так давно, увидите в царствии Господа Бога небесный свет.

– И солнце, и небо, и Алтай? – спросил дрожащий старческий голос.

– Все... смерть – это радость: она придёт и откроет очи слепых.

В избе заплакала женщина

– Это так хорошо, – сказала она, всхлипывая, – наша жизнь – печаль: мы всё равно, что в могиле были, пока не пришел ты... В эти дни мы точно увидели свет: и буря пусть дует, и ветер воет – нам хорошо ночами: ты даешь пить Софье, трешь ноги Антипу, и мне твоя повязка облегчает глаза... ты – добрый.

– Вы мои братья и мои сестры, – ответил молодой голос, – ночью в бурю мне не спится, и с вами легче проводить бессонницу, а когда Господь – наш Отец пронесет бурю, приедет Дарья, вам уже не страшно будет ночами.

– У меня губы засохли от страха, – жалобно проговорила старуха, – а они боялись дойти до меня, точно их приковало к месту... ты угнал от нас страх: черные боятся тебя!

– Бедные, – грустно затрепетал молодой голос, – а днём?

– Днем люди приходят к нам, посыпает пищу абыз Степан и матушка, но ночь! Не уходи, пожалуйста, не уходи! Днем мы слышим человеческий голос, а ночь страшна; как завоет буря, Чуньджудек всё чудятся голоса кара-немэ.

– Не бойтесь: я не уйду.

– И завтра, – настойчиво молила старуха, – ради Христа.

– И завтра, и сегодня, пока буря не перестанет... только не говорите никому, что я ночую у вас.

– А тебе не охота спать? – спросил Антип, – ночи ты с нами до света. Мы спим днем во тьме нашей: мы можем спать всегда... а ты?

– Сплю и я днем, – бодро откликнулся он, – не думайте... давайте петь молитву, которую я вас учил.

И он запел песнь Богородице.

И хриплый голос Антипа, слабый Чуньджудек, дрожащий старой Софьи присоединились к нему; и каким упованием звучало это пение! Оно хватало за душу.

Матушка потянула спутников за собою к выходу, её глаза были полны слёз, но их не видал никто во мгле ночи.

– Пойдёмте, не станем смущать его, – взволнованно сказала она на улице, – он их напоит, накормит и утешит... Это – брат Михаил... только молчите об этом и не сказывайте никому: мы его обидим болтливостью нашей, а о. Стефан ещё сердился на него. И более слова не проронила до дому.

Два дня ещё выла буря, и только в вечер третьего приехала Дарья Миронова из аила домой. В этот вечер, подаривший морозом Алтай, брат Михаил пришел к о. Стефану Ландышеву; он смущенно и кротко попросился в Салганду, извиняясь, что его удерживала буря и какая-то слабость, недомогание, которое прошло.

О. Стефан молчаливо выслушал его и вдруг с доброю улыбкой поднял на него опущенные глаза.

– Никуда не надо ехать... ляг сегодня у меня и усни крепче: Чевалков сказал, что Дарья Миронова вернулась... ты заслужил покой, золото мое.

Молния испуга прошла по молодому лицу, и оно стало печальным.

– Я не могу понять вас, о. протоиерей, – сказал он, – Дарья Миронова, почему то... я не устал... мне хочется на дело... простите за ослушание и отпустите... вы мне говорили, что там ждут оглашенные.

А сам пытливыми глазами глядел на о. Стефана, и тому не захотелось его огорчить.

– Ну, Христос с вами, – сказал он особенно мягко, – поезжайте, но берегите себя: нам надо делателей на ниву нашу... обильна она уже колосьями и ждёт жнецов, а в марте отправлю вас в Билюлю.

Брат Михаил принял благословение и ушёл. Он торопился уйти, немного тревожный, и Агрипина Ионовна, вошедши к мужу, сказала:

— Что он словно испуганный и торопится? не сказал ли ты ему чего, отец?

— Намекнул, — улыбнулся о. Стефан, — и испугал действительно робкую душу.

— Не робкую, а смиренную, — раздумчиво покачала она головою, — нет, не смущай его более... тебе бы сердце поразило, если бы ты услышал пение в избушке, эти хриплые дребезжащие голоса, эту молитву Чуньджудек оглашенной, и Софы дряхлой, и его голос, полный упования! Мне кажется, эта молитва легла у престола Бога, отец.

Его лицо стало серьезным, мягким светом засветились глаза, ему представились эти три человека, свет очей которых померк во мраке ночи, беспомощную жизнь которым осветила любовь горячего сердца, данного на служение ближним, сердца, рожденного для подвига.

И, склонив голову над бумагами, он крепко сжал веки, чтобы скрыть слезу, ожегшую их, а его верная подруга, ласково положившая руку ему на плечо, сказала мягко:

— Евдокия без слез пение это вспомнить не может... Только не говори ему ничего, о. Стефан, не смущай его душу, которая боится людской болтовни: ведь, он не виноват, что Господь вложил в нее смирение и любовь, что все эти Антипы, Чуньджудеки и Софы ему братья и сестры, что его сердце болит за них, потому что любит. Это такая светлая любовь!

— Ты права, — сказал о. Стефан, — недаром он ищет пострига: он будет хороший преемник Незабвенному, и я не смущу более его смирения.

А тот, о ком они говорили, ехал уже далеко от Улалы, давно миновав её, в маленьких санках, и утомленная голова его в глубокой дремоте колотилась о дерево саней в нырках, заставляя просыпаться на миг, чтобы опять заснуть без мысли о прошлом, с одной заботой о будущем, о всех этих больных, слабых и хилых больших детях, для которых он пришел сюда, чтобы им принести силы, ум и молодость.

Подарок Кудая

Вечная природа! Солнце ложилось светлыми бликами на гремучую горную речку, стремительно падающую с камней в зеленую, заросшую молодой порослью, котловину; точно стражи стояли ели и сосны, а повыше, на уступах круто обрывавшейся скалы, свободно и вольно разбрасывали ветви кедры, подставляя вер шины горячему июньскому солнцу.

– Вечная природа! – вслух повторил небольшой стройный, молодой монах и темными блестящими умными глазами загляделся в голубевшее небо.

Его лицо с тонкими чертами, одухотворенное, полное мысли, с высоким красивым лбом осветилось внутренним светом, и уста сложились в мягкую ласковую улыбку, когда глаза, случайно отведенные от неба, приметили в тени кустов два смуглых лица и внимательные черные глаза, следившие за ним.

Вдали, за камнями скалы, шумела Катунь, перекликались птицы, а монах думал о том, как привлечь два дикие маленькие существа. Мысль летела быстро, и он запел симпатичным мягким голосом псалом, посматривая на детей, которые подошли ближе и, перешептываясь между собою, глядели на него.

– Абыз! – говорил старший на своем странном языке. – Из того места, – указал он на другой берег котловины за потоком, – камлает по своему. Хорошо, говорит отец, они умеют камлать.

– Подойдем! – попросил младший. – Он не злой: погляди – смеется.

И они подошли застенчиво, робко; и когда он заговорил с ними на их языке немного медленно, но понятно, они совсем осмелели.

– Ты откуда пришел? – спрашивал младший, живой и бойкий ребенок, не похожий на других детей Алтая – медлительных и тихих. – Зачем сюда? Там за горами, аbam говорит, есть большие аилы, и люди едят калаш всегда... у нас тихо... тебе будет скучно у нас.

– А я люблю, чтобы было тихо! – сказал молодой абыз. – Я люблю лес, озера, Катунь. Мой Бог любит тишину и вас.

– И нас? – недоверчиво сказал ребенок, садясь на камень, поросший вереском. – Разве он нас знает?

– Да, Он знает всех! – сказал монах задумчиво.

– У тебя, видно, нет никого? – спросил старший. – Я видел твою юрту, в ней только ты один, да ещё другой, тоже немножко абыз... у тебя нет своих?

– У меня все свои, – улыбнулся он, – и ты, и твои... все вы братья мне, и меня послал к вам Кудай, потому что любит вас.

– Кудай – это не Ульген?

– Нет. Это тот, Кто создал Катунь и горы, месяц и звёзды, солнце и весь мир. Если хотите, я буду приходить сюда и рассказывать вам о Нем.

– Тебя как зовут? – спросил он младшего.

– Алас-ару – сказал тот. – Алас просто: родные говорят, что я похож на птицу – веселый и хохотун, а его – Кочкором: он – упрямый.

– Ну, ты! – сердито огрызнулся его старший спутник.

– Не ссорьтесь, – примирительно сказал монах. – Ты, наверное, умеешь хорошо лазить по горам, Кочкор? вы – братья?

– Нет: его отец Сартакпай-кам, а мой – простой человек, – сказал Алас весело, и его живые узкие глаза блеснули весельем.

– А ты чудной: наши все говорят: «зачем пришел? доймет его Ерлик! Ерлик не любит, чтобы камлали по другому; он ему задаст», говорят они: наши и отец Кочкора, кам Сартакпай. – «Кара-немэ когда-нибудь затрясут его»... я боюсь, абыз, Кара-немэ и Курюмесь.

Он опасливо оглянулся кругом, а его спутник тоже пугливо глядел на зеленое море с пятнами солнца и на клочки голубого неба, видные из-за ветвей: ему и в воздухе чудились злые духи.

– Вот моя сила! – поднял священник руку и, расстегнув подрясник, достал небольшой крест. – Видите? Кара-немэ и Курюмесь, и Ерлик – все трепещут этого. Это – подарок моего Кудая. Если бы и у вас были такие, то и вас не посмели бы трогать они; бедные, робкие, суеверные души!

Он погладил узкой, белой, небольшой рукою черную головку младшего и сказал, вставая и обращаясь к обоим:

– Хотите, пойдем к Катуни, Алас и Кочкор: там хорошо... река говорит про то, какой быстрой и прекрасной сделал её Кудай.

Мальчики охотно последовали за ним, но Кочкор покачал головою на его слова: – Что ты? – обратился к нему монах.

– Она говорит про Катым-бажи!²¹ – сказал упрямо мальчик.

– Говорит о страшных пропастях, о камнях и льдах, она вовсе не знает твоего Кудая.

– А вот послушаем! – сказал монах, спускаясь быстро узкой тропою по осыпи к Катуни, делавшей крутой поворот под углом. Неспокойная река летела через камни, пенясь, шумная, торжествующая, вся залитая солнечным блеском; светлые брызги налетавших на береговые скалы волн блестели, рассыпаясь драгоценными камнями, и эта картина в зеленой раме берегов мало говорила о том, о чем сказал Кочкор.

– Она поёт, слышите? хвалит Создателя Кудая... ты ошибся, дитя: разве не слышишь ты, что она поёт? – сказал священник. – Кара-немэ далеко: она забыла о льдах Катым-бажи... да, ведь, и льды созданы Кудаем, а Кара-немэ трепещут его. Он там высоко, выше этой птицы карчиги, – показал он на едва заметную в небесной синеве точку, – а всё видит и слышит. Он на небе и на земле... везде, везде... Он около тебя, Алас, и около тебя, Кочкор, и любит и сохранит, если вы Его полюбите.

Вода билась о камни и пенилась; вода пела и рокотала, а солнце, теплое и ясное, озаряло стройную фигуру залюбовавшегося на прекрасный Божий мир монаха и двух детей, из которых один глядел, упрямо наступившись, а умные глаза другого загляделись в лазурную синеву, за которой было жилище Кудая.

II

– А я к тебе! – так сказал инородец Кургай, робко появляясь на пороге нового дома, поставленного под соснами. – Холодно... ох, как холодно... завтра у вас большой праздник... Ты уже камлал? Монах поднялся от печи, в которую подложил дров, и приветливо улыбнулся гостю.

– Да, завтра у нас Рождество, Кургай! – сказал он. – В эту ночь когда-то на землю пришел Кудай, как человек... А ты давно приехал в Немал?

– Сичас... сыводня... знаешь, кто послал меня? Алас послал: он хворать, ох, как хворать!.. Сартакпай камлал, ничего не помогать... день и ночь он зовет тебя: Макария... Макария... Абыза позови, абам... всё гонит меня, всё плачет ... а мои не пускают: жена, отец... Сыводня говорит:

– Отец, я умру, если не позовешь Макария... меня Карапемэ мучат; они на меня болезнь послали... у него есть на шее подарок Кудая, если он наденет его на меня, моя болезнь пройдет».

– Если бы ты, Абыз, поехал до нас туда! Тут не далеко совсем мой аил, пожалуйста, не бойся мороза... кони тут... шибко хворать он...

– Что у него? – сказал молодой миссионер. – Может быть, я возьму лекарство.

– Горит весь, волдыри на нем, амру мы думали... Мы уже на темени у него ядно сжигали не раз и трещало, отыскивали в тальнике под снегом червей, да нет их, замерзли, сердце вырезали из овцы живой и клали ему в рот, не помогает... везде болит: во рту, голова, лицо... говорят люди «оспа»!

– И он, говоришь, зовет? – торопливо одеваясь, говорил монах. – Бедный Алас, мягкое сердце. А Кочкор?

– Кочкор тоже лежит... Много по аилам лежит ребят... И откуда пришла хворь? Прямо везде плачут... Ты уже собрался, Абыз?

– Да, ночью я буду служить, теперь свободен... поедем... я скажу только, чтобы обо мне толмач не беспокоился.

И он вышел тихий, спокойный, глядя задумчивыми глазами на звёзды, сиявшие в высоте неба над темным лесом и горами в ненарушимой тишине морозной ночи.

– Готово... я посмотрел подпругу... садись, Абыз! – сказал Кургай.

– А меня разве не возьмёте? – спрашивал выбежавший толмач и ушёл, качая головой. Кони двинулись к лесной опушке, и снег скрипел под их копытами, когда они ровною ступью

проехали по улице заснувшего крохотного Чемала, окруженного задумчивым лесом.

III

Алас-ару разметался в огне. Ему виделись страшные уродливые лица Кара-немэ и ужасное лицо Курюмеся. Перед ним раскрывались невиданные пропасти Катым-бажи, ледяные пропасти с бездонными провалами, из которых стремились на него реки, готовые его поглотить, и он метался и бился на своем ложе, близь огня, укрытый шубами, которые беспрестанно поправляла на нем его мать, тихо плакавшая над сыном; она прикладывала снег к его запекшимся устам, и в минуты сознания он говорил ей тоскливо:

– Мама, где же отец? Привезёт ли Макария – Абыза? Даст ли он мне подарок Кудая?.. ах, мама, они задушат меня.

И опять бредил и опять кидался от призраков, а часы шли, длинные, томительные, и старый немогший спать дед беспрерывно подкладывал хворост на костёр, горевший в большой юрте Кургая.

– Едет, – сказала мать старому свекру, поднимая го лову, и её глаза впились в отверстие, закрытое кожей. Оно раскрылось, и она увидала небольшую фигуру гостя, жданного и желанного, которого уже три дня звал и ждал её сын.

– Оспа, да? – сказал гость, подходя к бредившему ребенку:
– Бедный Алас... закройте вход... вот, я привез масло, святое масло, я помажу его... не совсем открывайте, холодно... так хорошо... лицо... голову... теперь я погрею руки... нужно приподнять одежду, я и тело вымажу ему...

– Абыз! – радостный шепот сознательно слетел с губ Аласа, руки с трепетом протянулись к священнику: – Абыз, дай мне подарок Кудая; они уйдут от меня тогда, Кара-немэ... они меня замучили.

Абыз минуту думал; потом светлая улыбка прошла по его тонкому худощавому лицу, он быстро расстегнул одежду на груди и, вынув крест, снял его и одел на шею больного ребенка.

Блаженная улыбка легла на лицо Аласа, покрытое воспаленными оспинами... он взял горячую сухую рукою Абыза и, с трудом приподняв опухшие веки, сказал:

– Говори мне про Него. Присев у огня и глядя его горячую головку, священник стал говорить о Рождестве, о тайне искупления – просто, понятно, тихо и спокойно. И старый хозяин юрты, и мать ребенка, и Кургай, и больное дитя слушали жадно, пока мальчик не уснул успокоенный, сжимая крест в худенькой смуглой руке.

– Ну, мне надо ехать, – сказал миссионер. – Ему лучше, Кургай, он выздоровеет... Закрывайте крепче вход, не остудите его, завесьте его кочмою... он выздоровеет, не бойтесь... теперь крест прогонит от него всё черное... Христос с вами в день своего Рождества!

И, склонившись к ребенку, тихо и ровно начавшему дышать, он поцеловал обезображенное, распухшее лицо без боязни заразы и вышел спокойный и тихий во мглу морозной ночи, совершив свое дело любви.

IV

Колокола весело звонили на маленькой церкви, небольшие колокола бедного миссионерского стана. Абыз – Макарий служил благовейно и торжественно, а задумчивые, отбежавшие немного от Катуни, горы слушали благовест; слушала его и Катунь, неспокойно бившаяся подо льдом, сверкая полыньями, услыхал донесенные эхом звуки благовеста и мальчик Алас и улыбнулся матери, заботливо склонившейся над ним.

– Мама, слышишь Кудай пришел на землю? Абыз Макарий там молится... мама, мне лучше, ушли Кара-немэ; они наверно теперь принялись мучить Кочкора, потому что у него нет подарка Кудая.

И он опять заснул под перезвон дальних колоколов стана, а Абыз Макарий в церкви приносил бескровную жертву рожденному Искупителю мира и молился за Аласа и всех простых детей языческого Алтая в холодную и темную, но святую и великую ночь Рождества в маленьком чемальском стане, затерянном среди задумчивых гор и лесов.

В далекие годы

Тропа в мрачном черневом лесу с узкой полоской голубого неба; над нею полусумерки, хотя солнце стоит высоко на небе. На тропе поминутно попадаются громадные стволы сваленных бурей деревьев; кое-где лошади продавили тропу в этих подгнивших гигантах, у других, более свежих, прорублено отверстие руками людей, чтобы могла пройти лошадь. Круто. Местами, несмотря на кручу, – грязь, в которой вязнут лошади. И тишина нерушимая в теплый, здесь прохладный, день.

Через недавно павшие, ещё не тронутые рукою человека, деревья, лошадь отца Макария перескакивала, переставляя обе ноги враз, а за ним и его спутниками точно смыкался лес, отрезая их от мира культурного и шумного, замыкая стенами стволов для тихого и незаметного подвига.

– «Двадцать пять лет и – отречение в этой дали!» – думал про о. Макария его спутник с умным лицом, смотря на небольшую стройную фигуру, а о. Макарий снял шляпу и, положив поводья на луку седла, сидел, подняв голову, и вглядывался в зеленоватый полумрак лесного коридора задумчивыми ясными глазами.

– «Алтай! Вот она глушь, куда рвалось его молодое горячее сердце!.. Подальше от глаз к простым, заброшенным в этой глухи, людям, с любовью, избытком которой горела его душа, к людям, которых за 6 лет жизни он узнал близко и понял, что они кротки сердцем, добры и отзывчивы, и только их безграничное суеверие, с которым он боролся упорно, прилагая всё старание, томило его и заставляло неустанно работать и учить».

И он учил, среди зимы, в морозы и бурю пускаясь с проповедью. И в Чемале имя молодого монаха произносили с уважением, а товарищи миссионеры и о. Стефан Ландышев, видевший в нем «Незабвенного», решили послать его первым посланником в долину Чолушмана и на берега Телецкого озера, в самую глухую и отдаленную окраину Алтая. Он принял это с большим послушанием. Ему давно хотелось уйти в глушь, где жили простецы, и природа, дивная и строго-прекрасная, славила Бога. Исполнялась и его мечта об основании монастыря, и в этот

день на трудном перевале, где иногда на твердом песчаном грунте, заменявшем грязь и колодник, виднелись крупные медвежьи следы, исчезая в топком болоте, в котором лошадь тонула по колено.

— Абшак! — говорили проводники, пугливо встречая такие следы, — боишься, Абыз? — а, боишься?!

И спутник молодого монаха видел, как мягкая, кроткая улыбка ложилась на красиво очерченный рот под молодыми усами.

— Забоюсь, может быть, если увижу: ведь, я — человек, Тибан! А вот, есть и были люди такие, Господу угодные, которые и зверей не боялись: из рук медведей кормили, абшаков таких, как ваши.

Он склонился к следам, и мягкие волосы, вившиеся природными локонами, закрыли лицо. Откинув их, монах сказал:

— Вы сами не боитесь? он где-нибудь недалеко ваш абшак: смотрите, какой свежий след. А лошади устали; дадим им передохнуть вот тут, на песке.

— Ой, батька, тут недалеко уж! Кадюбаш скоро вершину покажет... там легко будет, шибко легко.

И, действительно, точно отбежавший в стороны лес открыл вид задумчивый и прекрасный, однако ещё закрывавший озеро. Синие хребты подымались издали, закутанные в дымку облаков, далекие, чуть видные на горизонте, а более ближние сверкали снежными пятнами на фоне опять поднимавшегося за пеленой темного леса.

— Хорошо! — сказал спутник о. Макария. — Летом — благодать Божия, а вот зимою... — И он покачал головою. — Страшно! Не хочу я вас, о. Макарий, пугать, только тяжко тут непривычному человеку зимою. Я раз с купцом одним, товарищем по торговле, просидел 16 дней на берегу. Такая поднялась ужасная буря! запасы все вышли почти, и мы старались только поддерживать огонь; а потом нас застигла опять буря со снегом, когда мы рискнули пуститься вновь, после наступившей тишины, и я её буду помнить до смерти. Ужасны эти берега зимою. Я, сегодня случайный спутник ваш, жалею вашу молодость. Мне бы не

проводи тут зимы; я бы с тоски помер. Простите, что расстраиваю вас.

– У вас семья, голубчик! – улыбнулся своей мягкой улыбкой молодой монах. – Родные, близкие, а моя семья – они, – указал он на инородцев. – Я их люблю и жалею так же, как и вы своих... не естественно ли мне жить с ними? Согласитесь, что правда это!

И спутник его невольно с глубоким вниманием пригляделся к тонкому, ясному лицу и раздумчиво покачал головою.

Лес редел. Начался спуск, и в тихий прелестный вечер из-за последних кустов, закрывавших вид, мелькнуло, скрылось и опять выступило зеркало Телецкого озера.

О. Макарий слез с лошади и долго глядел на синюю, сверкающую золотом от солнечных лучей, полосу воды и зелёные, обступившие воду, горы. Казалось, что это большая, громадная чаша. Мыс Четту скрывал продолжение озера – крутой и мохнатый, как гигант, выступивший в синюю воду. Проводники с толмачом и спутником о. Макария развели костёр. Весело фыркали лошади, а последние лучи осыпали небольшую фигуру у озера на камнях, слабого на вид, но сильного духом человека.

II

Большая старая дощатая лодка ждала спутников, и о. Макарий, вступая в нее, улыбнулся, качая головою.

– Ничего, Абыз, не потонем! – сказал один из проводников по-алтайски. – Мы купца раз везли, так, он ехал-охал: – «Калак», говорит. Все гребцы хохотали... И не утонул! – прибавил он с наивной уверенностью. – Мы, ведь, её всю затыкали хорошо; замокнет, как сядем; бортами бежит.

И он сложил небольшой багаж своего Абыза, и действительно вода скоро перестала просачиваться в борта, а восемь гребцов полураздетых, несмотря на прохладный западный ветер, гнавший волну, задвигали руками, поднимая и опуская вёсла. Лодка шла быстро, и о. Макарий сперва послал приветствие спутнику, оставшемуся на берегу, а потом заинтересовался природой и, указывая на берега, спрашивал название гор.

– Вон та, острая, – Пентым Тоуса, а эти скалы крутая – Ажу называются... там вон... Колодор вытекает... верст 25 будет впереди, – говорил бывалый проводник из охотников, русский, уже не молодой человек.

– Люблю я летом Телецкое: уж истинно, «золотое озеро», в особенности тому, кто эту сплетню да суetu мирскую не любит. Тут што есть птица не гомонит. Вон на Яныс-Коч меж камнями... ночевал не раз, чашша... всё сплелось, жимолость, караган, рябина, черемуха, бузина, смородина с маральником... што есть пробраться трудно, чашша – одно слово. Люди говорят, что далеко не проберешься в высоту. Много мы тут с Тихоном соболей пымали.

– Помнишь, Тибан? Как не разбились! Один день заголодали было, обожрались этой самой «Таи»... «Таей» они зовут жимолостник с синими ягодами... – напали мы на него с голоду, да столь изничтожили, што дурнота напала... ровно ребята.

Он усмехнулся добродушно и весело, глядя на проводника Тибана, сына алтайских гор.

– Вот – Кулган обогнем, там – Кокташ и Умакташ... Это так мысы называются, – озеро во всю длину увидим от них. Дико, берега все скалистые, и вода темнее кажется, особенно в ненастье под ними. Не люблю я плавать там, о. Макарий, в особе – один: шибко уж тихо, горы эти, ровно монахи сердитые. Што улыбаешься? Есть сердитые монахи. Я по обвету в Соловки ходил, давно, в молодости, лет 16-ти... так меня они устрашили: такие серьезные, как Телецкие скалы, што тут близ Кулгана и спереди, и сзади. Я намерение полагал там оставаться, да суровости ихней испужался и – домой. Видно судьба была моя суды, в Алтай с отцом пробраться. Ну, а как увидал я эти мысы, уже возмужавши, так моих монахов вспомнил Соловецких.

III

К вечеру, такому же тихому, как и предыдущий, пред путниками, выплывшими из-за последнего поворота, открылось озеро во всю длину. Со всех сторон поднимались горы высокие, с пятнами снегов и водопадами и массив горы Тоголока, точно преградой ставшей там, в облитой солнцем дали, над синей полосою озера.

– Хорошо! – сказал о. Макарий. – И скалы хороши, это какая река будет, где ночлег наш – Чоодор? – Да... Ишь, тоже места знаете! память-то у вас не то, что у меня – молодая... а я забыл, как та гора, что против бухты Чоодор, называется. На том берегу, помню, река там большая Копши. Постой... Кольджанат гора та, о. Макарий... а эта – Тестенгей. Юрты есть: мы там у инородцев с Тибаном как-то месяц выжили. Добрый народ, только и чудной: как-то сдумал я раз чашку помыть в Копши из-под молока, грязи на ней ужасти! Как хозяин наш накинулся на меня, ругается: – «Счастья, говорит, у скота не будет!» молока, значит... И мне с Тибаном на ущерб месяца капли молока не давал на улке, а в юрту заманит и – напоит: чистота, объяснят, кака-то уйдет из дома... богатство, должно понять... да мало ли! ущерб у них в почете: боятся ево страсть, вверяются приметам всяkim. На вершинах гор «обого» накладывают, – ветки это с деревьев, – и кто едет, да не поклонится им и ничево не положит ни маxра, ни волоса с лошади, говорят, али сучка, тому худо будет. Виши, это они хозяевам горы кланяются, и Тибан-тамыр мой – тоже.

– Ну, што тупишься? Знает, ведь, душа нехрешшоная, што хозяин – Бог небесный всем горам, а ворчит на меня: «Ой, Василий! Ну, што тебе сучек положить»

– А я плюнул на их сучки, и, конешно, ништо мне не доспелось. А камланье... тошно глядеть на них... часто в том аиле камлали; мучают их, скотину несчастную. Верите ли, драться я кидался на них! темень, неразумство... помоги вам Господи их просветить, чтобы они от этова камланья отвадились. Я, вот, за 20 лет одного Тибана просветить не могу, потому – не грамотный и Божье слово не проповедую, а так – што слышал, толкую. Попытайте, поговорите ему, о. Макарий; дружья мы! Я всё же хоша надежду питаю, где с краю приспориться и зрить царство небесное, а он, друг мой закадышный, в темени будет. Тошно мне, из-за тово и пустился с вами, што охота уж шибко ево на ум навести. Помогите вы. Ево уж я водил к о. Стефану... до порога довел в Улале, так убёг, а тут куда убегить?! – засмеялся охотник.

И потупившийся Тибан тоже усмехнулся добродушно, а о. Макарий, положив руку на его плечо, загляделся на далекий вид

и молчал, не отвечая словоохотливому Василию.

IV

Еще день прошёл в пути среди тишины, без особых разговоров. Погода нахмурилась, и, показывая на ленты водопадов, ставшие попадаться на пути, Василий сказал;

— Хватит ежели дождь, посмотрим их... откуда сила возьмётся! Только бы до Яман-Чили доплыть! Вот, там есть посмотреть на што! Жаль, што купец наш на Артыбаше застрял на неделю, своих поджиная: человек он умный, как хорошо всё рассказывает! Потому — эти места знает и любит и чашше моего тут бывал. Вот, глядите... на плошшадке этой станем здесь, не доплывая Яман-Чили: ишь, тучи шибко заносит... быть грозе! а дале — приступу не будет — каменья. Хоша и можно бы плыть, да опасно, а тут за камни в заводь лодку заведешь. Не впервой спасаться от бури в этом месте, только и места насколь расстояния годного.

Поток гудел, точно угрожая. С обоих берегов к его воде сбегали стройные сосны и лиственницы, непроходимою чащею поднималась поросль среди сваленных бурей старых гигантов; громадные камни торчали из воды, покрытые мхом там, где их не хватала голубая вода, пеной обдававшая их, подвластные ей глыбы. Яман-Чили точно рвалась вперед, с силой летела вода по уклону, крутя и разбивая в щепы подмытые деревья, и дикая суровая красота была в этом стремлении.

— Будет гроза! — говорил Тибан с гребцами, растягивая старую палатку.

— Ты не бойся, Абыз тут не страшно: Яман-Чили сюда не достанет: высоко тут... пусть бесится вольница! Ишь, как тучи густеют. Садись сюда: тут за ветром хорошо! — звал он ближе к ним о. Макария.

— Сядем лучше тут, Тибан, и поговорим, — на чистом алтайском языке, сказал тот. — Посмотрим, как Яман-Чили грохочет.

— Яман-Чили злая: я ей каждый год камлаю: боюсь духов, их много тут, — опасливо проговорил Тибан. — Они тут под камнями живут... Кара-немэ... злы... балуются с лесинами, щепят их.

— А кто же заступится за тебя, кого просишь, — сказал о. Макарий, — от них охранить?

— Кого? — изумился тот. — Да так, сам оберегаюсь. А страшно, Абыз боюсь я их: в лесу — курюмесь, кара-немэ... всех... мало ли их, черных!

— А я не боюсь никого: ни этого грохота, ни грозы, потому что знаю о том, что Христос со мною всегда, мой Благословенный.

Тибан насупился, но сейчас же лицо его разъяснилось: ему почему-то самому не стало так страшно близь этого молодого, ясного и кроткого человека.

— Христос? — сказал он раздумчиво. — Наши его хвалят... Василий — Тамыр тоже. Где Он?

— А там, на небе, за облаками, за тучами.

— И тебя не увидит... как же тебе курюмесь не бояться, духов?

— Ведь, я сказал, что Он со мною.

— Не понимаю, Абыз то — с тобою, то — за тучами. Чудно.

— Вот, видишь, милый, Он такой мой Господь: Он и на небе, и на земле, везде, и около тебя, если ты Его позовешь... всё слышит, всё видит, все мы Его дети, и всех Он нас любит: Вездесущий, Всемогущий и Всеведущий.

Последних слов Тибан не понял, но они почему-то заставили забиться его сердце, — с такой силой, любовью и трепетом, произнес их молодой монах.

— Чудно, — покачал он головою. — И нет, и есть. Какой ваш Бог? Сильный?

— Да, и сильный, и кроткий, и милостивый. Хочешь, я расскажу тебе о Нем?

— Нет, не надо. Я старый... как верил, так и верить буду. Боюсь слушать: меня кам наш орбай²² зашибет. Скажет: «сдурел совсем, разве молодой — дуришь, голова безумна?». Я как вон то дерево кузук-агаш, гляди на камнях: куда ветками повернуло, туда и стоит.

Глаза молодого монаха впились в могучий кузук-агаш. На вершине скалы, глубоко среди камней впились корни в землю, обвили толстыми корнями скалы и ушли глубоко под землю в расщелинах камней; вода не хватила его, и он, несокрушимый

бурею, стоял тут, чуть шелестя ветвями и принимая первые порывы ветра, всё крепчавшего на открытой глади Телецкого озера, где уже гуляли волны, покрытые беляками.

– Здоровая буря будет! Там послушник котлы кипятит. Прочно палатку натянули, только дырявяя шибко, да там и ветра нет, суды только хватает! – заговорил подошедший Василий.

Под порывы ветра и рокот е ё далекой грозы они все, кроме гребцов, устроившихся в расщелине скал, похожей на пещеру, собрались около костра, разведенного руками послушника и диакона. На костре кипел чайник, и послушник развязывал сумы, вынимая черствый хлеб, соль и яйца.

– И рыбы нельзя половить, как озеро бунтует. Вон они молнии как небо режут близко! – заговорил опять Василий. – Ох, какая буря идет... столпотворение тут будет: камни затрясутся; а Яман-Чили!.. вы не поверите, что с Яман-Чили станется скоро!

О. Макарий не стал раздеваться, вышел из палатки и подошёл к камням, парапетом, поднимавшимся над точно притихшей и сжавшейся рекою. Буря шла издали, и горы гудели эхом, принося е ё далекий гром. Во мгле, быстро наступившей, можно было при блеске приближавшихся молний, разглядеть белые гребни волн. Грозно шелестели вершины деревьев, и дикой, даже страшной была эта кар тина; Василию, видавшему виды, и вышедшему вслед за ним стало жутко.

– О. Макарий, пойдем туда: тут ад доспеется... и так ветер ревет, иди!

– Я побуду: бурю посмотреть хочу. Ты часто бывал здесь, Василий?

– Часто.

– И Тибан?

– И он тоже, душа нехрешшоная; раз было погинули, хватило нас версты полторы отсюдова бурею. Идите, о. Макарий: жутко!

– Поди один, оставь меня тут: хочется глядеть на бурю: никогда не видал её тут. Это гнев Божий несется на тех, что противятся. Показывает Господь силу Свою в вихре и буре. Нужно поучаться смирению у природы. Видишь, к земле клонятся кусты и тал? это – смиренные; буря их не тронет; а те,

вон, на кручах – горды... сломит! Сегодня тот, вон, кузук-агаш над рекою упадет, верь мне.

– Ну?! – с сомнением покачал головою Василий. – Тот – ни за што. Спокон века он тут.

– Сломит! – сказал о. Макарий твердо. – Увидишь, – потому что много делает Господь для вразумления душ маловерных.

И стих, задумался, а Василий ушёл. Ему не хотелось быть промоченным дождем, и он сказал молодому послушнику:

– Чудит наш о. Макарий, бурей любоваться хочет. Беги-ка, дай ему закрыться плащом: до костей промочит: Дожь, ишь, уж!

Он вздрогнул и перекрестился от рокота, пронесшегося по горам. Вслед за ударом грома точно заговорили скалы; Яман-Чили глухо зарокотала, а молния резкими зигзагами вилась по небу, то бледная, то яркая, разбрасываясь стрелами или прорезая резким углом точно погустевшую разом мглу. Ближе и ближе. О. Макарий, сложив руки, смотрел на них. Может быть, он молился. Молодому послушнику, вышедшему попроведать его, казалось, что он молится: он заметил при блеске молнии сложенные на камне и сжатые руки и тихо вернулся в палатку.

– Не ходи, не мешай! – остановил он Василия. – У него душа не наша, он бури любит и гроз не боится. Бог не попустит ничему случиться с ним.

И все они остались, слушая грозные удары подхodившей тучи, сыпавшей молнии уже все яркие, как зарница, и гудевшей теперь непрестанным гулом.

Вдруг дикий порыв ветра заколебал палатку, чуть не сорвал ее; другой – третий, и – всё загудело, точно в котле: лес, горы, гром, река, озеро и ветер. Всем стало жутко за одинокого человека, там, на камнях, открытых буре, и Василий рискнул выползти к нему вместе с послушником, но тотчас же они опять вползли назад: такой ад царил за палаткой! Дождя не было, падали капли, крупные, тяжелые, но редкие, а гроза, казалось, рушила скалы. В немом ужасе они ждали своего спутника, а он не шел. Дождь хлынул не сразу, но когда он полил, то, казалось, разверзлось небо! Целые потоки залили их палатку мигом, пока не замок холст, а потом, между грохота бури и ливня, дробью стучавшего по камням, разом точно всколыхнулась и загудела

Яман-Чили, будто опомнившаяся и желавшая поспорить с хаосом звуков.

О. Макарий укрылся за камнем от первых капель дождя, под его навесом он, не отрываясь, глядел на озаренную теперь не погасавшими молниями реку, точно выраставшую на его глазах, под хлынувшим ливнем, на ровные зигзаги молний, слепившие на миг его глаза. Сердце шибко билось у него под простою, темною рясой. Казалось, эти камни кругом него дрожали, и сама земля рокотала от новых и новых ударов. И вот грянул удар такой оглушительный, что ему показалось, будто он падает в бездну Яман-Чили; что-то словно ухнуло, и ветер, пронесшийся ужасающим порывом, заставил его инстинктивно обхватить камни руками, чтобы не быть сметенным в клокотавшую Яман-Чили. ещё и еще. Те в палатке легли на землю: им казалось, что земля колеблется, и они погибают. Тибан стонал, а алтайцы в пещере не подавали звука. И вдруг, после этих страшных ударов, потоки дождя точно разом остановились, словно могучая рука повернула бурю, и ветер рванул ещё двумя – тремя ужасными порывами, улетел далеко, гоня тучу, грозу и бурю. Только вспененная, вздувшаяся Яман-Чили неслась и бешено гудела, ломая в щепы попавшие в нее деревья, и несла мимо о. Макария эти обломки, точно кичась своей мощью и силою. Тихий, но уже теплый дождь сеткою одел дали, не стало видно даже бушевавшей Яман-Чили; бледные ленты молний ещё прорезали дождевую дымку, но они погасли и сгинули, и только гром, отдаваясь эхом, гудел в камнях, и этот гул мешался с ревом реки, собравшей в себя воды ручьев, падавших с вершин, и сильной, могучей и грозной несшейся в Телецкое озеро. Почти сухой вышел о. Макарий из своего прикрытия.

– «Да, ужасны грозы и бури!» – думал он. – «Точно песчинка человек в горне жизни! И смеем, песчинки малые, думать, мыслю возноситься, мня себя чем то! Дунул Творец, и падешь камнем пришибленный!»

– Василий, живы ли вы? – ощупью добрался он до палатки.

– Живы! – ответили ему. – Подмокло все, не можем костра разжечь, а Василий где-то вышел искать вас.

Общими усилиями развели костёр, пока послушник кликал Василия, и усталые, измученные сели к нему, смотря на пламя.

Тибан закурил трубку и исподлобья взглянул на о. Макария, приметив его пристальный взгляд.

– Чего глядишь? – сказал он. – Напугался разве? Вон как курюмесь бесится, поневоле напугает!

– Нет, это не курюмесь, это – Господь. Он только «едет в туче громовой – и правит молнией крылатой!» – перевёл красивые слова священник – Курюмесь трепещет грозы: ведь, это – гнев Божий. Ах, Тибан, Тибан! Мог бы нас сегодня Господь смести с камней этих в Яман-Чили, и разбились бы о камни наши тела, как тот кузук-агаш, о котором ты мне говорил, но Он – добрый.

– Кузук-агаш, Абыз? что с кузук-агашем? Упал, лежит?!

– Увидишь! – спокойно и уверенно сказал монах. – Лежит: и корни не удержали: разорваны, разметаны. Помнишь, что ты говорил мне давеча?

– Нет, нет! – вскричал Тибан. – Неправда... врешь, не упадет. Куда протянул ветки, тут и будет! Ты врешь, Макарий.

– Посмотри завтра. Господь мой показать тебе захотел, какая ничтожная вера твоя, которую ты менять не хочешь. Посмотри завтра, если только Янман-Чили его не унесёт.

И он сам положил своё седло себе под голову и лег на потник лошади, покрытый рясою из грубого сукна, полою которой он закрылся, протянув утомленное тело. А Тибан, от которого убежал сон, сидел и сурово ворчал сам с собою.

– Врет. Крепкий кузук-агаш дед отца видел его... Проходили бури, гремел гром. Конечно врет. Там же кузук-агаш. Не верю ему.

Но и Тибана сморил сон. Он так и уснул, уткнув в колени голову, крепко, так крепко, что поздно прорвавшее завесу туманов солнце достаточно обогрело и обсушило мокрые камни, когда он открыл глаза.

О. Макарий спал. Спокойное, строгое молодое лицо его носило следы покоя, руки устало закинулись за голову, и гнев, закипевший почему-то в сердце Тибана, потух и угас, рассеялся, как дым кадильный, при взгляде на мирно спавшего священника.

Скептически улыбаясь, он пошел меж омытых, сверкающих чистотою, гранитных глыб и взглянул на Яман-Чили, еще окутанную туманом и на противоположный берег... Там все было покойно и тихо, пелена тумана скрывала низину, но утес...

– Ай! – вскрикнул Тибан.

Точно смело кузук-агаш, даже следы вывороченных корней между камнями замыло илом, бежавшего тут ночью ручья. Утес поднимался голый из тумана, и сердце алтайца взволнованно затрепетало.

Цепляясь за камни, он спустился вниз к Яман-Чили, уже обычной, грохотовшей. В ущелье, среди камней, посередине его, поперек с вывороченными корнями, казавшимися толстыми змеями, уродливо и странно извивавшимися, лежал лесной исполин, поверженный и жалкий, с обломанными ветками, и вода бешено, точно издеваясь, кидала на него быстрые струи, покрывая пеной могучий и сильный ствол, бесясь и стараясь сокрушить неподвижного исполина.

Качая головой, Тибан потрогал беспомощно повисшие ветви вершины.

– Точно мост. Пройти можно, пока не собьет его другая буря. Тешится Яман-Чили, тешится! – со злобой взглянул он на реку. – Ах, Абыз Макарий, Абыз Макарий!

И, отвернувшись, он сел на камнях, полный новой думы.

А Абыз, тоже вставший, глядел на голую скалу, и в его душе трепетало благодарное чувство к Господу, хотя его мрачila жалость к поверженному лесному гиганту.

– «Душа человеческая дороже бесконечно дерева, и все же жаль и дерево бедное, поверженное. Всегда жертвы нужны, жертвы за христианскую душу. Господи, просвети раба Твоего Тибана!»

– Ах ты, Господи! Тибан, а Тибан, где ты? – всполошился вставший Василий. – Гляди, кузук-агаш-то вывернуло, и следочка нет. Ну, да и буря была! я думал светопреставление, как это мы все не погинули!? Вы тут сидели, о. Макарий? – и он указал на камень, круто нависший над другими. – Тоже рисковали. Мне в долине Чолушманской не раз приходилось

видать, как в бурю этакие-то камни летят, как галочки. Здесь бури, сами видели, не игрушки.

– Тибан!! Да где он запропал?! Ишь, собака, сидит у Яман-Чили. Вон, поглядите, батюшка, и кузук-агаш распластался там... глядите, ровно мост. Не может упереть его Яман-Чили, даром что сильная; а ветки пообщелкала, вот, как в лепте²³ ровно:

«Кедр высокий с облаками
Наравне вчера стоял,
Ныне-ж вверх лежит корнями,
Буйный вихрь его сорвал!»

– Собираться нужно! – сказал тихо монах.

– Тибан, поплырем, иди.

– Собирайтесь, Василий, а я к нему спущусь! И спустился с кроткими словами, которые сердце Тибана, смятенное и взволнованное, принимало как-то безразлично, точно они не доходили до него. Он пошел за о. Макарием, взобрался к верху, и через час они опять плыли в своей лодке туда, где Алтын-Ту поднималась от озера скалистыми, неприступными берегами, уходя оснеженной вершиной в синее, совершенно чистое, без отметинки, небо.

V

Тихо плыла лодка. Гребцы истомленные отдыхали, а о. Макарий глядел на грозное ущелье Аю-Кечпеся, ущелье, которое выходило к самому берегу, заросшее кустарниками. Между камней оно было страшно, казалось, что за ним гремит кто-то неведомый, не водопад, а чудовище, скованное в глубине, гремит, стонет и рвется на простор синего озера из своей узкой теснины. Миссионер глядел, не отрываясь, дремали гребцы под горячим солнцем, медленно поднимая и опуская вёсла, дремали спутники и только Тибан, да молодой послушник не спали, и когда о. Макарий поднял глаза, они встретились с глазами старого алтайца.

– Это Аю-Кечпесь? – спросил он его тихо, но внятно, чтобы не нарушить покой других.

И тот, точно ждавший его слова, пошел к нему.

– Да, аbam... Аю-Кечпесь... ишь. Гудит и ревет, как Яман-Чили в бурю. Ах, аbam! ведь, он рухнул весь, и корня не

осталось!

– Он рухнул потому, что не хотел смириться, согнуться перед гневом Творца, а все те, которые склонились перед Ним, живы, омыты дождем и прекрасны. Ты склонишься, Тибан, потому что ты увидел могущество Божие. Мы перед Ним, как ничтожные песчинки, но Он любит и бережет нас, как отец.

– Да, абам, да! – говорил Тибан смиренно. – Да, я боюсь. Теперь я буду креститься. Сердце Тибана трепещет гнева твоего Бога, а Тибану недолго жить.

– Нет, Тибан будет жить долго, всегда. У нашего Бога, когда приходит земная смерть, для людей Его любивших, начинается другая жизнь, там вон, – указал он на синеву неба. – Душа уходит туда с ангелами и оттуда, из Божьих садов, будет глядеть сюда на мир, на Алтай, молиться за него и радоваться в свете. Там такая красота, мне моим слабым языком не сказать тебе того, что нас там ожидает.

Тибан загляделся на небо и задумался, а уста миссионера, тоже смолкшие, чуть-чуть шевельнулись, и глаза всё глядели на причудливые скалы и выступы, на массив Алтын-Ту и на длинные косы песчаных отмелей, покрытых талом, прикрывающих устье Чолушмана. Душа была приобретена для Христа, и слова глубокой благодарности за эту приобретенную душу теперь шептали его уста.

VI

Была ночь. Дремали горы Чолушманской долины, только водопады, нарушая тишину, звенели и пели, да в сердце о. Макария росла и поднималась тихая, смиренная радость.

Сегодня в волнах Чолушмана крестили Тибана, и приемником его был Василий, старый друг, а теперь крестный отец новокрещённого. Лица их были радостны и светлы, а на них смотрели алтайцы, которых долго и много учил сегодня он сам. В ночь, наводненную лунным светом, на камне у одинокой палатки, среди дикой, прекрасной и строгой природы, его сердце не томила мысль, как он останется здесь один, беспомощный и отрезанный от мира: с ним был его Господь, его сила, крепость и радость.

— «Тибан, другие, разве мало людей будет с ним? Послушник, диакон, инородцы... Строить будут тут, ронять эти деревья. Поможет Бог, поднимется к небу христианский храм, и алтайские горы услышат звон колоколов. Конечно, это не скоро будет, но он молод и силен. Недаром ему являлся во сне архимандрит основатель, чье имя он носил, недаром велел ему обучаться тут в Алтае, который любила его праведная душа. Он отдаст силы, душу, если нужно, жизнь горам и людям Алтая, кротким людям, простым, суеверным и не злым, научит их правде и любви, научит любить Бога, ближних и не будет падать духом перед бурями земными, склоняясь в прахе перед Господом, как гибкие лозы, перед Господом, любовью к Которому полно его сердце!»

— «Душу — Богу, тело — труду, с надеждою только на Его помошь. Вот эти руки должны неустанно трудиться, вместе с умом. Как прекрасна ночь! Красота мира, чистый дар Божий, дан в утешение ему. Господь милосерд и наставит его тут!»

Полная мира долина дремала, ритмически шумели водопады, и гремел Чолушман, убегая в Телецкое озеро. Причудливо и строго выступали горные массивы, а звёзды небесные сияли, как ангельские очи, вечные звёзды, светившие апостолам, чьим подражателем хотел быть этот смиренный человек. Божий мир в тихой Чолушманской долине, полной покоя, охватил его сердце. Его не тянуло на отдых: такое созерцание было отдыхом для него. Чудное создание Божие Алтай — прекрасная жемчужина в венце Его творений, спавшая в нерушимом покое, дана была ему слабому в жребий, и он должен был свято исполнять все, что хотел, незаметно, не для славы, а из-за любви, которой полно было его молодое сердце, всё отданное на служение Господу, Кому вверил он себя и свою молодую жизнь.

С Алтая

Это было давно, когда Он, древний миссионер Христа, святой Пантелеймон, пришел с далекого Афона в Алтай, невидимо явился вместе с образом своим, и в Алтае все потянулись к Нему, начиная с миссионеров и кончая крещеными инородцами; любовь Его, посланника Христа и безмездного Целителя, простиралась на всех, кто Его звал, и немало явилось знамений Божественной благодати, присущей Его святым мощам и иконе. Исцелялись бесноватые, страдавшие пристрастием к вину, болевшие ранами, больные глазами, и епископ Владимир, начальник миссии, с благоговением часто говорил о дивных случаях исцеления всем, кого видел страдающими и измученными. Миссионеры любили Алтай пламенно, – из него их выгоняли только дела службы. Живя в Бийске, они с любовью глядели в ясные дни на дальние горы, похожие на миражи, тонувшие в голубоватой дымке; пуще других томились в такие заезды в город о. игумен Макарий²⁴, еще молодой миссионер, прошедший тяжелую школу всех послушаний, апостольски ревностный на служение прекрасному краю.

Дела миссии вызвали его в Бийск и зимою 1881 г.

Холодная зима и путь или что другое повлияло на здоровье о. Макария, только он, перемогаясь много дней, свалился и тяжело заболел, а позванный доктор нашёл, что он заболел брюшным тифом в тяжелой форме, и что болезнь его для жизни опасна.

Был хмурый день, когда доктор поставил свой диагноз. Отец Макарий лежал в жару с горящей головой и бредил Алтаем, работой, миссией, говорил о далеком Чолушмане, о милом Чемале, заботился о новокрещённых и метался на жестком ложе к большой тревоге окружающих.

– Надо послать в Улалу нарочного, – сказал епископ Владимир, – помолиться просить перед святым Пантелеймоном за о. Макария миссионеров улалинских; вижу я и сам, что он трудно болен, а потерять его для миссии – слишком большая утрата.

И в тот же день послал нарочного с письмом в Улалу, где просил помолиться за трудно болящего перед иконою святого Пантелеймона.

Владыка был тревожен: он любил отца Макария за его огромный труд, совершенный для миссии, за послушание и покорность, за чистоту мыслей и верующую душу, и ему было страшно думать, что из миссии может уйти её лучшая сила.

Было утро. Маленький городок только что начал просыпаться, и почтари стали разносить «почтую», которая приходила сюда через две недели и привозили давно написанные письма из милого далека, из России, до которой тянулись тысячи верст.

Корреспонденцию о. архимандриту подали по обычаяу к чаю, и, разбирая её, довольно большую, он остановил глаза на иностранной марке письма: адрес был на имя больного отца Макария и по штемпелю о. архимандрит узнал, что это письмо с Афона; он тут же решил его распечатать, и слёзы набежали на его умные темные глаза, когда он увидел прекрасный лик святого великомученика Пантелеймона.

— «От таковых изображений бывают исцеления болящим, притекающим с верою», — прочел он и, бросив разбор корреспонденции, пошел к больному, держа в руках письмо.

Отец Макарий иногда приходил в сознание: это были часы просветления, и в это утро он открыл воспаленные глаза.

— Послушай-ка, — ласково сказал ему о. архимандрит, — я, ведь, нарочно послал в Улалу помолиться о здоровье твоем, а это вот к тебе небесный Целитель пришел.

И он подал ему святое изображение Великомученика Пантелеймона.

Слабая рука больного потянулась к нему, исхудальные пальцы сотворили знамение креста, и, слушая чтение письма, о. Макарий, охваченный порывом веры, положил себе на грудь святое изображение; но волнение его утомило: он опять стал метаться, и приехавший доктор объявил, пожимая плечами после промерки температуры, что жар страшно велик, и что он при самом благоприятном исходе будет продолжаться ещё

неделю, затем с неделю ещё уменьшаться, если не последует печального кризиса. То же сказал он и утром на следующий день.

В это время в Улале тоже получили печальную весть, и звон раздался с колокольни красивой белой церкви, раз дался и полетел к вершинам гор, тихо дремавших под снегами.

Было холодно. Изморозь носилась в воздухе, и солнце декабряского дня казалось огромным шаром, плывшим над мохнатой Сюрымейкой. Большая безлесная Тугая и длинный пик Андрияшки, все горы – дальние и ближние – бесстрастно слушали звон колоколов, звавших в церковь для молитвы о болящем своем печальнике, кто прошёл Алтай из края в край с молитвою, любовью и пламенным словом, отдавая ему свои силы, и кто теперь умирал за его гранью, в Бийске, из которого горы Алтая казались маревом, синею тучей, стлавшейся вдали.

В церкви выносили икону, толпились люди с огорченными лицами, слышались разговоры. Старые, слабые миссионеры – все потянулись туда один за другим.

Молебен совершали соборно, благоговейно моля Целителя, данного Милосердным Господом страдающим людям, чтобы Он сохранил для Алтая полезную жизнь его труженика; молились долго от всего сердца, и к концу молебна церковь оказалась полной народа: пришли старые, малые, богатые, бедные, и в церкви несся тихий шепот:

– Шибко болен о. Макарий в Бийске. Нарочного прислал отец архимандрит молиться за него... Сохрани его, Господи...

Певчие пели на хорах, и когда начался акафист, все повторяли за ними: «Святой Великомучениче и Целителю Пантелеимоне, моли Бога о нас!»

– Радуйся, славный проповедниче православия! – читал священник, а у самого невольно мысль уходила к о. Макарию, тоже проповеднику православия, умиравшему вдали. И он был добрым воином Царя царей, как Тот, Кому за него молились.

– «Господи, спаси!» – неслось в его голове. – «Сохрани!» И опять истово с твердою верою читал он слова акафиста:

– Радуйся благосострадательный врачу, исцеления благодатного подавай!

Горячо и торжественно неслись слова, а хор свежими молодыми голосами пел:

– Радуйся, Великомучениче и Целителю Пантелеимоне!

После отслуженного соборно, заказали молебен о болящем прихожане Улалы, потом ещё нашлись желающие помолиться отдельные лица, и долго в церкви звучали теплые молитвы и стройное пение, а короткий день уходил, дрогорая, как та жизнь, за которую так искренне молились в Улале простые любящие люди.

Архимандрит Владимир тревожно ходил в вечер этого дня по своему кабинету в Бийске; он только сейчас освободился от дел и послал за доктором для о. Макария; он знал, как слабы силы больного, и опасение не давало ему покоя. Нетерпеливо ждал он его и, не дождавшись, пошел к больному.

– Что ты? – спросил он тревожно келейника, достававшего белье из бедного чемодана.

Но отец Макарий ответил за него.

– Спотел я сильно, слава Богу, и жара не чувствую... Слава Господу Богу.

И действительно, горевшая так недавно сухим жаром кожа была влажной, когда о. архимандрит положил руку на лоб больного, а рубашку, совсем потную, он поспешил сам помочь переменить.

– Это в Улале Великомученику молятся! – сказал он радостно. – А вот и доктор... Говорите слава Богу, вспотел он.

Доктор сперва не хотел верить: утром он много возился с больным, желая достигнуть хотя бы небольшого увлажнения кожи, натирая тело мокрыми полотенцами, но результата не достиг никакого, а теперь удивленно и обрадовано заговорил, быстро осмотрев больного:

– Да, действительно! Но это удивительно! Температура спала, нормальная... Это просто чудо, владыка!

А владыка с мягкою радостною улыбкою сказал:

– Истинно чудо, а Чудотворец наш – в Улале. Ему сегодня должны молиться там отцы и братия, и их общая молитва лучше нашей дошла до Бога... Кажется, засыпает больной наш. Пойдемте, друже... это – чудо, да, Слава Богу...

А больной с истомленным лицом лежал, плотно стиснув веки, потому что горячие, жгучие слёзы теплой благодарной радости трепетали у него под ресницами, и ему не хотелось показать этих умиленных слез чужому человеку. Ему вспомнилось пережитое за эти дни, мысли о жизни не для себя, а для тех слабых язычников, которым он умел внушить любовь к Господу. Ему вспомнилось отчетливо, как в полубрёду он звал Великомученика за дни болезни, как пламенно звал, и сегодня утром в жару ему показалось, что он слышит обещание помощи... Да, это было в дни болезни. Он склонялся над его ложем: тонкий, прекрасный лик виделся его мысленным очам, хотя ему казалось теперь, что это видели его телесные очи... да, это была истина. Он приходил к нему из неведомого чудного мира хвалы и славы со словами утешения, с обещанием сохранить его жизнь для тех, кому она была нужна, необходима для сотен и тысяч жизней там, в любимых горах.

О. Макарий уж не мог сдержать слез, они катились по исхудальным щекам, светлые, чистые перлы человеческой благодарности Целителю Господа Бога.

С этого дня о. Макарий стал поправляться быстро, точно прибывали силы, и с новыми силами крепла его теплая вера к небесному Заступнику, приходившему к нему в тяжкие дни недуга и исцелившему его тогда, когда он почти безнадежный прижимал слабеющими руками к груди образ своего Целителя, присланный ему с далекого Афона.

Это было давно, но и теперь, и в наши дни, столько чудес свершается в мире по вере людей! Кроткий Целитель Господа Бога «ходит близ Его призывающих с верою и целит всякий недуг и болезнь и сущие в скорбях люди заступает». И надо звать Его всем, кто скорбит и томится страданием души и тела, звать и веровать, как верил о. Макарий, всей душой и всем сердцем, что Он придёт.

Христос Ёльгённён25

Весна чаровница прошла по Алтаю,
Цветы на долины и горы бросая;
До самых белков поднялась она –
Весна молодая, царица весна!..
Раскинулась гладь голубая озер,
Цветами покрылись гривы у гор;
А быстрые реки Алтайских долин
Журчат, вытекая из горных вершин.
Проснулись Алтая певцы и певицы,
Запели ручьи, зачирикали птицы,
И весть пролетела до самых высот,
Что день воскресения близок, идет!..

И тихою ночью из мглы, из тумана
Могучие звуки, как голос титана,
Нарушили тишину задремавших полей,
До леса поднявшись, до горных цепей,
До самого неба, до звёзд золотистых,
Сияющих ласково, нежных и чистых, –
То колокол будит затаишие долин
И вечный покой отдаленных вершин!
И слушают чутко гиганты лесные
И звук колокольный, и песни святые,
И резвые словно притихли ручьи...
А звуки земные росли и росли!...

Орлы на скале и медведи в берлоге,
Буны на уступе скалистой дороги,
Маралы на дальних полянах и лес –
«Христос», прошептали, «сегодня воскрес»,
И гор великанов огромных громады
Затихли в молитве... шумят водопады.
Все тише, со всеми молитву творя,
На небе полоскою блещет заря.

В глухи, в отдаленном, забытом аиле,
Алтайцы смиренно молитву творили,
Катунь разлилась – им путь преградила
И в церковь в пасхальную ночь не пустила!
Им звёзды светили на место свечей
И звоном церковным казался ручей,
А быстрой Катуни шумящие струи
«Христос Ёльгённёнг» им, казалось, шепнули.



Филаретъ митрополитъ Московскій и Коломенскій.
(1783 –1867 гг.).

Первый миссионер на Алтае в Сибири.

(Из рассказов старожила)

Быстро пишет перо... Тонкая рука кладет на бумагу слова, сухая старческая рука, а глаза отрываются не раз от фраз письма и засматриваются туда, где за окном вдали, как мираж в ясном разреженном воздухе, встают алтайские горы, в этот ясный сентябрьский день особенно резко выступая стройными массами на синем фоне безоблачного дня.

– Душа рвется туда, – прошептал пишущий, откладывая перо. – Тянется к этим алтарям Всевышнего, на дело...

Он встал и выпрямился. В подряснике и скуфье не большая худощавая фигура производила невыразимо приятное впечатление, эта седеющая голова с вьющимися волосами, это милое с тонкими чертами лицо, с мягко очерченным ртом и добрыми кроткими и ясными, как у ребенка, глазами, поверх очков засмотревшимися на алтайскую даль, которую любило его сердце.

– Весною совсем уеду туда! – вслух подумал он, и на стук, раздавшийся у двери, сказал:

– Войди!

Молодой келейник, спешно поклонившись, указал рукою в соседнюю комнату.

– Там о. Макарий, Иеремия Шишков приехал из Улалы, хочется ему сильно вас повидать... я знал, что вы пишете, да мешкать не стал.

– И хорошо сделал, голубчик! Веди его, веди скорей... только что я на Алтай любовался, думал о нем... гляди, как сегодня ясно видны горы...

Келейник мельком взглянул на окно и вышел, введя через минуту двух инородцев в бедно обставленную комнату. Один из них широкоплечий, уже пожилой, широко улыбнулся.

– Здрастуй, аркимандр, здрастуй... Вот, и в Бийска тебя нашла мой... поклон от Алтая, от Улалы поклон; а это – мой зять, он крешоный тоше.

Отец Макарий любовно благословил их. Оба алтайца походили один на другого: плоское лицо, небольшой лоб,

выдающийся скулы, волосы и брови, как смола, глаза, унырнувшие под лоб, и совсем без переносицы почти нос, без бороды и усов, по обычаю выдерганных; в своих халатах, обшитых красным кумачом широкой засаленной каймой, эти алтайские дети были очень оригинальны; из-за правого голенища широкого кожаного сапога у каждого торчал кожаный кисет с табаком и трубка, а сверх халата, подпоясанного ремнем, висели на ремешках привешенные к нему ножи в костяных ножнах и огнива, а в кожаной сумочке – кремень и трут. Чинно усевшись на полу, поджав под себя ноги, они тут только сняли пирогообразные суженные к заду шапки с окольышком из мерлушек и лентами сзади, подбитые красной матерей с разноцветным кружком на середине; волосы их были выстрижены, и косы срезаны, потому что они были окрещены.

– Все ли здоровы в Майме? – спрашивал их архимандрит, попросив келейника приготовить чаю. – Собираюсь туда, да боюсь спугнуть их: говорят мне, что опять стали в Улалу селиться из аилов.

– Да... да... вот и мы к тебе, архимандрит, о. Макарий: уж как тебя там надо! – заговорил Иеремия. – Шибко надо... есть там один парень Элеска, креститься хочет, страсть как хочет креститься... мы собирались в Бийск, а он тихо пришел из аила, его отец друг мне, сердитый только шибко, а Элеска просит, так шибко просит, со слезами:

– «Ой, пожальста, попроси абыза Макария приехать сюда, Я всё знаю... молитвы умею, молюсь шибко, а туда далеко, где он живет... мне нельзя, отец поймает, убьет».

– Говорю – злой он у него, богатый, страсть, сколько коней, всего много; он гневается на Элеску... Говорит, что убьет его... догонит и убьет, если он вздумает поехать сюда и креститься... Тебя туда не ждут, а теперь отец его запил... пьет он долго, а Элеска всё больше в Улале в это время бывает, а там не глядят за ним, наказано только, чтобы его сюда не пускали, за этим все глядят... Вот кабы тебе к вечеру приехать туда да и окрестить его, что он поделает пьяный? А потом уехать сюда.

Отец Макарий внимательно слушал.

– Он – у меня больше; отец всё злится... когда пьяный: «убью его», говорит, – сына то, и на тебя грозится; а на меня ничего, мы с ним дружны шибко... Так поедешь?

– Конечно поеду, милый. А Элеска этот молод? Откуда желание у него креститься явилось?

– Элеска хороший, ему семнадцать лет... Кроткий рос давно с малых лет, а как ты приезжал на Алтай, он тебя увидал, и сердце у него, сказывает, затрепетало. Давно, когда ребеночком он был, ему всё Аг-энэ виделась, ходит такая по Алтаю, вся белая добрая Аг-энэ, виделась и говорила ему:

– «Люблю тебя, дитя ты хорошее... Пройдет год, сюда приедет Макарий, ты его увидишь... Он тебя научит молиться тому Богу, Который сотворил Алтай, слушай его.

– А мальчик спросил её, какой он будет? Тогда она подвела его к Майме и показала на воду, а в воде абшияк такой же, как ты, и глядит на Элеску и усмехается ласково. Вот как увидал он тебя, так говорит, и загорелось сердце послушать его, а мы ему давай рассказывать, чему ты учишь, всё про Бога и про то, что креститься надо. Ну, а он всё томится... «скорее, скорее хочу креститься, отец, говорит, если убьет, тогда я уйду не в темноту, а буду жить у Бога»...

Так, когда будешь собираться?

– Да сегодня же, сейчас, милые друзья мои, как же оставить тоскующую душу?!

И торопливо стал собираться, пока алтайцы пили чай.

Глаза о. Макария загорелись радостью: ведь тот юноша так звавший его и желавший, был первою радостью его, первенцем христианства в зарождающейся миссии, и мог ли он медлить?

– Дожди пойдут, смотри, – предупредили его посланники, Бобырган²⁶ курится, вчера ещё закурился... Долгое ненастье будет, и, пожалуй, сядешь там, как сдурут реки... Хто его знает Сыгын-ай²⁷ и лето ровно совсем на улице, да недаром говорят, что он тропу пролагает, бывало так, что снега всё скрывают.

– Лишь бы душа горела, друг мой, а снега – это ничего, – улыбнулся старец. – А душа горит, ждет, томится... нет, и снег, и буря, и вода удержать меня не могут. И заторопил келейника со сборами.

II

Марево росло. Ближе, ближе... яснее выступали контуры гор, холодным ветром тянуло с севера, и белесоватые тонкие облака тянулись по небу, как паутиной кутая его синеву. Лесной дорожкой пятеро путников ехали, мало перекидываясь словами: крепкие алтайские лошадки шли дружно, и вот к вечеру у подошвы большой горы на грани Алтая первые снежинки из сгустившихся и низко опустившихся туч в нахолодавшем воздухе стали падать на одежду и лошадей путников.

– Сдурел Сыгын-ай... сдурел! – говорил Иеремия. – Ну, да это он шутит... ясно будет еще... много раз будет ясно... ты не думай, отец Макарий, это он дурит.

И по устам отца Макария побежала ласковая улыбка от этого наивного утешения.

В Майме²⁸ они ночевали, а ранним утром по берегу реки того же имени пустились в Улалу мимо Тугай²⁹, массивами спускавшейся с высоты к реке, иногда крутыми скалистыми уступами. Снега не было более, но день хмурился, и ветер продолжал дуть, сбивая пожелтевшие листья берез, только одна вечнозеленая хвоя краснолесья тешила взгляд; а все-таки путник архимандрит любовался на угремую красоту гор, поднимавшихся к небу, и думал, глядя на крутой выступ Пихтача-горы, вступившей в самую

р. Майму и заслонившей долину Улалы, о том времени, когда тут, за этим поворотом, блеснет крест первого миссионерского храма.

– Ты напрасно не пробыл в Майме до ночи, – заговорил Иеремия. – Сейчас полетят к отцу Элески родичи, сейчас скажут: «Абаз приехал, и твой сын у Иеремии»... Однако будет не ладно, набежит родня, схватят его, утащат, покуда ты отдыхать будешь.

– Почему ты думаешь, что я буду отдыхать? Нет, мы сразу окрестим его. Окрестим и отправим в Бийск, вот, с ними, – указал он на спутников. – И если отец и приедет, я поговорю с ним... Ты прав: нельзя медлить; думаю, что душа Элески достойна крещения, глубоко этому верю... Жаль, что мы ехали так долго... остановки в Бийске, где пришлось выехать не сразу, да по пути оттянули время... боюсь одного, если тот бедный

перестал пить, то мог Элеску взять к себе: ведь уже седьмое сентября.

– Кто знать... кто знать!.. – покачали инородцы головами, свертывая на грубый мосток через Каяс, быструю горную речку, впадающую в Майму.

За рощами густых, теперь оголенных черемух мелькали дымки юрт, а ветер крепчал и усиливался.

– Вон там моя юрта будет и избушка за Улалой... ты был у меня как то, отец Макарий... на том берегу... хорошо под горою, ох, хорошо... тихо... стадо только в болото забирается, один позучак недавно утонул, а у нашего улалинского целый торбок ухнул... приманчиво, зелень на болоте, а под ней – окошки... попадет кто в них, утянет трясина.

– Что ты, абыз, задумался? вон, собаки мои лают, а это сынок бежит, сынок и Элеска.

– Слава Богу! – слетело с уст отца Макария, и глаза его пристально взглянули на бежавшего к ним ребенка и юношу, высокого, худощавого с грустным лицом обычного алтайского типа, теперь охваченным радостью. Он подбежал к ним, взял лошадь отца Макария под уздцы и поднял засиявшие глаза на лицо старца, благодарным взглядом глядя на него.

– Спасибо, абыз... добрый, что приехал... я так ждал... пожальста крести меня, сегодня байга в аиле недалеко, вся родня туда поехала, и отец там... тебя не ждали... отец был тут утром, спросил про Иеремию и велел мне к вечеру ехать домой... ладно, что ты приехал, отец мой.

И, опустив узду, он поцеловал край рясы отца Макария.

– Поедем до дому: холодная вода сегодня, боюсь остынет он в ней... есть у тебя какая-нибудь кадь, Иеремия?

– Ой, никакой нету, – отрицательно покачал тот головою.

– Нет, я воды не боюсь, – помогая слезать с лошади о. архимандриту, сказал Элеска. – Я не испугаюсь воды.

– Ну, хорошо, милый, иди за мною, я немного поговорю с тобою, а вы прежде отдыха приготовьте всё для крещения, – обратился он к спутникам. – Вечером вы увезёте его в Бийск, а я останусь ночевать тут.

И, отпустив их, усадил Элеску на деревянную чурку в убогой юрте Иеремии.

– Скажи мне, милый, кто та Аг-энэ, которая говорила тебе обо мне? какая она собою?

– Аг-энэ?! – сложил с благоговением руки Элеска, – О, Она часто ходит по Алтаю... такая белая, тонкая, и лицо!.. Свет идет от него... я люблю её, Она говорила со мною...

Раздумчиво, опустив голову, отец Макарий внимательно слушал.

– «Конечно, Аг-энэ была Пресвятая Дева, Она ходит по Алтаю среди простых сердцем людей, в большинстве кротких и добрых, как дети, и защищает их от зла».

И он стал кратко, но ясно объяснять Элескъ то, что он думал об Аг-энэ, назвав это видение Благою Матерью Бога.

Как убедительно он говорил! Сердце юноши трепетало и горело в порыве горячей любви к Небесной Матери, захотевшей привести к спасению душу его, Элески, одной песчинки создания Божия, и он ясно и твердо прочел, после наставления, молитвы.

Спустившись к Улале, в крохотной заводи окрестили Элеску под пение двух спутников архимандрита, потом он напоил новокрещённого чаем, и с сиявшим счастьем лицом Элеска, теперь Иоанн, первенец Божией благодати, доехал со спутниками архимандрита, сопутствуемый ласковыми словами отца Макария, полюбившего кроткого юношу, которого приобрел для Бога.

Проводив их, старец вынул свои книги и тетради, позвал местного толмача и принял за обычное дело – перевод священных книг и службы на алтайский язык; а по Улалъ неслась молва:

– Абыз приехал! Макарий абыз крестил Элеску!!

Две–три женщины, видевшие это крещение, облетели остальных, и одна из знакомых Элескина отца, оседлав коня, поспешила в тот аил, где справляли байгу, чтобы сообщить о случившемся событии.

Наступила уже ночь. Ветер разогнал тучи, и они ушли, улетели, очистив небо, осыпанное мириадами звёзд крупных и

ярких на темном глубоком небе. Тишина стояла нерушимая, но какой-то далекий шум внезапно нарушил ее.

Архимандрит прислушался. То был гул голосов и топот лошадей; принесенные горами они разбудили собак, и те громко залаяли по всему маленькому селению. Архимандрит подошёл к двери и отворил её – мягкими линиями поднималась к небу Тугая, почти безлесная, сторожившая Улалу при её устье, и Сюрьмейка, вся поросшая лесом; хребет Пихтача крутыми уступами упирался в Майму и уходил вглубь гор, к Чаптыгану и черни; милые, спокойные горные громады величаво дремали, и люди нарушили их покой.

– «Это возвращаются с байги!» – подумал отец Макарий. – Наверно улалинцы повестили Элеску... ближе... Господь мой и Бог, помоги мне вразумить этих неразумных детей... Слава Богу, что тот теперь далеко.

И перекрестился радостно, без тени волнения, спокойно вслушиваясь во всё приближающийся гам неистовствующей и возбужденной вином толпы. К нему, стоявшему на крыльце, подбежал Иеремия, проснувшийся от шума, он был весь бледен и дрожал, как лист.

– О, абыз, они разнесут у меня все! Пьяные... ведь, знаешь, в вине это – волки! Что я стану делать с ними? Та проклятая Шадунова молодуха, видела, как крестили Элеску; жена говорила мне, что она куда-то уехала... Зачем ты не уехал, отец? Они бы тогда подумали, что ты увёз его с собою, и не тронули меня, а теперь станут его искать и сделают тебе зло.

– Они и сейчас тебя не тронут, – сказал архимандрит спокойно. – Я нарочно остался, чтобы тебя защитить... Зла их я не боюсь... ступай в юрту, спи... вот, они близко.

Иеремия не пошел в юрту, он испуганно спрятался за хворостом, наваленным близ избы, а отец Макарий глядел на всадников, беспорядочно скакавших по улице, махавших и выкрикивавших бранные слова... Улица проснулась от гама... Свет заблестел в редких избах, и сильнее пошел дым из отверстий юрт от подброшенного на очаги хвороста... Вот, совсем близко у избы всадники... вот они у крылечка...

– Эй, Еремка! – закричал толстый инородец, едва владея языком. – Элеска где? давай Элеску, абыза проклятого давай!

– Тут я! – сказал отец Макарий, приводя на память алтайские слова.

И его спокойный ясный голос точно обухом ударил подлетевших на конях инородцев. Испуганный толмач, преданный и добрый человек, протеснился среди всадников, и отец Макарий ласково кивнул ему головою.

– Скажи неразумным, для чего я нужен им? Вот, я весь тут перед ними... пусть говорят.

И опомнившаяся толпа после слов толмача загудела, как пчелиный рой, требуя Элеску, упрёкая за крещение, требуя Иеремию, устроившего его, и осыпая архимандрита бранью.

– Скажи, что Элески нет у нас, всякий заботится о своих: Элеска наш, и мы увезли его и охраним... Вы же не жалеете своих, и все от вас уйдут к Богу, Который велел всех любить.

– Элеска больше не сын тебе, – обратился он к толстому, сильнее всех грозившему человеку. – У него отец – Спаситель и Господь, Которого полюбило его сердце... если дитя тебе дорого, ты можешь вернуть его к себе, если тоже придёшь к Богу.

– Ах, ты! – затрясся от злости пьяный алтаец, – да я тебя, старый...

И он замахнулся плетью на архимандрита, тот не от качнулся даже, но спутник, видимо менее пьяный, схватил алтайца за руку.

– Одурел, – выскочил из-за хвороста Иеремия. – Гость мой, не смей... Дуй меня, пьяница, дуй, а его не трогай...

– Нельзя трогать. Забыл, что он старый, – загудели из толпы собравшихся улалинцев и среди приехавших. – Ай, ай, совсем одурел.

– Зачем Элеску? Зачем сына? Твой Бог худой... Зачем сманил... ой, какой худой твой...

– Остановись! – вскричал отец Макарий, хватая его за руку.

– Не смей! Господа моего, Искупителя ты не тронешь, безумный! Твой язык отсохнет, если ты произнесешь хулу. Прочь! Уйди, чтобы глаза мои не видели тебя. Я хотел тронуть твоё сердце, но

оно похоже на камень, оно утонуло в вине. Уйди! Я рад, что спас от такого отца кроткого юношу...

– Што он говорит? – дрогнул инородец, пораженный страстной и гневной речью, и, когда толмач перевёл ему все слова, он с ненавистью посмотрел на монаха.

– Убить тебя надо, – кинул он ему, – убить, растрясти! Эти дураки испужались, погоди, я то не испугаюсь. Я то...

И, разразившись потоком брани, он, внезапно повернув коня, крикнул спутникам:

– Дери его шайтан. За мною! – и ринулся в темноту.

– Ай... ай... ай...

Дикие крики привлекли отца Макария; он видел, что всадники спешились, и спешно сошел с крыльца, хотя Иеремия схватил его за руку.

– Не ходи, отец Макарий, не ходи. Опять сдурят. Там кто-то упал... Бог с ним – не ходи.

Но старец его не послушал. Быстро пройдя мимо оставленных всадниками лошадей, он остановился у пня старой березы и, раздвинув инородцев, склонился над упавшим. Алтайцы расступились перед ним, за минуту гневные, пьяные, они теперь испуганно глядели на потерявшего чувство отца Элески, в темноте налетевшего на пень, выпавшего из седла и теперь обеспамятевшего, и на старца, которого только что ругали уста сраженного человека.

– Несите его, кидал он короткие алтайские фразы, туда ко мне, в дом Иеремии, я его осмотрю, без памяти он... Ах, бедный, бедный...

И это сожаление, это участие, звучавшее в звуках голоса старца, поразило их также, как его простые слова, сказанные за несколько минут на крыльце Иеремии. Тихо и осторожно положили на убогое ложе, принесли холодной воды. Старец осмотрел бесчувственного, положил компрессы на лоб, дал нюхать спирту и заботливо стал осматривать и растирать его бесчувственное тело; светлый луч радости прошёл по его лицу.

– Ничего, – сказал он. Жив будет. Разойдитесь спокойно... Господь поможет ему.

И положил руку на лоб, приходившего в себя врага.

Тот открыл глаза и поглядел на него, минуту соображая.

– Ты убился с коня. Он поднял, помог, ходил за тобой! – воскликнул Иеремия взволнованно.

И родичи, толпившиеся у дверей, подтвердили.

– Да... да... он, всё он.

Угрюмое запухшее лицо понурилось, и, не глядя на архимандрита, убившийся хотел встать, но тяжело опустился на ложе: сил не было.

– Оставьте, – сказал отец Макарий. – Ложитесь спать... поздно... я похожу за ним; к утру он проспится и встанет... ступайте с Богом и не думайте, что я причиню ему зло.

И все пошли тихо, как виновные, глубоко веря, что кроме добра этот кроткий человек не может ничего сделать, и только Иеремия и толмач ещё несколько минут не решались уйти, пока он не повторил им ещё раз ласково, что они должны уснуть.

Потом он подошёл к своему гостю; тот лежал ослабевший от вина и ушиба и не спал, хотя закрыл глаза; архимандрит ещё раз помогил его лоб и, отойдя, стал на колени перед окном, за которым сияли звёзды. Он загасил огонь после ухода всех, и только эти звёзды светили ему, а уста шептали молитву, пламенную и чистую за эти задумчивые горы, за их детей, за всех страждущих и радостных. Шептали молитву кроткие уста долго–долго, и больной, слушая их, думал напряжённо, не засыпая, своим умом по мере того, как уходило опьянение, и тихий покой охватывал его члены.

– Абыз?

Какой-то робкий голос. Забывшийся в молитве старец невольно дрогнул и повернул голову от окна.

– Ляг, абыз, отдохни... ты добрый, я не злюсь за Элеску... я злой и худой, а ты лучше... я расскажу своим про тебя... прости, что ругал... сына не жалко, так, зря я... простишь?

– Спи с Богом... отдыхай... спи.

– А, всё-таки, ты не ладно сделал... Элеску не показывай, опять пить буду... опять побью... не показывай мне Элеску, я буду камлать... буду с камами дружить... он как хочет... не говори ничего, не послушаю... только ты добрый... завтра всем скажу... всем...

И затих, засыпая, а отец Макарий, подойдя к его ложу, грустно и кротко глядел на него... мог ли он надеяться, что пожнет и этот колос потом?

– "Да... да!"

И с прежней верою, сложив руки, он обратил глаза в темноту улицы, где новые тучи начали затемнять звёзды, и только тут почувствовал, что его тело сегодня устало и измучилось, и что ему нужен покой. Помочив ещё раз компресс, он положил его осторожно на лоб заснувшего и, тихо придвинув чурку к его ложу, сел на нее и заснул, положив голову на край покрытой войлоком постели своего врага, спокойно, как доверчивый и чистый ребенок.

А за окном начинал брезжить рассвет нового дня, несшего ему новые труды, для которых пришел он, этот первый Апостол Алтая, имея в своем сердце горячую и великую любовь.

Отец Макарий

12 лет мне было тогда, когда я его увидал Незабвеннего... Меня звали Киприан, и был я шустрый и веселый мальчик. Помню, как сейчас, мою дружбу с Иаковом, товарищем моим. Он жил в Улале с отцом своим – русским, и я любил его и с ним научился русскому языку, с ним же я научился произносить имя христианского Бога и любить Алтай и нашу крошечную Улалу, в которой было всего четыре двора.

Божий мир казался мне прекрасным. Я пас коров отца, и, забравшись на камни Тугай, на которых рос бадан, обращал лицо к востоку и произносил имя Иисуса Христа, прося Его взять меня к Себе... я стыдился, когда наши камлали, и слова Иакова Конинина о его Боге глубоко врезались в моё детское сердце.

Помню ясный день, когда я, по обычаю, пошел к товарищу Иакову и сидел с ним на крыльце его избы. Мы оба увидали двух людей в черных одеждах со странными черными же шапками с накрышками на головах. Я хотел бежать от них, увидав их, но один из них остановил меня; у него было такое доброе лицо, и глаза светились ласкою... он дал мне пирожок и, погладив по голове, спросил мягким голосом, покорившим моё сердце, как меня зовут. На мой ответ – он сказал:

– «Посиди смирно, я расскажу тебе одну повесть, а ты слушай. Это – хорошая, правдивая повесть».

И я стал слушать жадно, а он, положив мне руку на плечо и сев сам, начал рассказывать так хорошо и понятно о большом каме Киприане. Про то, как он уходил в горы и изучал там бесовское чернокнижие, научившись которому, он делал, что хотел; но только не мог он бесовскими чарами прельстить душу крещеной девицы Иустине и страшно дивился тому и спрашивал бесов своих главных:

– «Отчего это? как не можете вы одолеть этой девицы?» И слуги его, бесы, сказали:

– «Мы боимся Бога её, и даже к дому её подойти не смеем, не только к ней».

Услыхав это, он сам пошел к Иустине и спросил:

– «В какого ты Бога веруешь?»

А та рассказала ему об Иисусе Христе, и после того крестился кам Киприан и стал великим священником, Божией силою свершая многие чудеса, а теперь он на небе в вечном Божьем свете.

Помню, мне захотелось проникнуть за синюю глубь небесного свода, и увидать там кама Киприана в свете Божьем, но там ничего не было, кроме беловатых облаков, слегка розовевших от лучей солнца, близившегося к закату. Золотистые пчелки носились над цветами за оградой Конининых: трепеща разноцветными крыльями, поднимался красивые бабочки, и милое лицо глядело на меня задумчивыми глазами.

— «Как тебя зовут, и что ты за человек?» — спросил я невольно.

А он сказал, улыбаясь мягко и ласково:

— «Зовут меня Макарий. Я — священник. Крестись ты, милый, и будешь чадо Божие... некрещеные света Божьего никогда не увидят, и будут с диаволом, и пойдут в огонь и тьму, чтобы не выйти из нее никогда».

И долго он говорил мне и Иакову, что будет с верующими и неверующими, пока не потухло солнце и не додорела заря, а мне хотелось плакать от его слов, и сердце моё трепетало, и не хотелось уходить с крыльца от этого человека, согревшего мою тогда детски мягкую душу.

Он часто говорил со мною и моими и потом, но отец мой был упорен и не хотел бросать старой веры, а мать умерла от горячки, моя бедная мать, так и не узнавшая новой веры... Я её любил горячо и долго не мог забыть, так трепетало и тосковало по ней моё сердце! Я тосковал о том, что она обречена на вечную тьму и не увидит Божьего света, и там же на камнях Тугай я молил Бога отца Макария помочь ей в том мире, где она была теперь. А отец Макарий в это время стал крестить; помню, как я хотел креститься, но не смел сказать отцу, видя его неодобрение и насмешки над крестившимися. Он преследовал меня за то, что я урывками любил слушать о. Макария, его рассказы о Боге, как они доходили до души, и я, отрок-язычник, тихо плакал, слушая их, забравшись в кусты где-нибудь поближе к окнам его избы, к которой собирались люди. Его слабый голос

креп, тогда и речь точно влагалась в ум; каждое слово обжигало и трепетало, доходя до сердца. Не раз отец бил меня, выследив; и об этом как-то узнал отец Макарий; он жалел меня, как говорил мне Конинин, но не сказал ни слова о неповиновении отцу. Помню в то время старого Бориса Кочоева, он тоже не хотел креститься. Это был суровый старик, важный и здоровый собою, у него было много лошадей и скота, и говорили о том, что он имел деньги. Как он ненавидел отца Макария! Должно быть кара-неме постоянно были вокруг него, а отцу Макарию хотелось спасти его душу. Каждую неделю ходил он к нему, и я не раз слыхал те кроткие святые убеждения, с которыми он приходил к Кочоеву. Дом Бориса стоял над Маймою, там, где густо разрослись каш и тереки. Майма клокотала и грохотала о камни, и дикий берег Пихтача, поднимавшегося высоким кряжем, круто убегал в вышину.

– «Твоя душа, как эти камни!» – говорил о. Макарий. – Но Христос так добр, Борис: Он посыпает меня к тебе, Он хочет спасти твою бедную душу; смотри, как точит, камни вода, вон один стал гладким и чистым и не торчит так злобно и угрюмо, как другие. Мои слова – та же вода, они дойдут до твоей души, я верю тому, потому что Господь мой желает её отнять у курюмеся.

Но чем больше и убедительнее были его уговоры, тем неприступнее и злее становился Кочоев. Однажды, в осенний день, когда Сыгын-ай подходил уже к концу, я, ворочаясь из Пихтача, увидал о. Макария, идущего к дому Бориса. Было тихо. Люди, пользуясь ясными днями, ушли по делам; даже малышей не было поблизости, и меня потянуло послушать речь о. Макария. Прячась за деревьями, я подошёл совсем близко к крыльцу, на котором, насупившись, сидел Борис, угрюмый и злой.

– «Зачем идёшь опять? – забыв долг гостеприимства, сказал он с ненавистью. – Мне противно глядеть на тебя, и речи твои мне постыли!»

– «А я тебя люблю» – сказал с кротостью о. Макарий и сел, по обычая, на крылечко со своими кроткими словами о праведном Боге.

— «Я тебе желаю добра, чтобы на голову твою сизошла благодать Господня. Много раз говорил я тебе о Господе, но ты не желаешь Божией благодати. Чтобы в конец не ожесточить твоё сердце, я скажу тебе одно: теперь не я, а ты будешь виноват. Мне Бог повелел говорить о Его правде, о Его благости, и обо всем я говорил тебе. Ты говоришь: «слух мой не принимает таких слов»; теперь, вместо счастья, от Бога придёт к тебе несчастье; вместо милости — падет на голову твою гнев Божий, но это не от меня!»

И он положил руку на голову, отворачивавшегося от него злого человека, и ушёл. Знаю, что он долго кашлял, но мне не удалось повидать его, потому что он уехал в Бийск, а вскоре после его отъезда у Бориса пропали деньги. Пьяный он их засунул куда-то и забыл. Через два месяца у него пало 110 голов скота. Помню, что из всех его лошадей остался один чалый жеребенок. В тот год растаяло всё его богатство, и он обеднел, потому что Господь, полюбивший его, его оставил.

Много о нем говорили у нас и в Бачате, куда уехал он и где потерял своё последнее имущество. Весною уехали туда и мы, но его уже там не было: он ушёл снова на родину и, как говорили, поселился в Монгойте. Недолго прожили мы в Бачате. Я, уже тогда женатый (женили меня 16-ти лет) стал страшно тосковать и захворал от тоски по Улале и по отцу Макарию. Я сох и вял, как трава, и умолял отца пустить меня креститься. И смягчилось его сердце тогда, он и сам заплакал надо мною и, несмотря на злобу тещи, через неделю мы ехали назад в Улалу.

Этю осенью я крестился, и меня назвали Михаилом; крестился отец и сестры, и жена моя, и брат Адриан. На левом берегу Улалы был домик Ащаурова. О. Макарий купил его и стал там жить, а я с правого берега; пропотпал узкую тропинку между кустов, ходя туда, чтобы послушать его речей, и завидуя искренно младшему брату, которого он учил читать. Потом я научился с его помощью многому, но в это время я не умел ни читать, ни записать того, что однако осталось в моей памяти ясно на всю жизнь, хотя и незаписанное. Прошла зима, наступила весна с её любованием, обильно зацвел марал, который, как алым сукном, покрыл камни, и в один из ясных

дней, идя своей тропой до любимого дома, я увидел высокую, сгорбленную фигуру седого старика, сидевшего в кустах и прятавшего лицо в коленях. Я узнал его сразу: это был Кочоев – старый Борис, в плохом платье и обуви, поднявший при моем приближении бледное испитое лицо.

Я спешно обошел его с желанием предупредить о. Макария, но он уже отворил двери и сошел с крыльца, торопясь и не глядя на меня, подбежавшего к нему.

– «Борис!» – позвал он громко сидевшего. – «Иди, иди. Звал, ждал тебя, голубчик!»

Старик встрепенулся; его лицо просветлело на минуту, он поднялся, но потом отвернулся и опять сел на землю, точно боясь двинуться к тому, кто его звал.

– «Не подходи!» – сказал он голосом скорбным и разбитым. – «Ты – большой кам, хотя и не ворожишь на руке, но лучше всё знаешь, чем кол-куреэчи. Божий гнев пал на меня: у меня ничего нет – ни скота, ни денег, и я хвораю, ах, как хвораю: у меня яман-паалу. Чем не лечился: киноварью, парами, мазью из яри мазался, бобковым маслом и сулемой, и синим купоросом лечился – не помогает ничего, тошно... Макарий, не попросишь ли своего Бога, чтобы помог: ты всё говорил, что Он добрый; а меня прости: тогда я был злой».

– «Пойдем, пойдем ко мне!» – взял его за руку о. Макарий. – «Иди, голубчик, овца моя обретенная... пойдем!»

– «У меня яман-паалу!» – повторил Борис, отступая. Но он только улыбнулся.

– «Ну что же! Вылечим тебя. Яман-паалу от жизни нечистой, от грязи в юртах. И праведники, милый, хворали болезнями хуже твоей. Я тебе об Иове многострадальном расскажу когда-нибудь, а теперь иди: отдохни – ляг. Ты когда пришел сегодня? Вот видишь! Идем, я тебя напою чаем. И трубки нету у тебя даже! Бедный Борис! Пойдем, гость мой милый, успокоим тебя, полечим, чадо ты моё возлюбленное. Я сегодня точно отец евангельский, к которому сын вернулся!»

И лечил, утешал и ласкал, не гнушался его болезнью, пока он не поправился настолько, что над ним можно было совершить св. таинство крещения. Какой был прекрасный день, когда его

крестили и назвали Василием. Черемуха цвела, и птицы пели над Улалой рекой, в воды которой погружался новокрещённый. Лицо архимандрита сияло, и было оно как лицо праведника, а кругом стоял народ и дивился на это крещение человека, некогда так поносившего нашу веру; дивился и на архимандрита, который любовью своей привлек эту заблудшую душу, а у меня по лицу лились слёзы, хотя сердце моё хотело» смеяться и билось шибко и радостно в этот прекрасный весенний день.

О. архимандрита нет давно; умер и новокрещённый Василий, дожив до 137 лет, но память о нашем апостоле не умрет и других подвигнет к подвигам в миссии, к трудному делу, где нужна любовь, самоотверженность и безгранична вера, какие были у незабвенного архимандрита Макария.

Спаситель

(Из воспоминаний протоиерея Стефана Ландышева)

В воздухе холодело. Тени больших гор легли на долину; солнце, склоняясь к западу, ушло в темневшую там тучу, обещавшую ночную грозу; легкий ветер тянулся оттуда, от этой еще далекой тучи, озаряемой порой бледными зигзагами молний; духоты не чувствовалось в воздухе, обычной духоты, предшествующей грозе. Вечер наступал, как всегда, сырой и холодный, благодаря болотам, опоясавшим большое селение.

На террасе со стеклянными окнами, к которым приникали ветки деревьев старого сада, было почти темно, хотя сумерки еще не совсем окутали землю; но все же можно было различить большое старое кресло с подставленными к нему табуретами и на нема, на подушках, седую голову маленького худого стариичка с истомленным лицом и большими ясными серо-голубыми глазами, как-то юношески молодыми и бесконечно добрыми; на этом изможденном старческом лице они одни жили – эти прекрасные глаза, в них светилась тихая печаль, загоралось яркое пламя; они говорили ясно без слов о том, что переживало исстрадавшееся большое сердце разбитого параличом миссионера, известного всему Алтаю многострадального о. Стефана Ландышева.

Вся жизнь его была целым рядом испытаний, труда, борьбы и тоски. Теперь все приходило к концу – и скорби и самая жизнь. Это тело, перенесшее непосильное бремя трудов, почти умерло, разбитое параличом, и только слабый остаток жизни таился в нем в исхудалой груди и в седой голове. Сердце одно да глаза были по-прежнему молоды, ум ясно работал, переживая былое. Молодость вспоминалась ему сегодня далекая, давно прошедшая, – Москва, святитель Филарет, виделась его любимая подруга жизни, верная спутница и помощница, вместе с ним безропотно несшая крест, павший им на долю. Добрый кроткий святитель… Его речи слышались ему вновь, эти сердечные горячие речи, поднявшие в нем желание подвига. Вот и еще лицо выплыло перед ним, вечно памятное лицо

начальника и друга-старца труженика архимандрита Макария; жизнь в Алтае вспомнилась прежняя... И в каком Алтае! Непроходимо диком и недоступном! Их общая жизнь, часто пешком по горным тропинкам с проповедью в зной, в мороз, в ливень... сколько раз бывали они у гибели, но Господь везде не давал погибнуть, спасал.

Старик тихо вздохнул и глаза поднял на угол, где была икона... Да, всё это было – непомерные труды измучили тело, а душу, эту любящую, хорошую, чуткую душу пуще этих трудов измучила клевета людская.

Серые глаза печально закрылись, точно не желая видеть встававшие перед мысленным взором лица, поднявшие ее; ему не хотелось вспоминать эту клевету, он даже головой слегка покачал на подушке... да не одному ему, а всем, всей миссии – и о. Владимиру, архимандриту, и молодому о. Макарию, в котором он видел преемника первому, принёс зло своей клеветой тот недостойный человек!

– Всё прошло... Господи, прости всем и мне прости! – прошептали губы. – Дети бы счастливы были, им бы всё и за меня и за мать бедную; а мне что? Я покоя хочу там, подле церкви, в могиле телу усталому; здесь, под небом этим, где я жил и работал, сколько сил хватало, сколько хватало сил!.. Вон, они горы любимые, знакомые!.. – думал он. – На одной из них, где раскинуто кладбище, она покоится бедная... Ему тяжело было думать иногда, что его не положат с ней, но он верит, что они об руку станут там, в иной жизни; что она там встретит его... все они встретят – и старец архимандрит, и кроткий митрополит, и Коля, сын его милый, умерший безвременно, все, кого он любил здесь, и кто его любил.

II

– Батюшка! склонился над ним его старший сын, незаметно вошедший на террасу. – Темно стало и сыро, да и гроза близится: не перенести ли вас в комнаты?

– Нет, друг мой... ничего, я полежу тут; окна прикрыты: я хочу посмотреть эту грозу, – нынче летом я её ещё не видал: в комнате все... хочешь – посиди со мной; мать твоя любила грозы

наши горные; бесстрашная она была, смелая и хорошая женщина... дай Бог таких подруг вам всем!..

Они оба замолкли и смотрели в окна террасы, из-за которых на них, сквозь ветви деревьев, тоже смотрело совсем потемневшее небо, на котором зажигались звёзды спокойные и прекрасные.

А туча, надвигаясь, заполняла это вечернее небо; вдали глох рокотал гром; на террасу принесли свечи, но старик услал их обратно: ему не хотелось света... он любил эту мглу и звёзды, и положив маленькую руку, ту, в которой ощущалась ещё жизнь, на руку сына, он тихо улыбнулся чему-то старому, любимому, полузабытому.

– Тебе не скучно со мной... никуда не торопишься? – спросил он сына.

– Нет, я пришел нарочно посидеть с вами; я совсем свободен! – ласково ответил тот, наклоняясь и целуя слабую руку.

– Спасибо, милый...

Отблеск далекой молнии блестящей полосою отразился на облаках, предвестниках тучи; старик увидал его.

– Знаешь, эта ночь мне молодость напомнила... случай один забытый... давно это было... я ещё холостой был... мы с отцом Макарием с проповедью ездили; уехали далеко – он, я, толмач, да мальчик келейник, и ни души более с нами. Аил один нас привлекал, желающие креститься там были, как сказали нам, а глуши страшная в горах, у реки горной быстрой. Дня два мы чернью пробирались, а потом тропою свернули; и проводника не было, – никто не ехал, время было такое у них: в ближних аилах празднество, – камланье; никому до нас дела не было... вот мы на свой страх и двинулись, расспрашивали, разузнавали дорогу... и, правда, оказалось потом, что там нас ждали и желали.

– Ночь вот такая же была: тучи заходили огромные, лошади наши устали, измучились; ехали мы все по берегу реки, а она была быстрая, бурная; да, ведь, и сам ты её знаешь... вот и ветер налетать стал порывами сильными, молния небо освещала яркая, и гром грохотать начал; а грозы там, в глуши

заповедной, ужасные! кажется, все камни горные гудят в трепете от ударов небесных... гудят, стонут, молятся точно... в страхе безумном... Тихо мы подвигались. О. Макарий рясу старенькую теплую натянул, подпоясался опояской, и мы оделись тоже... Лошади осторожно ступали, жались друг к другу, ушами поводили.

— И жутко мне стало, привычному ко всему этому, в ту ночь и тоскливо. А буря близилась ужасная с ураганом, который кедры огромные, как тростники, ломал; молния полнеба заревом озаряла и такими гигантскими размахами по небу разбрасываясь сверкала, что лошади наши на колена падали ослепленные.

— А глуши страшная в глаза нам глядела тайгой непроходимою; тропинка исчезла; чаща, колоды, да река вспененная быстрая... кругом — скалы угрюмые... и вот за страшной молнией удар громовой близко над нами ужасающим гулом землю, казалось, потряс, а вслед за ним брызнул ливень, такой сильный, что мы смокли через какие-нибудь две-три минуты.

— Деревья ломались и падали кругом, ураган рвал наши одежды, дождь лился потоками, а гроза гремела ужаснее и ужаснее... и среди этого хаоса звуков, рокота грома и разбушевавшейся реки около нас — совсем близко — раздался рев, ужасом наполнивший и не одно моё слабое сердце, вспомнившее далекую Россию, близких и родных.

— При свете молнии я увидел мертвенно бледные лица моих спутников и озабоченное лицо о. Макария, печально смотревшего на нас.

— Лошади наши стояли теперь на месте; он ещё заранее велел нам снять с них выюки и сложить их под выдавшуюся навесом скалу, и теперь мы сидели на свободных от них, облегченных, но все, же страшно усталых лошадях...

— «Медведи!» — крикнул он своим слабым голосом, близко склоняясь к нам, чтобы быть услышанным. — Надо во что бы то ни стало перебраться на ту сторону, там скалы выступами большими нависли: нас от бури защитят и от медведей уйдем, пока они нас не увидали.

— Я сознавал, что он прав: но, посмотрев на вспененную бурную реку, бешено несущую свои быстрые волны, остановился в нерешимости: она страшила и ужасала меня.

— А молнии, всё продолжавшие сверкать ослепительными змеями, освещали речную пучину; на лицах моих спутников было тоже выражение страха и нерешимости, и только этот маленький сильный духом человек дернул поводья своей дрожащей лошади, и та покорно скользнула с берега в воду...

— Я помню эту минуту и теперь, ясно помню... он слабый и не молодой показал пример нам, молодым и сильным; его лицо, освещенное молниями, было кротко и покойно; видя, что мы не следуем за ним, он повернул лошадь, вернулся, взял поводья лошадей толмача и мальчика и опять вместе с ними был уже в волнах.

— Мне он крикнул одно слово изо всех сил, стараясь перекричать бурю; «Иди!..» И взглянул укоризненно, а я всё медлил, позорно медлил, точно парализованный; близко около меня упала лесина, чуть не придавив меня, молния ударила у самых ног отпрянувшей лошади; рев медведей слышался совсем близко, а я всё не двигался... и только крик, отчаянный, нечеловеческий крик, покрывший весь хаос звуков, заставил меня мгновенно очнуться и хлестнуть лошадь. Я нырнул в холодные волны...

— Кричал мальчик-келейник: «тону! тону!»

— Голос его показывал мне путь; спасительная молния помогала, освещая его; я чувствовал, что меня сносит ниже и ниже, но я не думал об этом, я радовался, что голос раздавался всё ближе. Соскользнув с лошади, я поплыл около нее, держась за гриву, чем облегчил животное, дрожавшее всем телом, и поспел вовремя.

— Схватившись за острый выступ скалы посреди реки, мальчик едва держался ослабевшими руками; лошадь его унесло, а остальные боролись гораздо ниже ещё на лошадях... сквозь сетку дождя я видел их как в тумане...

— Слабый я... и всегда не особенно силен был, а тут в меня точно силы влились огромные: схватил я мальчика свободною рукою и к берегу поплыл. С трудом, помню, добрался, оставил

его на берегу – место такое, вроде расщелины, от ветра защищенное попало, – оставил и снова в воду кинулся уже один: лошадь не пошла, выскочила на берег – и ни с места; бросил я её и поплыл... вижу – бьются наши... сносит их... а молнии так по воде и скользят, гром апогея достиг: всё гудело кругом, и горы, и река, и небо... Вижу – ослабел о. Макарий, а толмач на руке его виснет; бьются, за камни хватаются, а лошадей уже нет под Ними...

– Спешу я, сердце стучит, кровью обливается... шепчу про себя: «Господи, Господи!»... а сам на них гляжу... И как достигнуть их Бог помог только! Руку о. Макарию... зову его... он понял, хотя голоса не слышно, кивает мне на толмача, его велит брать...

– Вижу – решил он так, спорить не стал: – схватил того и опять к берегу... достиг... близко уже... толкаю его на берег, а он смотрит бессмысленно, за меня цепляется, едва я мог справиться с ним. У самого в глазах круги сине, красные, зелёные – ходят... темнеет всё передо мной, в ушах гул какой-то, и буря, и грохот – всё ушло точно, и что-то иное стучит... в голове раздается... а сердце щемит одна мысль: «о. Макарий»...

– И опять я в волны кинулся. Помню, плыл, боролся с ними, сознание теряя, и вдруг стукнулся обо что-то, и всё исчезло из глаз моих – и река, и берег, и молнии: я потерял сознание...

– Очнулся я на берегу. Кругом было тихо, не грохотал гром, не сверкала молния, ветер не ломал деревьев, только ручьи шумели, да река плескалась о камни... а надо мной с высокого неба сияли звёзды... обрывки туч бежали по этому спокойному небу... точно и не было ужаса пережитого нами, не было ужасающей грозы...

– Голову мне ломило, и всё тело ныло и болело, и вдруг я ясно вспомнил свою борьбу с волнами и о. Макария... Тоска мне сердце сдавила... я стал подниматься через силу с травы, на которой лежал; и при свете звёзд и зари, загоравшейся на востоке, увидал его лицо, заботливо склонившееся надо мною с доброй и тихой улыбкой...

– «Измучился бедный... лежи... лежи! слава Богу – в сознанье пришел: уж, ведь, часа три ты без чувств... боялся я за

тебя страшно».

– А я схватил его руки, заплакал радостно благодарными слезами: живы! – шептал я, – Слава, слава Богу!..

– «Жив, милый, по милости Божией! усни теперь... я, вот, проветрил рясу свою, она теплая... дай – с тебя сниму одежду мокрую, да посушу»...

– И он приподнял меня, снял мокрую одежду, закутал меня своей рясой, и я уснул моментально, немного согретый сухой одеждой.

– Проснулся я уже утром; солнце смотрело мне в глаза; было тепло и светло; в лесу неумолчно пели птицы, трава зеленела яркая, светлая; около меня был разведен костёр... слегка тянуло дымом в мою сторону... С трудом повернувшись, я увидал около костра наши выюки, оставленные вчера на том берегу реки, и около них толмача, мальчика и о. Макария, хлопотавшего около котелка с чаем; тут же стояла и лошадь, – только одна, – пощипывая траву... в ней я узнал мою, выбравшуюся вчера на берег.

– О. Макарий заметил, что я проснулся, и подошёл ко мне...

– «Выспался милый? ну, что голова твоя... болит, поди? Ведь ты головою ударился о тот камень, за который я уцепился; я тебя и поймал, держал крепко, пока буря бушевала... А как гроза ушла, буря утихла и ливень кончился, я привязал тебя к себе поясом моим, вот этим – и доплыл сюда... а тут утром подошли... догадались выюки схватить; теперь переплыть легко: ведь, вода уже скатилась... Лошадей вот жаль – погибли; ну, да что делать? Дал Бог людей спасти...

– «Спаси тебя Бог за это!»...

– И вдруг он, этот старец, которого я уважал и чтил, как святого, опустился передо мной на колени и, склоняясь своей седой головой до земли, поклонился...

– Помню – я забыл боль мою, всё забыл, увидав его передо мною на коленях... Я поднялся, схватил эту дорогую голову, поднял её с воплем – «Вы сами – спаситель мой!» – и, рыдая, упал на грудь человека, благодарившего меня, забывшего, что сам он спас мою жизнь...

— Он забыл о себе; но я разве мог забыть это? Я ясно представил эти слабые руки, державшие долго, долго моё бесчувственное тело среди бури и волн; я знал, что он изнемогал, этот старец со слабым телом и великой душою; он понимал, что каждую минуту может погибнуть из-за меня, и однако не опустил меня, спас...

— И, продолжая рыдать, я покрыл поцелуями маленькие, тонкие руки; а он, всё стоя на коленях, улыбался мне сквозь слёзы и говорил своим ласковым тихим голосом, смущенно и взволнованно, отнимая у меня свои руки...

— «Ну, что ты, милый, Господь с тобою... успокойся... Господь милостив, всё Он это... Ему благодарность наша... Ну, перестань, успокойся, ляг!»

— И он сел, не выпуская меня из объятий и всё продолжая прижимать к своей груди мою голову, пока я, нарыдавшись, не затих и не успокоился окончательно...

— Надо ли тебе говорить, как я любил его всю жизнь мою, как чту его память? Такие редко приходят в мир: это — избранники, и таких всегда ждёт небо.

Онъ затих и задумался, не отнимая руки от руки сына. А туча, заполонившая всё небо, сияла совсем близко ясными зигзагами молний... гром грохотал, приближаясь, и гул ударов отдавался в горах...

III

Капли дождя, крупные и частые, забились по крыше, забарабанили по стеклам; при свете молний можно было увидеть лица двух людей — молодое, красивое, взволнованное и старое, изможденное, бледное, тоже взволнованное, глядевшее куда-то в пространство глазами, на которых блестели слёзы.

Что они видели эти ясные глаза? Те ли картины, что встали перед молодым под впечатлением его рассказа или незабвенное лицо старца архимандрита, скорая встреча с которым ждала его там, за этими грозными тучами, выше молний и грома, в безмятежном царстве любви?..

Страница жизни

Памяти первого апостола Алтая

«Как мало он ценил все подвиги свои,
Какая простота и скромность обхожденья»

Бакунина

– «Но щь не светла неверным, Христе, верным же просвещение в сладости словес Твоих!»

Небольшой старишок, несколько сутуловатый, в старом, но чистом, грубом дабинном подряснике и черной скуфейке, певший эти слова слабым, тихим голосом с глубоким чувством веры, заглядевшись добрыми темными глазами на долину с горного уступа, на который зашел с видимым трудом. Слегка вьющиеся седые волосы и красивая густая борода обрамляли чистое и чрезвычайно симпатичное лицо. Уста певшего были мягко очерчены, и в этом лице и в этом слабом голосе была какая-то привлекательная сила, обаятельно действовавшая на людей.

И теперь смуглая девочка, лет одиннадцати, загляделась на него из-за густого ветвистого кузук-агаша так же внимательно и ласково узкими темными глазками, как он заглядевшись на низину.

– «Улу-абыз из Улалы!» – думала она. – «Да... он за травами пришел: ишь сколько набрал... Якши абыз... Ирлен хвалила его у нас в аиле: ой, якши! И отец всё хотел его увидеть».

А старишок всё не мог оторвать взгляда от долины. Его горный уступ царил над нею. Молодые побеги валериана заманили его сюда выше и выше: их много росло тут, в расщелинах камней, и, хотя боль по обычай сжимала грудь, но он поднялся сюда с желанием набрать их более для тех, что жили там, в долине, под уступами гор, и далее, в Улале.

– Заждался меня Стефан! – сам себе сказал он, – а я, грешный, любуюсь созданием Божиим и дело забыл, на красоту творения Его засмотревшись.

И, действительно, там внизу была красота: хороша была река, быстрая река, вившаяся лентой по камням, и поросшие лесом уступы гор, поднимавшихся от нее и уходивших ввысь ясно очерченными на синем небе гравами; хороши были пятна аилов, белые на зелени хвои, и дальние вершины, одна за

другой поднимавшиеся выше и выше, точно стремясь к небу. Там из глубокого ущелья, поблескивая из-за зелени, летел поток: сегодня ночью пролетела гроза, и ручьи превратились в потоки.

— Как хорошо... Стефан Васильевич там, на низине, в котловине... ничего он не увидит... но где, же долететь к нему, оставшемуся с лошадьми, слабому голосу? не услышит!

Старец оглянулся, чтобы с выступа поглядеть на свой подъем, и его глаза среди зелени, за кузук-агашем, приметили красную кайму детской одежды, в которую мать. Ай, одела свою любимицу.

— Дитя! — окликнул он мягко, — ты из того аила, внизу?.. Иди сюда, не бойся... Хорошо тут у вас!.. Иди же!!.

У Ай и так не было страха: она выросла любимицей в семье, где только недавно появился её братишко, но он не отнял у ней любви её родителей. Она доверчиво глядела на людей, и у них в аиле к тому же так много говорили об улу-абызе из Улалы, как о лекаре и добром человеке, что она, не поколебавшись ни минуты, вышла к нему из своего прикрытия. Большая собака, её спутник, выскочила из травы, на которой лежала, вслед за нею, но она не испугала старца, хотя девочка закричала на нее.

— Ничего... Ишь, какой славный! — поласкал он мохнатую голову собаки и, внимательно оглядев девочку, сказал:

— Да ты, девочка, маленькая алтайская девочка... Гляди, какая красота тут у вас! учись любить её, малютка.

Она веселыми глазками глянула вниз:

— Якши! — беспечно сказали её губки. — Месяц это часто видит... Ой, абыз, отойди: в этих камнях живут змеи, они раз укусили мою собаку... Хорошо, что собаки знают траву от змей: моя бегала за ней три дня... Я думала, она потерялась... Они — умные, наши собаки, абыз!..

— Твой отец дома? — ласково гладя её головку, ничем не прикрытую, с волосами, заплетенными на несколько кос, спросил он.

— Нет, абыз, отец уехал далеко, в аил к брату, на Кондому: там он родился; а мы остались с матерью, потому что ей нельзя бросить аил. У меня есть брат, маленький Тегенек... А ты как забрался сюда?.. Один? Пешком?.. Ты живешь там, за горами, в

Улале?.. Как ты попал сюда, абыз? Ведь, ты старый, и я не вижу коня, на котором ты приехал, а идти пешком—далеко.

— Там, внизу, есть у меня товарищ и кони, маленькая, любопытная деточка! Как зовут тебя? Скажи мне!..

— Ай! — весело и доверчиво откликнулась она, — меня зовут так, потому что у отца и матери я была одна, как месяц на небе... Посмотри, абыз, посмотри!

Она схватила его за руку и указала вниз, где две большие птицы кружились над маленькой козочкой, бежавшей и падавшей на колени.

— Они её заключают... Ах, эти проклятые ястреба! Бедная, бедная, элик!..

Священник тяжело вздохнул.

— Вот, так и вы, бедные, от камов ваших бежите и спастись не можете: поймают и заключают... Идем, Ай, веди меня туда, где твоя мать живет, а потом позовем Стефана Васильевича: он тоже травы собирает, чтобы немощи телесные врачевать у тех, которых клюют двуногие тарбалдины... Что ты смотришь так пристально, малютка? Не понимаешь старого абыза?.. Пойдем, милая... Ишь, какие умные глазки: твоя душа должна быть открыта к слову Бога, как вон те цветы. Господь солнце наше! Ишь, как они к солнцу повернулись, милые! — указал он ребенку на цветы. — И ты...

Собака громко залаяла и бросилась на встречу к небольшому, худощавому, совсем еще молодому человеку.

— Стефан Васильевич! А лошади? В аиле?.. Вот и хорошо!.. Ишь, сколько набрал травы. Молодец! А я, вот, цветок отыскал алтайский... — Ай — девочку... Гляди, какая славная, и сердечко доброе: чуть не упала туда, в низину, жалея элик, которую заклевали жадные тарбалдины.

Собака, окликнутая ребенком, перестала лаять; она только ворчала и скалила зубы на нового пришельца.

— Вот спуск, абыз, тут не круто, наши козы протоптали тропу: они любят лазить по горам! — приглашала девочка.

Дорожкой, вившейся меж камней и огромных ветвистых кузук-агашей с мелкою порослью, обвивавшей камни аржан-элена и кустов уже отцветшего марала, она повела своих

спутников ниже, туда, где с противоположной стороны горного выступа была небольшая долина, в которой среди зелени белым пятном берестяных юрт наметился аил, облитый солнечным светом.

– У матери много дела, – болтала девочка, – ох, много! Она как рассердится на кама Кагыра, – вон, там его юрта! – всегда говорит: «уеду от вас, проклятых, в Улалу к улу-абызу и крещусь: он научит меня, как без камов жить!» А кам злится и ругает ее... Отец всё говорит: «рассердишь его, нашлет на тебя кара-неме, тогда будет худо!» А энó не боится никого: ох, какая она славная!..

И вдруг, что-то вспомнив, ударила себя руками по бедрам.

– Прости, абыз, забыла совсем, куда шла... Иди себе к нам, а я побегу поищу корову: эно велела найти ее... Она непременно за перевалом, в кустах: я опять поднимусь туда. Скажи энó, что тебя послала Ай... Эзен болзын!

И она убежала быстро вверх по извилистой тропе точно проглотившего её леса.

– Там Петр³⁰ пришел, догнал нас, только лошади вон в том аиле, там, где вы меня оставили, о. Макарий, тут, недалеко... Может быть, Господь вас посыпает сюда и встречу вам дал с ребенком. – Прав ты, друг мой... Как спуститься бы скорее?..

А сам даже за грудь взялся привычным движением: так заныла она старой болью от быстрой ходьбы.

Его молодой спутник впереди нарочно замедлил шаг, но старец торопил его.

– Скорей, скорей, что медлишь? ишь, хитришь ради немощи моей, друг мой, Стефан Васильевич. Пойдем, голубчик! а пока я буду тут проповедовать, ты потрудись дойти до Петра и скажи ему, где я; согрейте чай, отдохните: знаю, будет заботиться он, а если тихо обойдутся с вами то и вы сюда оба придёте... Впрочем, нет, лучше я к вам: там, ведь, киржаки живут, души затемненные, учат этих бедных детей гор алтайских, что мы их враги... Да, у нашей юной миссии два зла тут: камы и киржаки... Берегись их, чтобы зла они тебе по пути не причинили.

И, долгим взглядом проводив спутника, опять тихо запел свою любимую песнь: «Ношь не светла неверным, Христе»,

спускаясь усталыми ногами к аилу.

Какая-то высокая и сильная женщина вышла из ближайшей юрты, которые, в количестве пяти, ютились в долине у быстрой горной речки с небольшими заводями под навесом тала; речка ласково плескалась, спадая с камней крохотными водопадиками, и играла на солнце струями. Женщина прикрыла ладонью глаза и изумленно вперила их в подходившего к ней от опушки леса и, видимо, только что сошедшего с горы миссионера.

А тот, ласково кланяясь ей, заговорил с нею по-алтайски.

– Девочка Ай послала меня сюда, миловидная девочка, которая пошла искать корову своей матери. Она сказала, что у матери доброе сердце, и что она знает и не любит камов. Я – абыз из Улалы, и мне хочется поговорить с матерью девочки Ай... Ты знаешь ее?..

– Это я, – протянув вперед сложенные вместе руки, поклонилась ему глубоким поклоном алтайская женщина. – Вот моя юрта: мужа моего нет дома, но проходи, гость: я тоже хозяйка ее. Там мой болам Тегенек: нас немного – всего четверо, да аил у нас маленький, не такой, как тот за горой... Где же твоя лошадь? Я бы расседлала ее.

– Моя лошадь там, за горой; я не один: там мой помощник и старец с ним. Благослови тебя Христос за ласковое слово путнику.

– А это, – достал он сахар, – твоему боламчику от абыза.

– Спасибо! – опять кланяясь, сказала она, принимая подарок. – Вот сюда, абыз, под эту черемуху: тут тебя солнце не будет печь. Ты устал, ишь, какой слабый. Садись на эту колоду... Хорошо у нас тут в аиле, если бы не Кагыр! – понизила она голос. – Сегодня, вот, тихо, а в другие дни сущее наказанье: наедут к нему Дираки с аилов, а он и примется камлать: гудит в бубен, орет, и до того доскачет, что валяется потом дня два... Вот и сегодня после вчерашнего спит: сам хворый, а жадный... И кому богатство копит? Одна Косьту и та – хилая, хилая: ни почем ей ни жизнь, ни радость... Да, вон, она сидит, абыз, на солнышке... Видишь?

Действительно, глаза о. Макария различили за аилом на камне тонкий силуэт подростка девочки, сидевшей, облокотясь на руку.

— Так вот всегда: как завалится он спать после камланья дня на два, сидит она тут, всё кашляет и думает... Хорошо им богатым: все на них работают... Есть много бедных: киржачка Анна коров доит и молоко убирает, а этой и сумы не поднять с ячменем, — презрительно сказала она, показывая на дочь кама. — Моя Ай такая удалая: она уже всё умеет делать... Прости, абыз, Тегенек плачет, и надо ещё стереть соль... Горе с большим хозяйством: у меня, ведь, пятнадцать коров доится... Кам не смеет меня задирать, а будь мы бедные...

— Сейчас, сейчас, Тегенек, боламчик мой.

И она кинулась в юрту, откуда слышался детский плач.

— Ой, ой, мой Тегенек! Ишь, захотел есть, а ячмень не готов, и соль не растерта, глупый боламчик...

Миссионер с мягкой улыбкой покачал головой: как мог он говорить о Боге этой занятой матери? Надо было отвлечь её мысли.

О. Макарий поднялся и пошел к юрте. Кинув взгляд на задумчивый силуэт девочки Косыту на облитом солнцем камне, он было повернулся к ней, но лежавшие около нее собаки поднялись и заворчали на него.

В это время звонкий и веселый голос зазвенел на опушке;

— Не туда, абыз, вот сюда... Мама, мама! Это — гость, что же ты не идёшь?

Мать опять выглянула из юрты.

— Нашла корову, Ай?..

— Нет!

— Так иди же туда, куда говорила я, до Анны: она с их коровами ходит. Не заботься о госте; вот успокою Тегенека и угощу его чаем.

— Погоди, абыз.

Их разговор привлек внимание дочери кама: она повернула к абызу бледное худенькое лицико, но не пошевелилась на своем камне.

Абыз вошел в юрту, где хозяйка возилась с ребенком, которого только что накормила. Толстый черноголовый мальчик не хотел идти с рук: он требовал, чтобы мать держала его, и миссионер терпеливо ждал, когда он уgomонится.

Мать, наконец, положила его в люльку, небольшой продолговатый ящик из бересты; просунув ножку этой люльки в ременную петлю, отчего ящик-люлька приподнялась вершка на четыре над полом, она начала двигать её из стороны в сторону, что заставило замолчать маленького алтайчика.

— Спал бы, — говорила она, — у, глупый... А тут эта корова: совсем она от рук отбилась, абыз, прямо горе с ней: такая дикая... Ай качнула бы его, а я бы стерла соль и ячмень... Вот какой боламчик неспокойный: басмак третий день не беру в руки. Ладно, было ячменю готового много... Конечно, у других кричат боламчики, а им и горя мало: делают, а у меня их — всего двое, и я уж лучше брошу работу, чем ребенка.

— Ты хорошая мать, — сказал о. Макарий, но я сегодня помогу тебе. Дай, я буду качать дитя, как ты, и успокою его: качанье не помешает мне говорить, а ты будешь тереть соль и ячмень.

Он сел на суму около ребенка и стал медленно двигать люльку, а мать благодарно закивала головой.

— Так, так, ты славный человек, абыз! И как умеешь водиться — смотри, боламчик смеется с тобой! А наши камы... Ай и сейчас боится Кагыра: такой худой человек.

— Гляжу я на мир долины вашей благословенной, на эти маленькие нивы ячменя и на стада, пасущиеся там, в котловинах, и думаю, что всё ваше горе в том, что не любите вы Бога, от которого вас отдалили камы. Бога, который сотворил и горы, и небо, всю эту красоту, и по воле Которого бегут реки, идет дождь на ваши поля и травы, которые вырастают так обильно для вашего скота! — ласково и убедительно заговорил он.

Она прислушалась, насыпав соль на басмак.

В отверстие для дыма падали лучи солнца и озаряли косым светом седую голову в скуфейке, тонкое неодолимо симпатичное лицо абыза Макария, качавшего её маленького сына.

– Великий Кудай неба и земли и тех звёзд, что, как огни, блещут на небе, Творец огромных океанов, которые более в тысячи раз, и ещё более! – Алтын-Нора, этот Кудай любил, когда приходил на землю, простых и бедных таких, как ты. В такие же ясные дни приходил Он к их порогу, садился и учил, что надо любить друг друга, так сильно любить, чтобы даже душу свою отдавать за врагов.

Женщина слушала со вниманием, а он говорил о великой любви Христа просто, безыскусственно, и дитя, успокоенное его качанием и тихим, проникновенным голосом, лежало покойно, глядя на его лицо.

Ни проповедник, ни женщина не заметили легкой тени, заслонившей вход, и тоненькой фигуры дочери кама, прижавшейся лицом к косяку входа: она слушала, вся уйдя в слух, и её бледное лицо все разгорелось пятнами яркого румянца.

Как мягко звучал тихий голос и какие слова: каждое ложилось её в душу и ласкало её слух!.. ещё бы! ведь, ей, Косьту, осталось немного жить: недаром ныла у ней грудь, и мучил кашель. Отец лечил её, отец боялся её потерять, бедный отец, которого она любила и боялась, когда во время камланья с ним делалась страшная позевота, и дикие крики наполняли воздух, судороги сводили ему руки и рот, его всего корчило, и у него дергались даже глаза. Косьту знала, что черные духи владеют отцом, и боялась его, боялась своей страшной веры, которая ничего не сулила после смерти: а старый абыз говорил об ином; он говорил, что тогда, когда смерть схватит человека, и порвётся его душа там, на небе будет другая жизнь, и ак-неме понесут человека без тела, но такого же, как он был, только невидимого, туда в высоту, к Кудаю, отнимут его у кара-немэ, потому что Кудай добр, а кара-немэ Его трепещут... Ах, как хорошо там на небе! Недаром её тянет туда неодолимо.

Девочка Ай, пригнавшая корову, и лаявшая на подъезжавших спутников абыза собаки не отвлекли внимания: слишком хороши были эти новые неслыханные слова.

– «И какой добрый, какой бесконечно добрый был Бог... абыза: ему не надо было жертв, не надо камланья... Он учил

только любить и слушаться добрых и за это – целое небо... Милый, старый абыз! хорошо, что он пришел, пока её душу ещё не подрезала смерть, как скошенную траву... Надо поговорить с абызом!»

И она решительно двинулась к старцу, переступив порог юрты своих соседей.

Хозяйка удивленно взглянула на нее, но приветливо ответила на поклон этой редкой гостьи, а миссионер, оставляя ребенка, ласково улыбнулся ей:

– Ты пришла слушать, дитя? – спросил он.

– Я уже всё слышала, абам! – сказала она кротко. – Мне немного осталось прожить, хотя я ещё молода: жадная улюм тянется ко мне и знобит меня холодом, когда людям жарко; она скоро заледенит моё сердце, а я боюсь кара-неме, абыз! боюсь темноты и так люблю небо и звёзды! Я люблю солнце и месяц и хотела бы уйти туда на руках ак-неме, когда душа моя оторвётся от тела и лопнет, как шелчинка... Научи меня, как сделать так, чтобы Кудай принял и меня.

Подошедшая Ай стала покачивать брата, внимательно слушая, а миссионер, встав, положил руку на голову Косыту.

– Это легко, так легко и просто сделать, дитя, если твоя душа, хотя немного, может Его любить. Когда Он был на земле, к Нему приходили дети, и Он любил их, и теперь с неба Он любит всех и видит сердце каждого: Он видит и твоё... Можешь ли ты полюбить Его, доброго, кроткого, милосердного?.. Хочешь ли креститься? потому что только тем, кто полюбит Христа и, поверив в Него, примет крещение, откроются небесные двери, хотя Он любит всех и тебя, бедное, больное дитя.

– Она – дочь кама, абыз, – сказала хозяйка, – и отец проклянет ее: он никогда не даст ей креститься, потому что любит ее!

– Он даст, – сказала девочка твердо, – а не даст, я уйду сама... убегу... ведь, ты знаешь, тетя, что злые кара-немэ и курюмесь ждут нас, и ничего доброго мы не увидим от них, когда наши тела похолодеют, а тут – Бог и небо... О, тетя! пойдем вместе к Кудаю и ты, Ай! Пусть гневается отец: я хочу любить твоего Бога, абыз, и верю Ему, потому что Алтай, такой большой

и красивый, Он создал, как ты рассказывал, Один, а наши боги ничего не могут сделать... отец даже не любит говорить о них... Если бы он им верил, абыз, – со страстной печалью воскликнула она, – то приносил бы за меня жертвы, а то он камлает людям, а за меня не хочет камлать. А он любит меня, любит, абыз, поверь мне: зимой, в метели и бури ищет он для меня куропаток и раз чуть не замерз, ходя за ними. Он знает, что только их кровь и парное молоко унимают мой кашель: я у него одна... Поговори с ним, абыз! К вечеру он проснется: я тогда пойду посмотрю его: он страшно спит... во сне приходят черные духи и мучают его: он кричит и мечется... Страшно быть камом, абыз!

– Страшно, дитя... Но иди на солнце: ты дрожишь, а тут сырьо в юрте; иди, я тебе дам горячего чаю... Вон там – мои: они вскипятят его нам, потом я напою тебя лекарством, от которого ледяной холод не будет тебя томить. Кто знает, может быть, ты станешь жить, будешь здоровой и крепкой: на этих горах много целебных трав, и я приложу все силы, чтобы Христос, спасая твою душу, продлил и твою земную жизнь; я буду молиться Ему... Ты, ведь, любишь Алтай?

– Я люблю его, абыз, ведь он мой: я тут родилась и выросла... но грудь таки ноет, и кровь идет у меня из горла... Нет, поскорее учи меня и, пожалуйста, крести: здесь тяжело жить, тяжело смотреть на отца... Когда я уйду туда и увижу Кудая, я попрошу Его послать отцу ак-неме, хранителей, как говорил ты эдже, чтобы они охраняли его от черных и увели туда, где буду я.

Она закашлялась, хватаясь за грудь, и, выйдя из юрты, села на сваленное бурей дерево.

Девочка Ай, вышедшая за нею, грустно глядела на нее: по умненькому лицуку её шли тени глубокой думы.

– Там не хворают у Кудая? – спросила она миссионера пытливо. – Там хорошо, абыз?..

– Хорошо, – сказал он с непоколебимой верой. – Так хорошо, что моя душа давно томится и рвется туда, а Кудай посыпает мне жизнь: Он хочет, чтобы я много, много людей научил любить Его. И вот я хожу по долинам и горам и зову к Нему: «идите, идите к Отцу, милые Ему дети!» И тебя зову, девочка Ай, твою мать и эту бедную кыс... стану звать её отца и

других, пока хватит сил: у меня болит грудь, и тело хило и слабо, но пока я могу, всё буду ходить и звать, вас, простых сердцем, и там, на небе, на этом синем голубем тенгереде, ак-неме, светлые ак-неме с белыми крыльями, которые уносят из мира человеческие души к Богу, будут радоваться тому, что ты, девочка Ай, и ты, бледная кыс, слушаете меня и начинаете любить Того, Кого так любит моё сердце...

Высокий старец Петр подошёл к нему и принял благословение: он любил своего о. Макария глубоко и преданно заботился о нем, как о ребенке, этот человек, видавший много горя в жизни.

– Чаю, отец мой?.. Когда ели?.. А чай готов уже: мы его ещё там у аила вскипятили со Стефаном Васильевичем и перенесли сюда, а сейчас он опять закипел... Вон туда, под черемуху... Ох, и денежек: солнце, кажется, светить сегодня устанет: глядите, ни отметинки на небе, а с горы тут на звёзды глядеть хорошо будет и на Алтай: трудно только подняться вам будет...

– Как тебя зовут, девушка!.. Давно ли хвораешь?..

– её зовут Косьту, – вышла из юрты хозяйка с толканом и курмачем в руках, – она – славная кыс.

– А хвораю давно! – сказала Косьту. – Говорят, отец простудил меня: он забыл огонь после камланья, и очаг потух... на отце была шуба, а я спала около очага без нее: я была очень маленькая и простыла тогда; а все-таки росла, как осина, сухая и тонкая.

– А мать? – спросил о. Макарий. – Почему не поберегла тебя мать?

– У меня не было матери, – печально ответила она, потупив лицо, сидя на сваленной бурей сосне, чья вершина уходила далеко почти к самому порогу жилища кама, её отца.

Из третьей юрты вышли пожилая женщина и инородец, очевидно её хозяева. Они подошли к гостям аила и, закурив трубки, сели подле костра разведенного спутниками о. Макария.

Маленький Тегенек, видимо уснувший, не мешал матери, и она присоединилась к слушателям о. Макария.

А он опять учил, позабыв о чае, и его слова заставляли Ай вздыхать, а на тёмных глазах бледнолицей Косьту вызывали

слёзы.

– Вон, опять едут к твоему отцу! – сказал, вынимая трубку изо рта, флегматичный алтайец, перебивая слова о. Макария, которые, видимо, плохо слушал.

Обернувшись, все увидели ехавших гуськом трех алтайцев, которые вели за собой соловую лошадь.

– Камлать! – протянула мать. – Ай калак... Опять напугают боламчика... Беги, скажи отцу, Косьту, добудись его.

Косьту ещё более побледнела: она взяла руку о. Макария и сказала горестно:

– Опять замучают лошадь. О, абыз! Попроси твоего Бога, чтобы аbam не мог камлать, пусть все кара-неме убегут отсюда.

Алтайцы в своих странных одеждах уже подъезжали. Громкий лай собак приветствовал их, но, как только они подъехали к группе людей и слезли с лошадей, собаки прекратили лай и стали обнюхивать приезжих.

– Кто вы? – спросил обитатель аила.

И, когда приезжие поздоровались и объяснили, откуда они и зачем, он указал им юрту Кагыра, которому они привели коня, действительно, для камланья.

– Абыз, – умоляюще сказала опять Косьту, – не пускай их!

– Кам спит, – выступил о. Макарий, – дочь говорит, что он болен: я тут часа три и ещё не видал его; садитесь с нами, гости, и поговорим, а коней привяжите... Почему вы хотите камлать?

– У нас все женщины в аиле и все дети хворают, абыз! – ответил сухощавый калмык. – Шибко горят, как в огне; Кагыр хороший кам: шибко умеет камлать: и Ульгень и Эрлик его слушают.

О. Макарий бросил кружку с чаем, которую было взял в руки; его глаза зажглись, и он заговорил с глубоким убеждением:

– Не поможет он, не поможет, потому что и богов этих нет; а демонам, которым он камлает, приятно мучить людей: они никогда не отступятся от них и не помогут, а ваших родных томит болезнь горячки: пришла в аил и жгет их тела, сушит уста: камланье не поможет... хотите, я помогу им, поеду с вами, а эта бедная лошадь останется жива?.. Наша вера учит, что тот блажен, кто и скотов любит.

Но инородцы не слушали его слов.

— Нет, абыз! — качали они головами. — Нет. Кагыр так покамлает, что болезнь уйдет от нас; он шибко мастер камлать; уйдет болезнь... наши отцы, деды и все наши предки камлали.

— Я не могу остановить вас! — тихо, с печалью в голосе сказал он; но опять торжественно и убежденно воскликнул: — только Господь не допустит, пока я здесь, совершившись камланью, мой милостивый Господь!

И это глубокое убежденье, силой звучавшее в слабом голосе, заставило успокоиться сердце Косыту: она поверила абызу: ведь, его Бог был сильнее всех богов и добре; Он знает, как тяжело мучается лошадь, когда ей ломают спину... Абыз скажет ему, чтобы он послал ак-неме, и эти ак-неме остановят её отца.

— Тебя просят, — дернула её Ай, — Косыту, они говорят тебе.

— Иди, разбуди нам кама, — кланялись ей. — Пожалуйста: шибко надо камлать. Побуди, что долго спит? уже полдень прошёл давно.

— Я не пойду, — угрюмо нахмурилась она. — Идите сами: вчера он камлал и устал; его всего дергает, и кара-неме мучают его во сне, я уже будила его утром и мочила ему голову водою, а теперь не буду, я сама устала, и у меня нет сил трясти его.

— Ну, тогда, мы сами, — переглянулись нерешительно алтайцы. — Ой, девочка, побуди, пожалуйста!!

— Нет! — решительно ответила она, — будите сами: я боюсь юрты: отец всегда так страшно храпит! Я ночевала даже у них, — указала она на мужа с женою, — в нашей юрте страшно: черные духи живут в ней у отца, они пьют кровь ночами: он спит как мёртвый, и сердце перестает биться в его груди, он белеет весь, как снег на белках, и, просыпаясь, хватается за грудь и говорит, что его душил курюмесь; он когда-нибудь умрет так.

— Мы пойдем! — сказал невысокий седой алтайец. — Ты, видно, хочешь дружить с абызом, — недружелюбно поглядел он на девушку, — а мы будем лечить наших больных по-старому.

И, повернув к девушке спину, он, а за ним и его спутники пошли к юрте Кагыра, ведя за собой лошадей.

— Абыз, они идут, абыз! — схватила бледнолицая девушка руку о. Макария. «

— И пусть, — сказал он твердо. — Я тебе сказал, что пока я тут, они не будут камлать; я не уеду долго, если будет нужно.

— Выпейте чаю, о. Макарий, — сказал Стефан Васильевич, — он весь перекипел... Вы устали, ведь, уже вечереет.

— Пейте вы с Петром, — ответил он мягко, — я подожду еще; моё сердце болит что-то... Что это?..

Все три алтайца, как пришибленные выскочили из юрты с испуганными лицами.

— Они увидали там кара-неме! — сказала, вскочив, мать Ай. — Они бегут, абыз...

И сама испуганно топталась вместе с другими.

Бледные пальцы Косыту впились в руку миссионера; она сама побелела, как снег на горах, и тихо шептала:

— Ой, абыз, что там? Калак! Абыз, что случилось у нас?..

— Абыз! — вскричал высокий. Он, Кагыр, мёртвый... И какой страшный: сидит, скорчился, руками вцепился в бубен и глазами глядит... Ой, страшно так... Мы его позвали, ничего не отвечает. Подошли, а он холодный весь... Ой, как страшно!

Руки Косыту тоже похолодели, и стоявший близко Стефан Васильевич поддержал её, зашатавшуюся и залившуюся слезами.

— О, абам, абам! — рыдала она. — Тебя задушили они... Абыз, они задушили его, и я не успела упросить Христа, твоего Бога... О, абыз, я боюсь глядеть на него... Проклятые кара-неме. Проклятый Эрлик: они задушили его, моего бедного абама, а он служил им всю жизнь!

О. Макарий кротко утешал ее.

— Неужели вы и теперь будете камлать? — сказал он почти строго приехавшим к нему. — Завтра поутру, когда отдохнут ваши кони, я поеду к вам в аил: посмотрю и полечу ваших больных. Отдохните тут...

— У тебя есть родные, Косыту? Бедное дитя!.. Теперь Отец Небесный будет отцом твоим, а мы позаботимся о тебе.

И он пошел к юрте Кагыра, оставив на руках у женщин его плачущую дочь.

Кагыр был действительно мертв; его лицо носило следы ужаса. Он сидел, прислонясь к стене юрты, и глядел туда, где стояли курьмияжки, уродливые курьмияжки, перед которыми висело сомо; руки впились в бубен, словно он хотел им заслониться от чего-то страшного.

Одноаилец его Позучак оседлал лошадь и поехал к зайсану, жившему верстах в пятнадцати от аила, с докладом о смерти, а женщины принялись собирать покойника все, кроме дочери, продолжавшей плакать, и Ай, ушедшей качать братишку.

О. Макарий грустно пил чай. Чего не видели его глаза тут, в Алтае! Болезни и скорби людей близки были чуткому сердцу, не даром он пришел сюда издалека со словами любви на устах и полным любви сердцем; зачем ранее медлил он посетить этот аил за дальностью его от Улалы?.. Кто знает, может быть тогда доброе слово коснулось бы потемневшей души, и кам был бы спасен: ведь он любил Косьту, может быть ради нее сердце его отвратилось бы от ужасных демонов.

— О. Макарий! Господь с вами: учите, что уныние грех смертный! — приметил состояние его души чуткий старец Петр. — Судьба... Божий предел... вкусите пищу-то. Господь, душу дочери спасая, попустил смерть его... Смотрите, вечер какой благословенный. На гору поднимемся, им теперь не до нас будет: наедет родня, заголосят... знаете! А девочка Косьту — Божия, она уж теперь от Христа не отвратится, за отца молиться будет бедная.

И стариk подал своему любимому начальнику глиняную кружку с перекипевшим чаем и черные сухари, из плохо выпеченного хлеба, которые едва размокали в чаю.

— Потом на гору, можно на лошадях подняться! — сказал Стефан Васильевич. — Хорошо видны белки: ночь лунная будет.

— Постой, — поднялся о. Макарий, выпивший чай, — погляди, собираются путники наши бедные... Забота их гложет... Может быть до другого кама?..

— Куда вы?.. Почему не дадите отдохнуть лошадям?..

— К себе, абыз, — угрюмо сказал седеющий инородец, — там, ведь, хворают наши... Дай лекарства, когда хотел полечить: наш аил далеко, и путь труден: перевалы, бома есть, борода глубокие:

всплывает лошадь... ты – стар: тебе трудно ехать к нам... расскажи, что делать нам надо, как давать лекарство твое, чтобы их не палило жаром?..

– Я поеду сам! – сказал он твердо.

– Ты, Петр, останешься тут, у Ай и её матери: утешь девочку Косьту, будешь учить её молитвам, когда она немного отойдет, а я со Стефаном – туда: больные ждут. Тут у нас есть лекарства, и ты, друг, на свободе валерианы набери: тебе Ай покажет дорогу-тропку на ту вершину: там много её в камнях... Ты знаешь, какая?

И принял помочь седлать лошадь Стефану Васильевичу.

Инородцы тоже стали помогать им, удивленные готовностью миссионера ехать в их далекий угол через перевалы и бома.

– Мы тихо, абыз, поедем, – сказал самый младший из них, доселе не вступавший в разговор, – завтра утром будем дома. Твоя лошадь, однако, тряская: сядь на мою...

– Ничего, друг мой, ничего: я привык. У тебя-то кто болен тоже?..

– Мать! – печально сказал молодой инородец. – Вся горит: улюм уже захватила ее... О, абыз! Она – добрая мать, и моё сердце болит за нее: эта лошадь моя, но я бы с радостью отдал её две, если бы мать стала здорова: она выводила меня одна, когда медведь задрал отца на охоте; я люблю её, абыз, и, если бы камы взялись её лечить и попросили бы у меня весь скот, я бы отдал его с охотой.

– Ты – добрый сын, – сказал о. Макарий. – Бог дал мне малое уменье врачевать тело; я сам похожу за твою материю, друг мой.

– Что ты, Петр?.. Неохота отпустить меня, старец мой?.. Ничего!..

– Как через перевалы-то будете переезжать? Грудь-то свою забыли? Ох, забота мне с вами! А огород наш... польют ли его там?..

– Ах ты, душа добрая, Марфа евангельская: заботишься о земном! – невольно улыбнулся о. Макарий, – ведь, не долго я пробуду там, не месяц же. Отсюда тебе недалеко: съезди, попроведай, девочку возьми с собой: пусть развлечется,

посмотрит на жизнь крещеных... Ну, Христос с тобою! Утешь её, скажи, что поехал я больным помочь... Поклон мой нашим и ей. Христос её храни, бедную.

– А, это ты, Ай, – милая?.. Молиться я за тебя буду, чтобы сердечко твоё Христа полюбило: ты славное, умное дитя, походи за Косьту, как за Тегенеком: Косьту нуждается в твоей помощи... Хорошая девочка, бедная Косьту.

И маленькая алтаечка долго следила за уезжавшими путниками, пока они поднимались на перевал.

– Славный абыз! – шептала она сама себе. – Хороший абыз... Я утешу Косьту, когда она придёт, а туда в юрту не пойду, потому что боюсь кама Кагыра.

Целое море вершин!

О. Макарий засмотрелся на них, погружавшиеся в сумрак вечерний. Отовсюду поднимались задумчивые строгие силуэты. Было холодно тут, на высоте перевала, но красота вида заставила позабыть и боль в груди и этот холод.

– Господи Боже, как хорошо! – сказал он тихо своему спутнику. – Алтари Твои, Господи сил, Царю мой и Боже мой! Вон Куминские белки, а там далее, сын мой милый, вечные снега... Красота какая! А вон и лампады зажглись: не могу я равнодушно любоваться на природу Божию: сердце трепетать начинает слабое и дивится... Смотри, как загораются звёзды:

«Они пламенеют одна за другой

В молитве горячей, в молитве святой»...

– И подумать, что это миры, Стефан, такие же, как наш, может быть, большие миры... Сколько силы в слове этом, когда нас частичка одного мира поражает... Гляди, как волны на море, горы!..

– Будет ещё перевал поутру, друг мой? – обратился он к молодому инородцу.

– Будет.

– Это хорошо! Люблю я смотреть утрами на горы, как туманы станут подниматься на них из низин, розовые все...

– Устал ты, Стефан?.. Не научился ещё спать на седле, бедный... Думаю я, чтобы пришло сюда за нами много других делателей и везде бы прошли по горам этим от края и до края,

везде бы рассказали о Христе... Неужели это будет?.. Душа у меня несовершенна: я человек немощный и слабый, но мой дух парит, как подумаю, что среди этих гор по тихим долинам зазвонят колокола, и в храмы пойдут алтайцы крещеные... много крещеных... конечно, это будет не скоро, но это будет, Стефан!.. Если бы я мог посмотреть на крещеный Алтай оттуда, – указал он на небо, – моя душа радовалась бы там!

– Вы всё говорите о смерти, отец мой! – сказал Стефан Васильевич. – Живите долго и учите: такого уже не будет на Алтае.

– Такие будут, сын мой: придут, отовсюду придут. Скажи им мой привет тогда, хотя они меня и не будут знать.

– Отец мой! – горестно сказал Стефан Васильевич.

– Ну, ну, не огорчайся, слушай-ка. В тишине наступающей ночи отъехавший от них далеко молодой инородец запел:

Терсиенен салкын кананда,
Терменгэй камыш каканда
Терменгэй камыш баштары?
Текши тууганды саназам
Тежильгень косьтои яне келет³¹.
Грустью звучал молодой голос.

– Эта душа будет спасена, – сказал о. Макарий. – Кто много любит, тот спасется, а его душа томится и любит... Что это, они точно исчезают?.. Да... Это спуск, Стефан, подтяни подпруги у лошади... Вот так... Помоги и мне, Господа ради: силы слабые у меня, а всё жизнь. Меня с детства таким сделала она слабосильным. Бывает это с людьми часто. И у тебя силы не много, Стефан, но сила Божия и в немощи совершается: только не инок ты будешь: сердце у тебя без поддержки истомится... молод ты, и боюсь я оставить тебя одного: надо тебе подругу верную, чтобы она тоже стала миссионером и тебе в трудах помогала... Разве есть грех в браке честном? Показывай тогда примером своей жизни, как жить должны люди...

– Темно там...

Низина тонула во мраке: луна ещё не взошла, а света звёзд не было достаточно осветить глубокую и узкую долину, в глубине

которой звенела и металась по камням горная река, над которой поднимался туман, сливавшийся с мглою.

– Где же они сгинули? А дорогу-то мы и не знаем! – сказал Стефан Васильевич. – Какие беспечные: уехали далеко!

– Нет! Тут ждут: слышу я, кони фыркнули...

– Абыз, ты тут?.. Сюда, тут не круто: я жду... тут глубокий брод будет, под перевалом, конь всплывает... пристал ты?..

Забота была в голосе говорившего.

– Ничего, не устал, – успокоил его о. Макарий. – Темно стало. Тебя зовут Педер, кажется?..

– Что это, точно птица белая бьется там?.. А, это поток: вот какая мятечная вода!..

– Держи короче повод, Стефан: круто... не поскользнулась бы лошадь.

Но алтайские лошади знали осторожность и тихо ступали, зорко глядя перед собою.

Луна поднималась из-за гор, и первые бледные лучи осветили путникам и волны горной реки и темную опушку бора, подступавшего к ней. Скоро заплескалась вода, ближе, совсем ближе. Потянуло сыростью, и кони вступили в воду, обдавшую брызгами усталые лица путников.

Светлая заря светлого дня наступала, поглощая тьму. Трудная бездонная ночь была пройдена. Два старших спутника-алтайца заехали во встречный аил на отдых, а истомленные путники с Педером всю ночь проехали до аила: о. Макарий сам захотел этого – больные не ждали, а они были здоровы и поэтому должны торопиться; а теперь, слава Творцу за все: Он помог – путь уже пройден.

– Вон, близко! – сказал Педер, – там, где плывут, сливаюсь, розовые от зари туманы.

– Ночь прошла. Господи, помоги рассеять светом Твоим мрак молодой души Педера! Пошли уменья и сил, чтобы исцелить недуг матери алтайского юноши и приобрести его сердце!

И вдруг забота о молодом спутнике охватила о. Макария.

– Ах, неразумный я... Сын мой милый, как же ты? В аиле горячка, видимо, а ты устал и ослабел: раскинь-ка палатку тут,

на горе, а мы одни спустимся вниз; раскинь шатер наш убогий: я приду к тебе сюда; напейся чаю, ляг и спи... Спи, пока не восстановятся силы: тогда и на дело ко мне, если увижу, можно это. Что?.. Нет?.. Стефан, ты забыл, что послушание паче поста и молитвы!

И уехал вперед в низину, где просыпался зараженный горячкой аил, вершить своё святое и трудное дело.

Яркое солнце было высоко; давно ушла мгла, только в юрте Педера царила она: там у ложа старой женщины, охраняя её покой, сидел старец-миссионер: он давно дал ей лекарство и теперь клал компрессы на её горевший лоб. Надо было отходить её, и он верил, что отходит: эта жизнь была дорога ему. Она являлась залогом спасения человеческой души, а ради этого спасения он готов был перенести все!

И в своем глубоком смирении старец теперь со слипавшимися от утомления глазами думал о тех, кто заботил его, о своем любимом Стефане, о горе, о девочке Косьту, дочери кама, и старце Петре, о многих там, в Улале, больных и страждущих, обо всех, кроме себя, не сознавая своего подвига, незаметного подвига жизни, отданной людям далекого от людей Алтая, прекрасной дикой страны, в которую он первый принёс слово Христово.

– Господи, сколько страданий! – шептали его губы. – Пошли сюда, в эти милые горы, Отец мой Небесный, сильных духом и телом людей на помощь им, страдающим, темным, не знающим Тебя, Возлюбленный мой, потому что они тоже Твои заблудшие дети!

Миньона Севера

(подражание Гёте)

Ты знаешь ли тот край,
где коротка весна,
Где гор стоят высокие громады,
Где с шумом, как стрела,
несутся водопады,
Где тёмный лес шумит,
и гладь озер светла?
Ты знаешь ли, мой друг,
ты знаешь ли тот край,
Который я люблю?..
Его зовут «Алтай»

* * *

Ты знаешь ли тот край,
где звёзды блещут ясно,
Где ночь морозная особенно прекрасна,
Где великанов-гор вершины, при луне,
Застывшие стоят и дремлют в тишине?
Ты знаешь, дорогой, ты знаешь ли, тот край,
Покинутый, родной?..
Его зовут «Алтай».

* * *

Ты знаешь ли тот край,
где-то стоит село,
В котором я жила? – Мне всё там было мило:
И храм, и старый дом,
и садик, и русло
Родной реки, и та, с простым крестом, могила...
Ты знаешь ли, отец, ты знаешь ли тот край,
Куда я рвусь в тоске?.. Его зовут «Алтай»

В былье годы

(памяти Архиепископа Владимира, почившего в Казани)

В миссии его звали орлом.

И, действительно, было что-то орлиное в его взгляде: большие, умные глаза смотрели смело и бодро на Божий мир. В них светилось что-то проникновенное и бодрящее, их взгляд умел пробуждать энергию в человеке, и не мудрено, что миссионеры шли за ним по его слову на всякое трудное дело, охотно и с любовью подчиняясь ему.

Быстрый в движениях, с ясною речью, добрый, чуткий и отзывчивый, он являлся образцом для молодых и старых, и алтайская паства полюбила этого Улу-абыза, как отца.

Конечно, он знал каждого миссионера: все они ему были близки, и всех он любил привязчивым сердцем, мягким и чутким, как сердце ребенка, так же, как он любил и своюдикую паству, только к этой любви примешивалась печаль об их слабостях и забота об их душах». В его сердце жила ещё одна любовь, прочная, крепкая и сильная – любовь к краю, в который пришел он с горячим желанием отдать свои силы на служение ему, и этот край стоил его любви, полный суровой красоты и величия, с уходящими в небо горами и горными цепями, с тихими долинами, где только говор рек и водопадов нарушал тишину, с синими глазами озер и вечной зеленью хвойных лесов, поднимавшихся до снежных поясов, с лентами водопадов на кручах, гомоном птиц в летние дни и диким завыванием падер в зимние непогоды.

Летом он, не сходя с коня, ездил от стана к стану, сам надзирая за всем и горя желанием нести Божии слова шире и далее, и часто жаловался своим диаконам на время; ему казалось, что оно летит неудержимо быстро, что он мало вершит дела на славу Божию и на благо Алтая и спешил, вставая ранее всех и ложась позднее всех, возделывать ниву Божию, раскиданную по разным углам огромного края.

Миссионеры у него тоже были хорошие: все они желали и умели работать, только одному – ученику основателя миссии о. Стефану Ландышеву мешали вершить Божие дело уже угасшие

силы, все принесенные на алтарь труда. А остальные, работали, не покладая рук: и о. Василий Вербицкий, ученый священник, кроме труда по миссии несший труд бытописателя Алтая, и пламенный, совсем еще молодой, игумен Макарий, прошедший все стадии тяжелых послушаний, и тихий, задумчивый, ревностный к делу иеромонах Иннокентий, иеромонахи Антоний и Дометиан, и целая семья священников, из которых зоркое око начальника миссии особенно приметило способного и умного Филарета Синьковского и тихого серьезного труженика о. Константина Соколова, зятя старейшего сотрудника миссии, первого инородца-священника о. Михаила Чевалкова.

II

Был ясный, летний день, чудный день после грозы, пролетевшей над Алтаем, и в чистом воздухе чувствовался аромат хвои особенно сильный. Хотелось вдыхать его полною грудью, что и сделал ранним утром архимандрит Владимир, вышедший на крыльцо миссионерского домика в стане Катандинском, у подошвы высоких гор.

– Хороший день! – сказал он молодому диакону Ландышеву, подававшему ему воду для умыванья в железном ковше. – Ах, кабы нам эти двести верст до Онгудая перелететь в сутки, во время бы успели!.. Ведь есть же, наверное, дорога ближняя. Смотри-ка, диакон, а ведь о. Константин нас сегодня опередил: успел уже и требу совершить! – указал он, быстро отирая лицо полотенцем, на подъезжавшего молодого священника, которого сопровождал пожилой инородец в своей странной шапке и шубе, снятой с одного плеча, из-под которой выставлялась синяя дабовая, никогда не мытая рубашка.

– Откуда? – спросил архимандрит своим звучным голосом, поворачивая умное, красивое лицо к подъезжавшим.

Священник быстро спешился и, подойдя к крыльцу быстрой, молодой походкой, сказал:

– Из аила. Ночью он меня увёз к больному: оспа у них сильная.

– Вот что, – быстро спросил по-алтайски архимандрит, обращаясь к инородцу, – ты с гор?

– Да, да, оттуда.

— И, видать, не молодой... Чай, знаешь Алтай хорошо: охотник, поди?..

— Как же, как же — охотник: умею бить бука, тропы знаю, на аю (медведя) кожу! — хвастливо заговорил спешившийся инородец, кланяясь Улу-абызу.

— Видать тебя, что бывалый! — с неуловимой улыбкой в глазах сказал архимандрит.

— Вот, диакон, и ты, о. Константин, собирайтесь-ка, а я вместо чаю расспрошу его о дороге, — бросил он своим и обратился опять к инородцу.

— Видишь, голубчик, надо нам в Катанду, а дороги не знаем прямой... шибко надо. Нет ли какой-нибудь тропы, чтобы путь укоротить можно было? Я, вот, тут умываюсь да говорю, а у самого сердце рвется скорее этот путь перелететь... уж больно времени мало нам на него осталось.

По лицу инородца разлилась улыбка, и он заговорил быстро, бросив обычную медлительность и вынув трубку изо рта.

— Есть така дорога. Прямо есть, абыз: только верст 70 будет всего вместо сот двух: через горы прямо екать нада... Ну, дорога: стена сбоку, стена снизу, а там — река глубоко, тут — гора высока, а тропа узенька, узенька... Упадешь — башку сломишь, не упадешь — славно будет! — коверкая русские слова, которые он вставлял для ясности в алтайскую речь, трактовал инородец.

— Я три раза был там... — с выюком раз. Сердце ох-ох ткало!.. Ничего — пропекал, а Тамыр упал: дождь был, скользко — конь оступился... эзень-болзын (прощай) Тамыр.

— Ну, «эзень-болзын» — это плохо! — опять усмехнулся архимандрит, — жалко будет, если кому-нибудь эзень-болзын сказать придётся... Ну, да Господь поможет... Поедешь с нами — поведешь нас?..

— Старый я, — нерешительно сказал инородец, — молодой был — не боялся, а теперь жутко... В прошлом году Тегенек там шею сломал, в третьем — Тибан и Кантат убились.

— Ну, тебе не пристало, старому тарбальдину (беркуту) бояться, — с упрёком сказал архимандрит, — Господь сохранит, наш Великий Господь, Которого милость с тобою будет... Ты

должен потрудиться для него, Павел... Тебя, ведь, Павлом зовут? Помню, три года назад крестили... Так, ведь?..

— Так, так, абыз, так, так... Я с тобою не раз ездил в Тюдралу, помнишь?..

— Ну, вот, видишь, голубчик, и сегодня ты нас проведи. В восемь выезд назначен, покорми коня и в путь... чего же бояться? Дело Божие! Христос ангелам своим заповедает, и на руках возьмут нас, да никогда преткнем о камень ногу свою. У меня спутники смелые; диакон, толмач, о. Антоний и о. Константин.

— Ты что — за мною?.. Легок на помине, — обернулся он к вышедшему на крыльцо священнику, — про вас говорю ему.

— Им и пропасти, и тропы знакомы, Павел, чадо наше новокрещённое... Согласен?.. — Ну, уж, ладна, — неуверенно протянул Павел, — только выюки маленькие пусть сделают... узко... Да крепче оседлать надо лошадь... ох, плокая дорога!

— Ладно, ладно, — уже из комнаты крикнул ему архимандрит, — чай пей сейчас, да погоди, — пошлю сахара и сухарей тебе... о пути не думай...

И повеселевший с улыбкой вошел в комнаты.

— Ну, вот, — обратился он к спутникам, — и тропу нашёл, прямую тропу, други мои... Чай вам тропы не страшны?! Подумайте, экономии будет на ней 130 верст, а ждут там как нас!.. Право, у меня на душе праздник...

— Спасибо тебе, о. Константин, что ты мне Павла добыл.

Миссионеры: молодой о. Константин и иеромонах Антоний, конечно, не заговорили об опасности, а у веселого диакона разгорелись глаза: он любил опасности, любил алтайские тропы и трущобы: недаром он родился тут и вырос, и недаром его начальник шутливо называл его «природным» миссионером.

О. Константину были знакомы горные тропы по карнизам бомов, и его сердцу на минуту стало тревожно: вспомнились детские головки, мелькнуло в глазах лицо жены, но он отогнал мысль об опасности, помогая совершаться быстрым сборам.

III

Дорога была особенно красива. Поднимаясь в высоту незаметно по руслу реки, она уходила в вечно зеленую трущобу

из-под сводов леса на скалистые уступы, с которых открывался восхитительный вид на вспененную, ещё полную после дождей, реку в долине, где гомонили птицы, и ласковое солнце заливало купы чернолесья, подбравшиеся к воде. Эти долины чередовались одна за другую и уходили глубже вниз по мере постепенного подъема. Сосны тоже стали уходить вниз из объекта зрения путников: их заменили кедры, глубоко запускавшие среди скалистых пород мощные корни, пошла пихта, а потом только аржан или вереск стлался по камням на пути сравнительно небольшой кавалькады.

Павел на крепком сером иноходчике ехал впереди, за ним диакон, два проводника с выночной лошадью, о. архимандрит и иеромонах Антоний, его брат, спокойный и серьёзный человек, привыкший к Алтаю и его опасным дорогам, и, наконец, о. Константин, за которым ехал ещё один из сотрудников миссии.

К полдню забрались высоко.

Зелёный Алтай остался под ногами: тут было царство скал и вереска, да ещё травы, высокой и крепкой, цеплявшейся за каждую горсть земли среди камней.

Вид отсюда открывался обширный: стройными силуэтами рисовались на синем небе горные гривы; точно волны зеленого моря, изгибами тянулись по ним леса, сверкали ленты рек и вечные снега белков искрились и лучились на солнце.

Дорога была неудобна, трудна, но опасностей особенных не было, и лошади шли ходко, преодолевая расстояние.

Архимандрит шутил, равняясь с которым-нибудь из путников, когда горная площадка позволяла делать это.

– Великолепная дорога. Отмахнем в жару, а ночью будем на месте. Отдохнуть бы нужно дать сейчас коням, да пророчит Павел, что опасные места надо пройти до сумерек... Кони крепкие, выдержат.

И оглядывал всех веселым взглядом.

О. Антоний ехал без разговоров, по обычаю углубившись в созерцание дикой красоты, созданной Творцом, а отец Константин был задумчив, тоже пристально глядываясь вперед, где из-за поворота надвигалось на них ущелье узкой долины.

Лошади начали забираться всё выше и выше.

Архимандрит на последнем широком откосе сказал о. Константину:

– Ты что-то мыслишь, отче?..

– Мыслю о многом, отец архимандрит! – ответил о. Константин.

– Небось, страхи себе представляешь, на утёсы глядя? – указал архимандрит вперед.

– Страха нет, – просто ответил миссионер, а только, отец мой, хорошо миссионеру-монаху перед опасностью: ему не вспомнятся маленькие ручки детей, которые к нему тянутся, и умоляющие глаза жены-подруги.

– Ты прав, – кивнул головою архимандрит, – тебе тоже испытывать опасности приходилось, но Господь – наша помощь... не думай о семье, а мысли о деле... Смотри, как путь укоротили и на красоту Божию любуйся... Что это там в низине, среди леса трепещется белое?.. Господи! Вот – слепой – водопада не разглядел... Словно птица мечется...

– Гляди-ка, диакон...

– Эй, эй! – кричал Павел, уже обогнувший изгиб горы, – осторожно нада – тропа под солнцем не обсохла... Тише... одна за одной... одна за одной...

Все невольно улыбнулись этой оригинальной команде и потянулись друг за другом в прежнем порядке, вступая на каменистую тропу.

Из низины потянуло сыростью. Солнце из-за высокого горного массива, точно срубленного в половине к низу» освещало только часть глубокой долины и противоположные горы, оставляя в тени и поток, чуть слышно гремевший внизу, и тропу, с которой веяло прохладой.

Лошади как-то подтянулись и мерно гулко застучали копытами по камням.

Задним иногда было видно передних, и невольно кружилась голова при взгляде на эти фигуры, лепившиеся у холодной каменной громадной стены, которой, казалось, не будет конца.

Путешествие тянулось благополучно.

– Вон, – говорил Павел диакону Ландышеву, – маленько, и ладна будет – шире и к спуску пойдёт... Ишь, шире стает кое-

где... Худое место это.

— Чего худого? — с некоторой долей разочарования сказал тот, — жутко глядеть вниз и только.

Но он словно напророчил.

В конце каравана кто-то вскрикнул. Послышался глухой стук, и что-то большое сорвалось с тропы, сметая выветрившиеся камни за собою.

Проводник издал короткий характерный крик: — Калак! (тошно).

И бледный диакон, забыв об опасности, поднялся на стременах, широко открытыми, полными испуга глазами глядя туда, в низину, где щелкали камни, и хрустела поросль под чем-то большим и тяжелым.

— О. Константин! — слетело с губ архимандрита, моментально оглянувшегося назад.

Он остановил лошадь и свернулся с нее к стене с мертвенно бледным лицом, даже глаза закрыл на минуту, чтобы открыть их для ужаса.

Испуганный проводник шашился на тропе около выночной лошади. Сзади него виднелось тоже испуганное лицо сотрудника миссии, а о. Константина и его большую сивую лошадь точно смело с тропы.

Какое-то изнеможение охватило сердце архимандрита. Он опять закрыл глаза на миг, и из этой мгновенной тьмы к нему потянулись крохотные детские ручки малюток отца Константина.

— Вперед! — командовал Павел, — очищай дорогу... там свободнее... Эй-эй, убился он.

Диакон тоже спешился.

И все они с ужасом глядели вниз... Вдруг разом облегченно вздохнули.

— Веревку! Чумбур! — послышался взволнованный голос архимандрита, — скорее.

— Подержись, о. Константин... вот, теперь берись: держим крепко.

И благодарным взглядом на миг взглянул на небо, склонившись опять над пропастью, в которой, держась за кустовидную траву, висел о. Константин, бледный, но спокойный

тем странным спокойствием, которое охватывает человека в минуту гибели.

И за чумбур он взялся, не торопясь, осторожно и так же неторопливо хватался за камни, помогая себе, только на минуту отдавшись слабости, когда его вытянули на тропу; эта слабость заставила его закрыть глаза и голову упасть на грудь, но опять это только было на минуту.

– Слава Богу... сохранило... Как это случилось? – спрашивал всё ещё бледный архимандрит. – Ну, о. Константин, хороша пословица: «смелым Бог владеет», но видно Писанию лучше следовать и хранить, не искушая Господа, жизни ваши... Лошадь, видно, твоя поскользнулась?..

– Поедемте, отец мой, за полдень уж... пойду я пешком: минуем место это... – попросил о. Константин, – я расскажу там... Лошадь, вот, бедная разбилась, и не видать её в глубине.

Они скоро прошли конец тропы, и архимандрит свободно вздохнул на широком повороте.

Тут, немного ниже, расположились отдохнуть.

О. Павел и один из проводников вызвались спуститься козьей тропой к воде и снять с лошади седло. Диакон порывался идти с ними, но его остановили.

О. Константин был немного бледен и жалел лошадь, невольно закрывая глаза.

– Сам себе отчета отдать не могу, как это случилось, – говорил он, – у вьючной что-то порвалось – ремень какой-то, задержал её проводник... словом, без предупреждения, неожиданно остановился, ну, а моя следом за лошадьми шла, невольно попятилась и скользнула нога... тропа не просохла – скользкая... Миг был – не помню, как я из стремян ноги выпустил... крепкие кованые стремена и гладкие: нога свободно в них была; видно Господь по слову Вашему, о. архимандрит, ангелов послал охранять нас... Видите – не погиб: куст – трава крепкая в руки скользнула – не помню как... жив помошью Божией, вот, лошадь бедная... Боюсь я опять за тех, что пошли: не сорвались бы – скалы сырьи, скользкие.

– Не бойся: пешему охотнику в скалах не страшно, да и много ниже тут, – успокоил его архимандрит, – ведь время-то с

полчаса прошло после случая... Вон они высоко стены горные, а тут просторнее – долина... солнце уже к вечеру, а, смотри, всё почти светом полно. Кони наши сами шагу прибавили на спуске... Ну, а я этой тропы более посмотреть не желаю: слишком большую жертву за её чуть не пришлось отдать... Не ушибся ты, ничего?.. Ну, слава, Богу, будешь помнить путь наш короткий.

– Где у нас диакон, о. игумен?

Помогавший разводить костёр о. игумен быстро огляделся и невольно улыбнулся:

– Ушёл по тропам: недаром он в Алтае родился... Не бойтесь, о. архимандрит, тут уже, говорят, не опасно.

– Ах, ослушник... ах, вольница!.. – ворчал архимандрит.

Но его глаза привлекла картина, открывшаяся отсюда.

Теперь река поворачивала к западу, и солнце, уходившее туда же, золотило её волны, покрытые беликами у камней.

Живописные и причудливые поднимались над нею горы, тянуло свежестью. Особенно ясны были контуры гор на эмалевой синеве неба и чистые абрисы с вечными снегами уже недалеких вершин.

Таким величавым миром веяло тут.

Глаза архимандрита стали особенно мягкими и добрыми: диакону не грозил уже выговор: его спасла красота алтайской глуши.

А там выше, в теснине, под навесом огромного многосаженного бома два инородца снимали с мертвой белой лошади седло, переговариваясь между собою:

– Ишь, спина переломана... Ой, ладно абыз успел траву схватить, ладно... голову бы расшиб, кости расшиб и в реку – вон она какая!

Молодой диакон, пробравшийся к ним, большими голубыми глазами, полными думы, глядел то на мрачный утёс с карнизом на высоте, где час назад лепился они без страха, как горные козы, то на метавшуюся между камней реку, над которой на острой скале лежал труп лошади, скользнувшей сюда с кручи. Его сердце охватила невольная жуть при мысли о том, кто мог бы лежать тут, если бы не совершилось чудо. И к нему, глядясь в

его мысленные очи, потянулись крохотные ручки, и зазвучали умоляющие голоса, но он только печально улыбнулся.

– «Им ли – миссионерам – с их орлом можно было думать об опасностях? Ведь, для них они и пошли сюда все – и сам он – архимандрит, и они – о. Макарий, о. Константин, все, все, потому что слишком много было дела, высокого и великого дела; для спасения тысяч, что значили их жизни? Ведь, недаром же они все были призваны на служение этим прекрасным горам и тихим людям!»

– Эй! – бодро сказал он, – скорее кончайте и до становища: о. архимандрит живо снимется, как только вздохнут лошади.

– Постой, не торопись, молодой абыз... Ехать сгоряча мог, а теперь ему отдых надо! – сказал степенно Павел.

– Вон чего задумал, да он нас на коне ждет. Живо надо торопиться: мы не женщины, чтобы хворать от того, что смерть в глаза заглянет... Он не такой.

И пошел быстро по тропе туда к каравану, а за ним торопливо потянулись инородцы с седлом.

– Ну, вот, и пути конец. В сиянии звёзд перед зарею дело начатое поутру совершаем, слава Богу! – сказал архимандрит, когда перед ними в покое ночи показалось селение Онгудай.

– Ты перенес только много, о. Константин... Да, Господь тебе это в книгу подвигов твоих, незаметных для людей, впишет.

– Тогда он впишет туда, отец мой, и ваш страх за меня! – тихо сказал священник, – и заботу всех: она выше моей невольной оплошности.

– Ну, и аминь, пусть будет по-твоему! – мягко сказал архимандрит, – мне хорошо думать, что вы, такие труженики добрые, – силы мои иные... Слава Богу, миссия не угаснет с вами!

И он был прав, этот смелый проповедник Божьего слова, потому что их было много таких, как он, не знавших страха, любивших всею душой своё дело, свою паству и свой прекрасный дикий край, которому несли и отдавали они свои молодые силы.

В мёртвом аиле

Памяти архиепископа Владимира Казанского

Больше сея любви никтоже имать,
да кто душу свою положит за други своя.
(Ин. 15: 13)

У подошвы замыкавших долину гор серебристою полосою начиналось озеро, звёзды в высоте темно-синего неба казались больше и прекрасней, а быстрый Чолушман, словно радуясь тишине и покою, с тихим шумом нес в Телецкое озеро свои бурные волны.

Около большой юрты, построенной из бересты и кольев, сидело несколько человек; они разговаривали... Среди гортанного говора инородцев порою слышалась русская речь, и ясно раздавался среди тишины звучный голос, то говоривший по-русски, то произносивший слова на алтайском языке; что-то убедительное было в раздельно и ясно произносимых словах, так что внимательно слушавшие алтайцы даже вы нули трубы изо рта и жадно следили за рассказом.

Луна поднималась всё выше и выше, залила долину целым морем серебристых лучей, легла мягкими тонами на траву, деревья и кустарники и ясно выделила из темноты фигуру говорившего человека. Это был монах, с лицом уже не первой молодости; волосы на его голове, волнистые и не особенно длинные, обрамляли белый высокий лоб, а глаза – большие, карие, взглядывали ласково и участливо поверх очков на слушавших его дикарей.

– Вот ты говоришь, бачка, что Бог добрый... Все видит... Всем помогает! – начал один инородец после минутного молчания, наступившего за окончанием речи миссионера, – а, вот, в аиле, у дальних сопок, люди с голода мрут: скот пропал, крут, пыштак – нету... чегень тоже... курмачу купить – денег нет... толкан – вышел... а Бог не видит, не поможет!..

– Где это, ты говоришь?

И взволнованный миссионер быстро поднялся.

– Вот неразумные! Да что же вы мне давно не говорите?!

– Ну, о. диакон, собирайся скорее! – обратился он к блондину с веселым молодым лицом. – Буди толмачей... Где-то они?.. Распорядись, чтобы лошадей седлали и скорей туда!.. Съестное – что есть – с нами заберем!..

– Далеко это? Опять обратился он к инородцу. – Ты собирайся, неразумный! Вот видишь – Бог то тебе и внушил сказать, что они там голодают, а ты молчал... значит, ты и вина тому, что помочь к ним не шла во время... Ну, а скажи мне – почему вы сами-то не увезли им ничего съестного?

– Боялись, бачка! Я нечаянно к ним попал... У них люди помирали... боялись, что и к нам хворь пристанет!..

Миссионер махнул рукой; он быстро прошёл за юрту, где в рощице слышались голоса и ржанье лошадей, и, в ожидании окончания сборов, присел на широкий камень и грустно задумался над тем, о чем он только что услыхал... Думал о тех, обреченных на смерть, оставленных всеми; думал о том, какие жестокие люди – эти дикари, в среде которых он прожил лучшие годы своей жизни. И тут же оправдывал их, этих диких детей природы, к которым привык, которых любил своим одиноким сердцем. Цивилизованные люди, пожалуй, ещё более бездушно относятся к чужому горю, чем эти бедняки. Мало по малу он забылся, подавив в себе овладевшие им мысли, как он всегда делал в случаях, когда понимал, что нужно дать покой усталому телу, и уснул тут же, на камне, прислонившись спиной к дереву и склонив начинаяющую седеть голову на грудь...

Луна, осыпавшая землю щедрыми лучами, как будто желая дать ему покой, не пробивалась сквозь густую листву дерева, прикрывшего его лицо своими ветвями; однообразный шум водопадов заглушал шум в рощице. Он спал, как дитя, и его лицо дышало тихим покоем.

Диакон, искавший его около юрты, наконец, нашёл его здесь, хотел разбудить, но раздумал: ему стало жалко будить его, да и самого усталость морила и, сходив в рощицу, он сделал там какое-то распоряжение; потом вернулся к спящему с волосяной веревкой от седла, окружил этой веревкой камень, на котором спал миссионер, обезопасив место от змей, боящихся запаха пропитанной конским потом веревки, и сам прикорнул тут

же, на другом конце камня, положив руку под голову. Несколько минут он смотрел на небо, на горы, слушал шум водопадов; но всё это скоро исчезло из его слуха, и он уснул крепким, молодым, здоровым сном.

Утро встало чудное, росистое, ясное. Деревья как-то приветливо трепетали свежей листвой. Птицы пели, чирикали неумолчно. Стучали дятлы в глухой, непроходимой тайге... Цветы раскрывались, полные росы, а Телецкое озеро, приливая, шумело, набегая на берег и облизывая прибрежные скалы. Никакой драмы не отражалось в настроении природы...

По едва заметной тропинке, поматывая головой и позывая удилами, осторожно и ровно ступали маленькие алтайские лошадки одна за другой; молчаливо сидели всадники, любуясь окружающим, и только проводник что-то бормотал по привычке алтайцев, пел или скорее говорил обо всем что попадалось на глаза, сам себе на своем странном языке.

Местность становилась ещё более дикой; тропинка вилась вдоль бурной и широкой реки, несшейся с камня на камень, и уходила вглубь гор, постепенно подымаясь; лошади прыгали через старые деревья, упавшие на нее, скользили по скалистым откосам, лепились на узеньких карнизах бомов.

Всадники задумчиво смотрели на эти дикие и величественные картины, развертывающиеся перед их взором; редко кто словом перебрасывался!

В полдень остановились в холодной котловине, сжатой со всех сторон скалистыми уступами; напились чаю из котелка, дали передохнуть лошадям, поели и опять двинулись... К вечеру проводник обещал довести их до цели. Миссионер беспокоился и подгонял коня; он ещё утром, проснувшись, расспросил хорошенъко инородца о голодающих в аиле, узнал время, когда тот их видел; оказалось, что с того времени прошло уже 2 недели.

Вот и аил. Три-четыре юрты белелись на небольшой полянке; ни одна собака не залаяла при приближении путников. Мертвое и тихо было кругом, только лес шумел листами, под поднявшимся к вечеру ветром.

Миссионер, завидев юрты, стал ещё нетерпеливее; он быстро соскочил с коня и торопливо пошел к ним, точно пешком он скорее мог достигнуть до юрт. Другие тоже спешились. Входные отверстия юрт в наступающих сумерках казались страшными: «что-то там, за ними?» Диакон опередил миссионера и исчез в одном из отверстий... вслед за ним и другие... Нашли двух мертвцевов и одну умирающую женщину; она попросила пить и указала слабой, исхудалой рукой на следующую юрту:

– Там – дитя!

Оставив около больной двух человек, они пошли туда; там они нашли умирающего старика и девочку лет шести, исхудалую до ужаса, но живую и даже не больную; ею занялись сейчас же. В третьей – никого не было: люди ушли из нее, должно быть... А в четвертой, в берестяной люльке, отчаянно, жалобно надрываясь, плакал крошечный ребенок, а рядом на полу лежала мёртвая мать; рука её была приподнята и так и застыла, протянутая к ребенку; грудь открыта; она, и умирая, хотела, видимо, подняться и накормить ребенка каплями молока, оставшимися в её истощенной груди.

Все стояли взволнованные, подавленные; тяжелое чувство безграничной жалости и печали охватило всех.

Монах-миссионер нагнулся над колыбелью; на него глянули светлые глазёнки; ребенок, обрадовавшись живому лицу, перестал плакать, и вдруг крошечный ротик улыбнулся, маленькие ручки протянулись к нему.

Миссионер взял его на руки. Это была девочка-язычница месяцев десяти, крупная и здоровая, хотя похудевшая и, видимо, страшно голодная; она всё понимала и не шла ни к кому кроме полюбившегося ей монаха... Он улыбнулся этому капрису и, завернув ребенка покрепче в своё дорожное одеяло, сел с ним около разведенного костра. Толмач размочил сухарей в вскипевшей воде и накормил обоих детей. Все занялись хлопотами: кто ухаживал за больными, кто хоронил мертвых... Женщина, покормленная и заботливо уложенная на мягкую подстилку, слабым голосом рассказывала о том, как они голодали, как все, кто мог и был здоров, разбрелись в поисках

пищи, а они, ослабевшие, не смогшие уйти, остались умирать... Сиротки заснули, одна на руках миссионера, другая, прикорнув возле него, на разостланных кочмах и чердеках.

Небо покрылось тучами, и только редкие звёзды мигали в просветах этих туч; ветер колебал пламя костров, и люди, ходившие около них, казались какими-то странными существами при свете колеблющегося пламени. Лицо миссионера было печально; он с нежной ласкою смотрел на лежавшего на коленях ребенка, крохотная ручка которого сжимала палец его руки: девочка и во сне не отпускала его; чувство горячей нежности закралось в его сердце к этому осиротевшему ребенку; он думал об её судьбе, об её будущем. Иногда взгляд его добрых глаз останавливался на другом лице, и печальная улыбка пробегала по губам...

– «Никого не было» – думал он, – «один был, и вот – две жизни, две заботы... бедные... бедные!»

И склоняясь к крохотному лицу, миссионер тихо поцеловал теплый лобик маленькой язычницы...

На Телецком озере

Памяти архиепископа Владимира (г. Казани)

Переплетаясь над озером, тихо дремала поросль, поднимавшаяся до тёмных сосен и могучих кедров, широко раскидавших ветви над скалами.

Озеро нежилось в тихих берегах; солнце, проникая в воду, золотило камешки, казавшиеся прекрасными в воде, странные, пористые камешки. А у самой воды зацветали стебли лука; камыши и папоротники переплелись с крыжовником, опускавшимся к ним с уступов, с крушиной, ольхой, черемухой и смородиной, которых теснили и гнали к озеру лесные владыки – сосны и кедры, заполонившие верха.

Узенькие листы барбариса и алые цветы шиповника зеленели и алели среди более темной листвы других пород, а скалы, выступая из них, то белели породами мрамора, то выставляли зелёные яшмовые выступы, то розовели или плитами серого мрамора тянулись к свету.

Земля выставляла на солнце своё богатство, и редкие путники с восхищением смотрели на эти девственные, века, стоявшие нетронутыми, берега. Водопады гулко шумели, стремительно падая с уступов, и нежные красавицы козы прекрасными умными глазами глядели на озеро из-за стволов родного леса, а горы поднимались одна выше другой; оснеженные, точно покрытые на вершинах покровами, они уходили в небо, и облачка курились на них, как дым кадильный на жертвеннике Создателя мира, в благодарность за созданную Им красоту.

Так казалось красивому старику в одежде священника с карими умными глазами, глядевшими поверх очков на эту пролесь в чудное июльское утро из слегка качавшейся по легкой зыби озера большой лодки, в которой гребло 12 алтайских гребцов. Старика окружали два священника, молодой голубоглазый диакон, два-три певчих, келейник, толмач и ещё один господин, видимо не принадлежащий к духовному миру. У него было доброе умное лицо, и он тоже любовался на красоту, открытую перед ними.

– Да, – продолжая начатый разговор, сказал священник, – вот тут мы с тобою, диакон, помнишь? Едва не нашли конец себе.

– Вы себе представить не можете, голубчик, – обратился он к господину, – как эта красота в бурю меняется! А мы, миссионеры, видали это место зимою в декабре. Печально оно и страшно, мой друг.

Он даже закрыл глаза, представив себе этот чудный Божий мир оснеженным и мёртвым.

– Зелень вся трауром кажется, – после минуты молчания начал он опять, – а озеро с берегами белыми – бездонной полыней; глубина, ведь, страшная тут... бездонная глубина!

– Помнишь, дьякон?

Дьякон кивнул головой и ушёл на нос, заглядевшись на дали.

– Жили мы с ним в Кебезени. Миссионер местный уехал: болен был... пути – последние, и пришлось нам с дьяконом его заменить: не отрывать же от стада пастыря? Живем в глухом тиши: дьякон мой тосковал тогда: малютку схоронил единственного, жену к родным увёз и весь в дело ушёл, от тоски спасаясь... И в один день холодный приехал к нам инородец, натерпевшийся голоду и холоду, и доложил, что послан из монастыря Чулушманского: «отец-де игумен умирает и причаститься пожелал!»

– Как, говорим, пробрался?

– Да всяко, говорит, страшно... на лодочке плыл и берегом четыре дня... И решили мы тоже пробраться: не бросать же было старику, кончившего жизнь, без последнего утешения? Берегом да водою, только бы буря не хватила... Дьякона я с собой взять побоялся, но он мне в ноги упал: «Возьми, о. архимандрит!» Ну и взял... Не стал противиться... Признаться – рад был спутнику такому... труден путь тут зимою, но всё ничего: подвигаемся... верст 40 до ночи проехали. Заночевали в палатке. Но с ночи ещё ветер подул снизу. Я смеюсь: подгонять нас будет! а проводник хмурится... угрюмый стал. Едем, значит, у озера – страшное, черное выскакивает на лед, бьется... Снег обдаёт водою... Хлестнет такая волна из пучины и лед расколет силой

удара могучего. Мы дальше ехать старались от воды... К полдню снег пошел, глаза слепит, ветер воет ужасный, и точно из пушек стреляют – это от тяжести волн лед трещит! Проводник с лошади слез: дорогу ищет к камням прибрежным... О дальнейшем пути мы мысль покинули; в уме только и на языке, где бы бурю переждать. А кругом – рев, свист... ужас. Внезапно всё это покрыл ужасный удар... Ну, думалось мне, что гибну я, и, крикнув заглушено, я схватился за шею упавшей лошади. А среди хаоса и ужаса и я, и дьякон, и проводник увидали, что перед нами поднялась черная стена и обдала нас холодными брызгами, а лед заколебался под ногами. Проводник дико вскрикнул: лошадь его ухнула в раскрывшуюся бездну и тянула его за собой, а он в паническом ужасе не мог распутать повода, врезавшегося ему в руку. Помню, как дьякон выхватил нож дорожный и, бросив лошадь, подполз к самому краю льдины, у которой, обливаемый черной водой, бился проводник; несколькими ударами ножа он обрубил повод и освободил руку проводника, а лошадь обрушилась в пучину. Теперь он вел нас просто по инстинкту, всё прямо, повернув от разверзшейся бездны; и мы-то шли ползком, то, поднимаясь, брели среди слепившего глаза снега и треска льда, а лошади тащились за нами. Как он не потерял голос, бедный! – кивнул архимандрит на дьякона, – кричит: «Сюда! сюда!..» а мы за ним, как овцы за проводником! И – вывел: из тьмы прямо на нас точно надвинулась огромная скала берега, нависшая вон там, смотрите... видите эти щели, голубчик, глубокие, промытые водою? Они хорошо укрыли нас от непогоды. Тут и проводник опомнился... Набрали хворосту много и грелись у костра... помню это пламя, то взвивавшееся к небу, то почти утихавшее и стлавшееся по льду. Уснуть мы боялись, боялись разбить палатку, голодом и холодом проведя эту ужасную ночь. А когда мы засыпали, дьякон будил нас, зная, что сон – наша гибель. Видите, человек он не большой и не сильный, а сила его, голубчик, в сердце смелом была.

– Слышишь, дьякон, я говорю о чьем-то смелом сердце?

Тот потупился и загляделся на скалы берега, точно был виновен в чем, а архимандрит тихо улыбнулся доброй улыбкой и

продолжал:

– Наутро точно и не было бури: ещё ночью унялась она... Снег только валил до утра; а утро встало ясное морозное, и чудно было глядеть, где вчера бездны были, пучина открытая – всё льдом затянуло: зима мосты быстро кует. Путь свой продолжили мы, но о. Варсонофия в живых не застали: без нас упокоился он... Так, видно, суждено было от Бога. Отдохнули мы в монастыре и назад пустились, схоронив его. Но часто мне снится эта буря зимняя, и, не поверите, друг мой, иногда просыпаюсь я и кричу: «ах, дьякон, дьякон... погибаем!»

– А вы, отец дьякон, видите сны такие? – спросил спутник архимандрита, смотря на молодое, спокойное, симпатичное лицо.

Тот поднял глаза, выпуклые, ясные, голубые, и они загорелись смелостью.

– Не подумайте, что лгу, – сказал он просто, – я люблю такие бури, люблю и не боюсь ни капельки, ни обвалов горных, ни бурь, ни гроз; ведь всё это ничто, если нет воли Божией на смерть твою; а воля Его есть – не удержишься. Детей как бережем, жизни, кажется, не жалеем, а они уходят. И ещё бы перенес бурю такую – на дикую природу поглядел.

– Вот и поговорите с ним. Душа мятежная! – опять усмехнулся архимандрит. – Ну, а я стар, и не хотел бы испытать того ужаса. Лучше, вот, на мир этот, на красоту любоваться.

И он загляделся ясными темно-карими глазами на скалы и на горы, на темную зелень берегов, и на спокойную рябь Телецкого озера, на которое солнце, склоняясь к западу, клало золотистые тоны, оттеняя темные выступы берегов и ленты водопадов, летевшие с круч в бездну этого небольшого, но бурного озера.

Памяти Архиепископа Владимира

Тихий летний вечер, после знойного дня, представляется нам. Солнце уже скрылось за горным кряжем Алтая, сплошь одетым разнообразною хвоею. В узкой долине разбросан калмыцкий аил, несколько юрт и избушек; а близ них – убогая деревянная церковь. Горные мохнатые вершины тесно окружают аил; вечернею зарею окрашены они в розовый, голубой, синий, фиолетовый колеры; а долины уже «полны свежей мглой», прозрачной, насыщенной ароматом хвои. Вечерние тени в горах не поддаются описанию, а шум и рокот горных вод ласкают слух. Вот по синему небу, необыкновенно глубокому, проплыла одинокая тучка; вот, из-за нее блеснула бледная звёздочка; ещё и ещё – над горой засверкала. Вот, над вершиной огромный, матово-желтый круг полнолуния медленно поднимается из могучего, девственного леса. Мягкий, протяжный, приятный звук по ущелью пронесся, и полилась серебристая песнь православного коло кола по долинам Алтая... Чу! Слышно пение. Православная семья «дикарей», на родном языке своем, дружно поёт песнь Сотворившему вся. – «Е тыным, Каанды алка. Е Каан Кудаим, Суреенду улу Сен еден»...³² Напев чрезвычайно прост; но что же так неотразимо заполняет и слух, и сердце? «Дети природы» поют: душа их поёт хвалу Господу; религиозное чувство простые сердца переполнило; от избытка сердца льется гимн Вседержителю... Истинно, как бы из уст младенец – хвала сия... И язык их – чисто детский, неподражаемый; и детскими очами смотрят они на изображение нас ради Распятого, на твердь небесную, чудное творение Его; и нет теперь в душе их капли сомнений: там одна чистая, детская вера... «Тулар аралап сулар агат... Тулар бажинда сулар турат... Е Каан пудургенин кайкылу»...³³ Они хорошо понимают слова Псалмопевца. Чудный купол нерукотворенного храма Божия над ними и в глубине его лампады теплятся велением Божиим... «Э ончозын иайаган Каан, Саа алкыш иессин»...³⁴ Не вместил убогий храм, деревянный и ветхий, молящихся; у стен его, на лоне природы, совершается вечернее богослужение; едиными

устами, единым сердцем славословие поют Всевышнему людители...

И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой...

Кто научил и вразумил вас, дети Алтая? Кто приблизил, кто, на рамо восприми, ко Христу принесе вас, идолоислужителей? Кто эти блаженные ³⁵ чудотворцы, муки духовного рождения вас восприявшие и лучами доброт своих страну сию озарившие?.. Все они десницею Божией вписаны в сердца ваши и память их—в род и род.

Вот один из них, как месяц ясный среди ярких звёзд... Почти двадцать лет вещал он Алтаю глаголы живота вечного. ещё на пути сюда горело сердце о. архимандрита Владимира любовью божественною; обильными слезами оросил он начало пути и трудов своих апостольских, напутствуемый молитвами и благословением старца праведного, великого святителя земли русской Иеремии, в Нижнем-Новгороде... А прощаясь с Алтаем последний раз, он (уже епископ Ставрополя-Кавказского) рыдал на горнем месте Улалинского храма... Немалое число лет миновало после того, как оставил он управление миссию, а заботы о ней не оставляли его, и душа его болела не только за весь Алтай, а и за каждого алтайца. Он всех и каждого носил в любвеобильном сердце своем отеческом до самой кончины своей.

Но пусть лучше сам святитель свидетельствует о сем. Обремененный трудами новой епархии, недугами своими, летами преклонными, не может он оторвать изумительной любви своей от далекого прошлого. С Кавказа слово его, сильное, святое, любви полное, течет на Алтай; епископ пишет письмо к обыкновенному горцу, инородцу, тем только и знатному, что из идолопоклонства приведен он в ограду Христову...

«Возлюбленное чадо моё о Христе, Сергей Павлович!

Посылаю тебе, во имя Пресвятой Троицы, три рубля. Хотя этот дар мой и ничтожен, но ты, зная, что я посылаю его в знак своей любви к тебе, примешь этот дар с великою любовью и благодарностью.

Подумай же, чадо мое, рожденное мною в святой купели крещения, подумай, сколько большею любовию и благодарностию должна быть всегда исполнена душа твоя к Отцу Небесному, к твоему Спасителю – Сыну Божиу, Иисусу Христу, к твоему Освятителю – Духу Святому, ко всей Троице Единосущной, во имя которой крещен ты от меня в водах Чолушманских.

Когда был ты мал, то крещению своему радовался по детскому разуму, именно потому, что «абыз» тебя взял на своё попечение, что ты, поэтому, не останешься раздет и голоден, что отчим твой не будет уже тебя бить немилосердно за горсть курмача, потихоньку съеденного. Но теперь ты уже, по Милости Божией, человек взрослый. Думал ли ты, друг Сережа, о той бесконечной любви, какою возлюбил тебя Господь? О тех несказанных милостях, о тех величайших дарах Божиих, какие тебе дарованы? О том особенном попечении промыслла Божия, какое Господь показал тебе? Думал ли об этом хорошенько, и проникалось ли сердце твоё живейшею благодарностию, горячайшею любовию к Небесному Отцу твоему? Пора, пора, милый мой, стать мужем, совершенным по разуму и по сердцу. Не укоряя тебя, сие пишу, а как чадо моё возлюбленное тебя наставляю на добро и о добре Божием тебе напоминаю.

Вспомни: кто ты был и чем ты стал? И чем все милости Божии заслужил? Когда подумаешь, то согласишься, что ничем, что всё тебе дала даром Божия любовь.

Родился ты в пределах Китайских, от отца язычника, и темного, и нищего. Если бы обстоятельства отца были не дурны, то самое лучшее было бы с тобой только то, что ты остался бы жив и вырос здоров; но и ты, как отец твой, как вся родня твоя, как все твои предки, до последней минуты земной жизни своей остался бы темным язычником, идолопоклонником, а по смерти пошел бы туда, куда, как знаешь теперь, идут души всех некрещеных. Не говорю о том, что земной свой век прожил бы ты кочевым соенцем, не только не видел бы, но и не слышал, как живут люди добрые, народы просвещённые; заботился бы весь свой век только о хлебе, то есть как бы сытым всё быть, а ни разу не подумал бы о небе, о вечной жизни; одним словом был

бы получеловек, полуживотное неразумное. Но, ведь, и сего мало. Ведь, ты родился, когда на родной твоей земле был голод великий; когда и у достаточных людей не доставало пропитания, тем паче – у твоего бедного родителя; когда не только в аилах, но и по дорогам валялись без призора трупы соенцев, умерших с голода...

Страшное было время. И вот, однако ж, Господь устроил так, что ты со своею матерью и по смерти своего отца не умер с голода, остался жив. Мать твою почти задаром купил чолушманец, чтобы продать с барышом дома. Видно, он не был жестокий человек, позволил матери твоей взять тебя с собою, а не бросил в Соенах на съедение собакам (там всегда это бывает). И вот ты, Божиим промыслом, как Авраам из земли халдейской в землю обетованную, на руках матери принесен из темного Китая в светлую, святую Русь... Думал ли ты, размышлял ли ты об этой милости Божией к тебе, дорогой мой Сережа? Упала ли когда-нибудь, при мысли об этом, из глаз твоих слеза благодарности к Богу? Падал ли ты, размышляя об этом, падал ли когда на колени перед Богом, столько тебя возлюбившем, так тебя пожалевшим, от голодной смерти тебя избавившим?..

Но и тут не конец милостям Божиим к тебе. Главная ждала тебя впереди. Попади ты с матерью к какому-нибудь калмыку алтайскому, не бедному и не злому, он бы вскормил, вспоил и вырастил тебя, как сына или хоть кул-ошкош. Что вышло бы из тебя? Такой же, как и он, калмык полутик. Правда, когда стал бы ты большим, может быть, встретился бы с каким-нибудь миссионером, услышал бы от него раз-другой о христианской вере, о святом крещении. Но, слушая его, поверил ли бы ему? Послушался ли его? Мало ли на Алтае калмыков, десятки раз слушавших слово Божие и умирающих некрещеными? Могло случиться, что и твоё сердце с годами, с возрастом жизни твоей, ожесточилось бы, уши твои стали бы глухими, и ты, проживши много лет в земле святой, христианской, так бы и умер некрещеным язычником, а может быть – богопротивным камом. Но Господь, Милостивый и Премудрый, что с тобою устроил? Мать твоя досталась нищему человеку при Телецком озере,

нищему да и жестокосердому. Женившись на матери твоей, он не считал тебя не только сыном, но и человеком, а разве – собакой худой. Да и свою собаку порядочный человек жалеет больше, нежели тебя твой неродный отец. Давно это было, но я как сегодня вижу на твоем детском тельце раны и струпы от побоев этого жестокого и немилостивого калмыка. Как сейчас, вижу твоё детское лицо сухое, сморщенное, как у старого старика, со складками кожи на щеках, на лбу, под глазами, как у восьмидесятилетней старухи; только твои глазёнки ярко светились, с жадностью глядели, – где бы увидать что-нибудь съестное; вижу обрывки какой-то мерзкой шубенки на голых, грязных, никогда не мытых плечах! И что же? Ведь, онъи́й немилостивый человек был твой благодетель, он был орудием благости Божией к твоему счастью телесному, а паче – душевному, к добру временному, а паче – вечному. Его нищета, заставлявшая тебя голодать, его жестокость, заставлявшая тебя страдать, ведь, и навели тебя на мысль уйти от него и от матери твоей в хорошую землю, к абызу, креститься. И для этого Господь устроил дело наилучшим образом, послал за тобою не простого абыза, а самого начальника абызов, меня, грешного архимандрита. Ведь не остановись мы на том берегу Телецкого озера на короткое время, ты не спустился бы на берег, не уехал бы с нами, – и тогда еще, Бог знает, что с тобою было бы. А, ведь, тогда останавливалась на берегу том мне не было никакой надобности; я сделал это по просьбе Павла Дмитриевича Тренихина; ему надобно было видеться по своему торговому делу со стариками: Чоком, Маскачаком и другими пелинцами.

И, вот, ты, руками архимандрита и его о. диакона (Мих. Вас. Чевалкова), в первый раз от рождения (по свидетельству бабушки твоей, матери неродного отца), с мылом вымыт был в воде Телецкого озера, одет в белую новую рубашку, напоен чаем с сухарями, которых ты раньше не видал, покормлен и говядиной, которой запаха давно не слышал. – Помнишь ли ты это? Не забыл ли? Если не забыл, то размышлял ли о такой милости Божией к тебе, благо дарил ли от всего сердца за это Милосердного Отца Небесного?.. Думаю, что ты уже забыл; а я, Сережа, не забыл и, вот, сказываю тебе, как, сидя со мною

рядом на большой лодке, когда мы от Пели плыли к монастырю, ты что-то держал на коленях в рубашке и мне показывал. Это оказались сухари, тебе казаком Федоровым на дорогу данные. Тебе приказано без спросу не есть, и вот ты, хотя уже сытый, глядя на такое съестное богатство, спрашиваешь меня: «можно ли тебе это есть, когда захочешь?» Ответ получил: «можно», и в твоих глазах видна была мысль: «вот, дескать, какое время пришло: когда хочу и сколько хочу, есть могу». Без сомнения, не помнишь ты и это: когда мы садились в лодку плыть по Телецкому, ты увидал на берегу несколько зерен проса, просыпанного Тренихинным, при продаже пелинцам, схватил меня за руку и, указывая на эти зерна, как будто что дорогое, твердил: «тару!»... давая разуметь, что надо собрать, и услышал ответ, что у нас дома – больше есть.

А что всего важнее, что всего дороже, к чему тебя Господь и создал и к чему тебя из-за границы, из Китая живого перевёл, это совершилось на Чолушмане, при храме Усть-Башкаусском. Моею рукою грешною, юный соенец Козорок, в освященных водах Чолушмана, крестился во имя Отца и Сына, и Святого Духа, получил святое имя Сергий, сделался сыном Божиим по благодати, получил в святом миропомазании печати дара Духа Святого, а в церкви Усть-Башкаусской, Свято-Алексиевской, сделался причастником Тела и Крови Христовой, вкусили от источника бессмертного пищи небесной, стал наследником небесного царства, вновь родился чистым не только по телу, но и по душе, получил для себя от Господа спутником жизни ангела хранителя, а в Павле Дмитриевиче – второго отца, крестного. – Вспоминаешь ли ты, Сережа, об этих милостях Божиих? Об этих дарованиях любви Божией к тебе? Чувствует ли душа твоя благодарность Богу за эти дары? Чувствует ли сердце твоё любовь к Богу, твоему Благодетелю, твоему Спасителю, кровь Свою за тебя на кресте пролившему, ею тебя очистившему, от диавола освободившему, от козней и когтей камских избавившему?

Не ты один, – сотни многие крестятся каждый год на Алтае; но тебе, в сравнении с ними, больше милостей, больше любви

показано. Крещён ты был на Чолушмане; но не оставлен на Чолушмане.

Ты не помнишь, Сергей Павлович, а я хорошо помню разные случаи с тобою в Чолушманском монастыре. Укажу на один. Мне надобно было оставить вас в монастыре, ненадолго съездить с Михаилом Васильевичем на Улаган. Перед этим, наш бывший Козорок был весел, сыт, одет, приласкан; он ходил, заложа руки за спину, и пел стихами соенскими свою судьбу: как ему жилось хорошо при отце родном, как тогда стоил он доброго коня, как он при неродном отце стал ничего не стоить, как тебя стали обижать, бить, в голоде держать; как теперь тебе хорошо, ты уже никого не боишься, никто тебя не посмеет обидеть, иначе – ты абызу скажешь... И вдруг ты видишь, что меня провожают куда-то, я уже сажусь в седло; тебе показалось, что я уже совсем уезжаю, значит, тебя оставляю на прежнюю несчастную, беззащитную жизнь; ты схватился крепко своими ручонками за стремя седла моего, с детским криком и слезами, и ручонки твои замерли, так что едва-едва могли из них выручить стремя и успокоить тебя обещанием скорого возвращения моего. – Этот случай тебе рассказываю для того, чтобы высказать тебе желание моё и просьбу мою. Как ты крепко уцепился, было, за стремя мое, чтобы не разлучиться со мной, по твоему мнению, своим благодетелем и покровителем, так, друг мой, держись и паче того крепко держись верою и любовию Господа Бога, единого истинного Благодетеля и Покровителя твоего.

Помнишь ли, Сережа? Нет, не помнишь, что было, когда на возвратном пути ненадолго останавливались мы на том берегу Телецкого озера, где я взял тебя сперва, – Увидевши спустившихся сверху пелинцев, ты смутился духом, боялся, как бы они тебя не отняли, и всё время, пока мы тут были, ты всё около меня держался, тебе было не до чаю, не до еды. Затем, когда время наступило плыть, ты прежде всех забрался и засел в лодку, но всё ещё не совсем спокойный. Только уж когда я и все спутники наши вошли в лодку и она двинулась от берега, ты не только успокоился, но пришел в особенную радость, встал на свои ножки детские и, обращаясь к оставшимся на берегу пелинцам, держал им такую речь: «прощайте, кланяйтесь

матери, кланяйтесь ребятам (товарищам-сверстникам), скажите им, что я в хорошую землю поехал»... Затем Сергей наш уселся на носу лодки и начал с зажмуренными глазами интересное представление, на соенском наречии, как камы камлают. Представление было так картинно, переходы от медленного, тягучего пения стихов к быстрой болтовне так оригинальны, что все, бывшие в лодке, не могли удержаться от смеха; а гребцы-чолушманцы нередко бросали вёсла от смеха неудержимого. Кончив это занятие, своим этим насмешливым изображением язычества как бы навсегда распростившись с миром язычества, Сергей обратился мыслию и сердцем к миру христианскому, к той хорошей земле, в которую поехал, к царству Христову на земле, стал вспоминать те молитвы и святые слова, какие только он успел услышать и не забыть, то: «Э Каан Кудай Иисус Христос», то: «Э Каан кайрлагын» и тому подобное. Кто его всему этому научил? Я тогда думал и теперь думаю, что это душа, хотя детская, но святым крещением Божией благодатью просвещённая, хотела, сама того не ведая, воспеть, восторжествовать победу над темным миром языческим и выразить свою радость о вступлении в царство любви Христовой.

Рассказываю тебе, друже мой, об этом не ради того только, чтобы рассказать забытую историю. Нет, из сказанного особенно не забудь и часто вспоминай свои слова: в хорошую землю поехал. Тогда ты сам хорошенко не понимал, что говорил. Теперь ты вырос, понимаешь ли весь смысл этих слов? Понимаешь ли вполне, Сережа, насколько лучше китайской языческой земля русская, православная? Понимая это, ценишь ли вполне Божий дар? Благодаришь ли за это Бога-Благодетеля? Дышит ли, живет ли сердце твоё любовию ко Христу Спасителю, к церкви святой, к братьям-христианам? Жалеешь ли о своих единоплеменниках, остающихся до смерти и погибающих в бездне языческой, в служении Диаволу?

В хорошую землю поехал. Да, – в хорошую. Но есть ещё лучше этой. Где же? – спросишь. Там, куда вознесся твой и мой Спаситель, Господь наш Иисус Христос, куда Он тебя и всех нас зовет, где Он всех нас ждёт с любовию. Чтобы в ту «хорошую

землю» достигнуть, надобно приготовиться доброю жизнью на настоящей земле. Как ни хороша теперешняя земля, но всё же на ней встречаются болезни, печали, вздохания и смерть; а там уже нет ни болезни, ни печали, ни вздохания, но жизнь бесконечная, в радости вечной. Вот куда, друже мой, заранее готовься; вот куда заблаговременно собирайся. Дай Бог тебе со мною, благополучно проплывшему некогда Телецкое озеро, благополучно переплыть всё житейское море и достигнуть вечной спасительной пристани, безопасно пристать к берегу небесной блаженной земли и вечно жить там с Богом и со святыми.

Я сказал, что ты, крещеный на Чолушмане, не был оставлен на Чолушмане. Думаю, что ты не забыл и никогда не забудешь, куда был ты привезен и где ты провел ранние годы твоей юности. Улала, Улалинский храм, Улалинский наш дом, слепец дедушка Максим, которого ты в церковь водил, а он тебя учил по-русски разговаривать. Улалинское училище, где ты учил грамоту, письмо, а главное – Божий закон, православную веру, священную историю, святые молитвы, священное пение, а в церкви – молебну службу великомученику Пантелеймону и прочее, – всё это, я верю, ты хорошо помнишь и держишь с любовию в сердце своем. Дай, Господи! Но только всё это считай за дары любви Божией к тебе, дары такие, какие не только всем, но и частию многим не достаются на долю. Цени же всё это, милый мой; за любовь Божию плати любовию к Богу; страшись Его, Милосердого, огорчить не только делом худым, или словом худым, но и мыслю худою. Не забывай в молитве покойного дедушку Максима и всех своих добродетелей, добру тебя учивших.

Докончу уж речь свою сказанием о милостях Божиих к твоим родным; и эти милости ты должен помнить, и за них благодарить. – Помнишь, как я внушал тебе молиться Господу Богу за твою родную мать, чтобы, дал Бог, и она крестилась? Твоя детская молитва была услышана. Когда мы с тобой приехали на Чолушман в побывку, то мать твоя уже была православною христианкой, а у нее на руках – после тебя родившийся, братишко твой Макарий... Помнишь, какой он был

болезненный? Помнишь, что мать твоя, жалея его, согласилась с ним расстаться, отдать его нам, в приют Улалинский? Помнишь, какой из него вышел ребенок чистенький, здоровенький, умненький, ласковый, в ранние лета богомольный, благодаря материнскому уходу Софьи Васильевны и прочих сестер приюта? – Потом мать твоя не утерпела, сама пришла в Улалу. Для чего это так устроилось? По милости Божией. Ей Господь не судил долго жить, а умереть ей всего было лучше в Улале. Помнишь, ведь, она последние дни прожила в улалинской больнице, в том же доме, где и приют, под попечением тех же сестер, которые ухаживали за Макарушкой? Тут она приготовилась встретить и встретила смерть по-христиански. Не милость ли это Божия к ней? И не следует ли тебе за это благодарить и любить Господа? Теперь ты и дома, и приходя в церковь, можешь молиться за свою родную мать с отрадною верою, что молитва твоя о её душе будет на пользу ей, а особенно – воспоминание её на проскомидии. – А Макарушка? Дорогое, незабвенное дитя! Он, вот, раньше нас с тобою доспел на тот свет. Дай Бог и нам быть там, где он теперь. Скончался в детском возрасте; любящий Господь рано позвал его к Себе; для чего? 1) чтобы, когда он вырастет, злоба людская не изменила на худое непорченный разум его, и лесть людская своим коварством не прельстила его на злые дела; 2) для того, чтобы, переселившись на жительство к ангелам небесным, вместе с ангелами он молился за тебя, родного брата своего, остающегося на земле. Не есть ли это особенная милость Божия к нему и к тебе? Как не благодарить тебе за это Бога, как не платить за Его любовь своею любвию?

Нелегко было тебе расстаться со мною, когда я оставлял миссию, а особенно – когда совсем уезжал из Сибири. Но, ведь, и мне было жалко, в числе многих других, особенно тебя, моё чадо по духовному рождению. Может быть ты, по юношеской рассеянности, и забывал меня грешного; а я нигде тебя не забывал. Хотелось мне знать и я, по возможности, узнавал, где ты и что с тобой? Слышал я, что ты, духовно родившую, вскорившую, научившую тебя миссию оставил и удалился куда-то на сторону... Надобно ли тебя уверять, что я об этом крайне

поскорбел? Невольно спрашивал я себя: неужели наши и миссии труды оказались напрасными? Боялся, как бы ты не попал в такое общество, к таким людям, которые тебя, ещё неутвердившегося, молодого человека, могут сбить с хорошей дороги и направить на худую. Теперь слышу, что Сергей мой возвратился к своей кормилице миссии и поступил на служение ей, в должности толмача. Весьма радуюсь и благодарю Бога. Да утвердит и укрепит Он тебя в истинном пути; да будешь слуга Божий, слуга святой церкви, слуга спасения ближних, усердный, нелицемерный, трезвый, богобоязненный, кроткий, учительный, заботливый о собственной чистоте, телесной и душевной, стараясь прежде всего себя учить святому закону – и чтением, и добрыми делами, а потом и других – как святыми рассказами, так и примером жизни своей. Видишь, сколько милостей к тебе Божиих: великих и особенных? За них благодари Господа не только сердцем, не только словами молитвы усердной, но и делая добро для людей, какое только сможешь; любовь к Богу покажи любовию к людям.

Когда ты ещё был ребенком, я думал: вот, Сергей вырастет, научится и вере православной, и благочестию христианскому, будет этому учить других; и в душе его воссияет свет Христов, он не утерпит, чтобы этим светом не поделиться с другими. Когда поймет, как благ Господь, то не утерпит, чтобы другим не рассказывать о делах благодати Божией, изображенных в Священном Писании; сам узнает евангелие Христово, и не утерпит, чтобы не возвещать сие Евангелие другим неведущим. Кроме близких по жительству алтайцев, далеко за границей у Сергея есть его близкие по плоти, родня его отца и матери, соенский народ, погибающий без веры во Христа. Теперь ещё рано; но когда придёт Сергей в зрелые годы, не потянет ли его на место родины его, быть там благовестником? Конечно, к этому надо приготовиться и приготовиться хорошошенько, сперва тут дома, под крылом миссии, сперва напрактиковаться над алтайцами, а потом, когда Господь позовет, – двинуться и дальше Алтая... Дай Бог, чтобы это желание моё когда-нибудь исполнилось, если на то будет воля Божия; а пока работай, друже, на том месте, на котором поставлен.

Видишь, чадо моё возлюбленное, как много написал я тебе. Старая рука моя водила пером по любви отеческой и по заботливости о тебе... Мои лета достигли возраста старости, да и дел по службе не мало. Поэтому не только такое длинное письмо, но и коротенькое едва ли когда соберусь написать тебе, если бы и ещё пришлось мне сколько-нибудь прожить на этом свете. Поэтому сии строчки прими, Сережа мой, как последнее предсмертное отеческое завещание и наставление на всю твою жизнь. По временам прочитывай его с такою же любовию, с какою писано. И до старости доживешь, вспоминай меня в своих молитвах; не забывай, когда и умру, – что был вот на этом свете человек, грешный архиерей, который Сергея Павловича любил, как родного сына, и больше родного сына...

Призываю на тебя, чадо мое, Божие благословение: на твоё тело и душу, на занятия и труды твои, на отдых твой, на молитву твою, на доброе чтение и добрые беседы твои, на мысли твои и добрые намерения твои.

Недостойный Епископ Владимир, бывший Бийский, потом Томский и Семипалатинский, ныне Ставропольский и Екатеринодарский. 3 марта 1888 года. Губернский город Ставрополь Кавказский.

Если захочешь доставить мне утешение, напиши о себе подробно и откровенно, как сын отцу».

Так же отечески и ещё с большею любовью относился святитель к сотрудникам своим, и духовным и светским. Вера, любовь, ревность его в деле Божием были необычайны, изумительны, чисто апостольские. Некоторыми фактами, лично нам известными, вспомянем наставника нашего, иже глагола нам слово Божие.

«Дик и страшен верх Алтая, вечен блеск его снегов», – сказал поэт. «Алтай великолепен, как Афон», – писал один из начальников миссии. Каждый из них своим оком смотрел и оба правы. А мы прибавим: Алтай – чудное творение Божие. Это особый мирок, прекрасный и своеобразный, совершенно чуждый шума, суеты, лжи цивилизованных колоний и доселе сохраняющий как бы печать пер возданной красоты. С вершин Алтая человек видит море гор, одну краше другой, видит

множество вод, всюду – леса вековечные: на горах – опять горы, до поднебесья, и там – венцы серебра белоснежного. Внизу, иногда под ногами, и бури глас, и дождь; а на вершине – глас хлада тонка, невозмутимая, святая тишина и мирно солнышко сияет. Смотрит человек в необъятную высь лазурную, смотрит и вниз, на ущелья бездонные и, подавленный грандиозным величием картины, десницею Божией изображенной, ощущает он нечто необычайное в существе своем: сознание телесного ничтожества своего, высокий восторг, необыкновенный подъем духа. Здесь вдали от людской суеты, человек чувствует себя ближе к небу, и мысли его невольно изменяют обычное своё неизменное течение.

«Там – суета, вражда и битва,
Здесь – мир, любовь, за всех молитва»...

Здесь турист, интеллигент маловерующий, пишет на скале: «грешник, нет места здесь твоим страстям»...

Любовь Спасителя мира к горным высотам перешла и к последователям Еgo. Часто вершины Алтая видят стопы благовестника, возвещающего мир. Восходя на горы заоблачные, носит он в сердце Христову любовь; в дивных красотах Алтая Творца созерцает он; душа его исполняется трепетным радованием, уста – Богохвалением; немощное тело духовно укрепляется на труды благовестия... А труды эти, по истине, ужасны бывают. Не говоря уже о кознях вражеских, по пятам следующих за работником Христовым, самый путь, самые способы передвижения, смотря по времени года и местности³⁶ являют миссионеру многое множество препятствий, бед и скорбей.

Приснопамятный о. архимандрит Владимир многократно бывал на Телецком озере, в Чолушмане; не раз следовал оттуда в Улаган, подъемом Иолузун. Это почти отвесная стена, с зигзагообразною тропою по уступам её, на протяжении около трех верст. С вершины этой стены путник видит ещё большую стену на противоположной стороне ущелья, а над нею – гору «в шапке золота литого», с вечным снегом, с потоками снежных вод, падающими с головокружительной высоты; а внизу, в самом ущелье, – довольно обширную реку Чолушман, в виде ленточки,

людей и лошадей – как точки... Бывший Томский губернатор, Андрей Петрович Супруненко, спустившись с этой стены и, осеняя себя крестным знамением, сказал: «сохрани, Господи, меня и детей моих от подобного путешествия»...

Однажды о. архимандрит, побывши на Чуе и китайской границе, проехал на грозный Архыт, к киргизам-Кираевцам. Времени потрачено было много; а нужда надлежала побывать ещё и в верховьях Катуни-реки, в Катанде, на Уймонах. С Архыта туда (чрез Усть-Чую) – далеко, а надо скорее: «Нет ли короткой дороги?» – «Есть, – говорят проводники бывалые, – только опасно: страшные места там есть; лучше лишних сто верст объехать». Подумал о. архимандрит, сел на лошадь и говорит: «прямо на Уймон с Богом».

Едут. Погода ненастная, дождливая. Между спутниками, на остановках, только и речи о невозможности проезда в такую непогоду. Тревожное настроение увеличивается, по мере приближения. Опытные ездоки поговаривают, что надо вернуться. О. архимандрит молчит весь путь, погруженный в молитву. Наконец, вот и остановка. Спутники отказываются ехать: грунт и камни мокры; тропа – для одной лошади с выюком, – неровная; на этом пути «прискорбном» то справа, то слева – обрывы в черное ущелье: там смерть ждёт не осторожного путника... Опытный глаз о. архимандрита находит смелейшего из проводников. Убежденный, упрощенный, обнадежденный обещанием помочи Божией, проводник слезает с коня, берет его за повод и идет на верную смерть. А о. архимандрит, взорвав на небо, с обнаженною головою, кратко молится, осеняя путь благословением и, со словами: «с нами Бог!» отправляется вторым, не сходя с лошади.

Умное животное каждый почти шаг, прежде чем опереться, ощупывает почву: инстинктивно оно боится пропасти. Спутники, пораженные смелостью передовых, остановились было; но затем поспешили за ними, кто верхом, кто пешком. Несколько десятков минут страшных, мучительных, долгих, казавшихся днями... Гробовое молчание, – только разве сдвинутый ногою лошади камешек застучит по скалам, на полете в бездонную пропасть, и замрет его стон в глубине... Но вот, вдали, –

радостный крик передового: «Ку-дайга-а-а ба-а-а-ш!» (слава Богу)... О. архимандрит, достигши безопасного ровного места, где проводник уже ожидал его, сошел с лошади, снял шляпу, перекрестился, до земли поклонился и зарыдал... Через несколько минут благополучно прибыли остальные спутники; радость написана была на лицах их; шумному говору и восклицаниям не было конца. После отдыха отправились в дальнейший, уже не столь опасный, путь, славя Бога.

Неохотно, всегда тревожно оставлял Алтай о. архимандрит по делам службы. И всегда – спешил. Из Бийска, например, до Томска (520 в) он не более двух – трех раз отдыхал на станциях или у священников; на весь этот путь тратил не более двух суток. Даже будучи Бийским Улу-абызом (Епископом), он брал с собою в путь только одного диакона; а сей, умудренный опытом, всегда запасался для себя немудрою снедью. Ночью, на езде, о. диакон подтянет к себе мешок с припасом и утоляет свой голод. «Ты что там, дьякон, ешь?» – «Каральку (калач), Ваше Преосвященство». – «А... и – ладно, хорошая?» – «Славная, Ваше Преосвященство». – «А ну-ка, дай». Просимое подано, и епископ черствым хлебом подкрепляет силы свои...

Весна 1881 года застала Епископа Владимира в Томске. Сначала тепло раннее погнало снег, Томь поднялась, и 2-го апреля начался ледоход. Сообщение с заречной стороной совершенно прекратилось; тракт переведен на ст. Яр. Была уже шестая седмица св. четыредесятицы. Владыка рвался в Алтай: надо поспеть в родную миссию к Светлому празднику заблаговременно. Внезапно настала стужа с резким ветром. Томский исправник (Ив. Ст. Л-в) потребовал справки о переправе и, получив рапорт Спасского волостного правления о том, что переправа, за ледоходом, невозможна, пишет: «Ваше Преосвященство! Прилагаемый рапорт я получил сию минуту. Если и теперь Вашему Преосвященству угодно будет отправиться, то через два часа я выеду на Яр, чтобы, по возможности, устроить переправу для Вашего экипажа; хотя сомнение в успехе моих мероприятий не оставляет меня». Владыка отвечает: «И. С-ч! Хотя ваше личное отправление есть мера чрезвычайная, но в виду чрезвычайных обстоятельств

(которые, надеюсь, со мною вперед никогда не случатся), я обращаюсь к вам с чрезвычайною просьбою – отправиться. И я считаю за лучшее то же через два часа (т. е. в 4 ч.) скорее отправиться. Рапорт Спасского волостного правления говорит, что перекладная почтовая повозка может быть переплавлена. Полагаю, значит и – тарантас? Ибо много ли он больше почтовой повозки; можно, ведь, и колеса снять, отдельно переправить. Не говорю о поклаже. Конечно, всё это – завтра утром. А нам бы с вами хоть в Ярское сегодня. Итак, и мне к 3-мъ часам коней надобно, ибо теперь до 4-х часов ждать нет причины, а всё же раньше – посветлее. Преданный слуга ваш, Епископ Владимир»³⁷. Этот самый исправник ещё 9-ти летним мальчиком лежал в Томской семинарской больнице и после никогда не забывал посещений и утешений о. инспектора Владимира, который, года четыре спустя, нарочно приехал в одно из духовно-учебных, заведений г. Москвы (проездом через нее), чтобы отыскать и приласкать, и гостинцами наделить того же мальчика, сына Алтайского миссионера

Пришлось исполнить желание Преосвященного. А ветер крепчал, холод усилился, уровень воды в Томи понизился и ледоход задерживало. Послан на Яр земский заседатель (Григорьев), едет исправник; изготовлена большая лодка; свыше 100 человек народа собрано. Владыка ночевал в Спасском и прибыл в Яр утром 6 апреля, в великий понедельник. Он озяб, а квартира – холодная. На реке треск, ломка, шум и свист ветра; густая масса льда, прижимаясь к берегу, на ходу стирает палки и доски в мелкую щепу; смотреть страшно и стоять холодно – руки коченеют. Плыть решительно никто не соглашается, толпа шумит; – «тут – прямо смерть!» – Докладывает исправник Владыке; а он, печальный, ходит по комнате и остается непреклонен, – «надо спешить, давно ждут меня: надо сейчас же плыть». Полиция прибегает к средству, яко бы согревающему, смелость возбуждающему, и щедро угощает народ вином; а время идет, и опасность не уменьшается. Хотя лед уже не сплошной, появляются свободные от него небольшие водяные поля, но каждую минуту они снова закрываются надвигающимися новыми массами льда, который с треском

наваливается на передние глыбы... Исправник решительно заявляет Преосвященному, что плыть – опасно, что он ответственным лицом является за жизнь Владыки; что-то упоминает ещё о законе, который обязывает задерживать рискующих плыть в такую пору. «Жизнь человеческая в руках Божиих, – отвечает Преосвященный, – а закон, вами указываемый, к миссионерам трудно применить. Подождем ещё и, если откроется путь, немедля им воспользуемся»... Возражать было нечего. Колеса с тарантаса сняты, поставлены в лодку, как и тарантас, осями на борта. Нашлось до двадцати смельчаков. А вот и сам Владыка идет к переправе, опираясь на трость; народ обнажил головы, Преосвященный благословляет. В это время во всю ширину Томи появляется широкая полоса воды, свободной ото льда. Владыка указывает рукою, спешно прощается с исправником, молча входит в лодку, а за ним спешат перевозчики. К лодке привязан канат, и конец его оставлен на берегу. Быстро отчалили от берега, быстро плывут; а сверху на них ещё быстрее надвигаются ледяные поля, а ниже их лед еле движется. Расстояние между берегом и пловцами – более 150 сажень; канат с лодки опущен и тянут на берег. И в то же время, в несколько минут, лодка – между льдами; слышен шум и треск льда... Сердце замерло у зрителей; а у лодки творится что-то ужасное; трудно разобрать: от резкого ветра глаза застилает. Но вот, видно, что перевозчики все – на льду, у лодки; одни рубят топорами лед у боков её, другие лодку раскачивают; снова гребцы – в лодке и ринулись с нею в реку; дружно работают вёсла; быстро летит лодка; пловцы уже на средине реки... Но вот, несколько груд льда в нескольких пунктах стремятся на утлую скорлупу. Лодка лавирует между ними; а Преосвященный стоит и осеняет путь крестным знамением. Вот, ещё раз выскочили гребцы на лед, рубят его, лодку качают, снова вскакивают в нее; ещё несколько дружных взмахов вёслами и пловцы – за рекою... Все вздохнули с облегченным сердцем, все, как один человек, обнажили головы и набожно перекрестились. Крестился несколько раз и исправник; на глазах его слёзы и думает он: «если бы и мои детки за рекою ждали меня, и я бы поплыл»... «Какой же это, Ваше В-родие, Архиерей такой

смелый? – спрашивают мужики, – и какая нужда ему такая, чтобы на смерть соваться?»... – «Это, братцы, миссионер; он всегда в такой беде живет; сердце своё он Богу отдал; Бог его и ведет теперь, Бог и хранит», – «Знамо, что – Бог. А только и старики наши такого Архиерея не видывали; и не токмо что Архиерея, а и попа в ледоход не плавливали»... Возвратившиеся ямщики известили, что до первой станции за переправою (Варюхиной) тарантас Епископа несколько раз погружался в ложбинах в вешнюю воду и багаж был подмочен. Однако же Владыка, претерпев различные беды, в пути сем, перебравшись ещё через несколько рек, прибыл к пастве своей возлюбленной в дни страстной седмицы, как и желала душа его...

Теперь он в Горней стране; но и оттуда душа его, бесконечно любившая Алтай, молится за него и его обитателей у Престола Создателя, сотворившего мир и людей, Создателя, любящего своих избранников, одним из которых был Архиепископ Владимир.

Весенний гимн

Огромный старый лес по горным исполинам
В угрюмом полусне в снегах стоит зимой,
И выше всех порол над горною вершиной
Кузук-агаш поднялся вековой...

Лес слушает, о чем рокочут бури,
И ждёт иной поры, желанье затаив;
Он грезит о весне один: в снегах заснули
Все травы и кусты на склонах горных гриб.

Но это только сон: когда дохнет в долину
Весенний ветерок, и солнце заблестит,
Зашепчутся тогда под снегом котловины,
Проснется поросль вся и вновь заговорит...

Кайн распустит клейкие листочки,
Душистый тимырыт вновь зацветет тогда;
Терек и толоно свои откроют почки,
И белый кой-чечек им поглядит в глаза...

Засвищут торчики, алас-ару зальются,
По озерам куу большие будут жить...
Прют-аркыши богато разрастутся,
И карлагashi гнезда станут вить...

Лес жадно слушал, о чем шумят потоки,
Какую весть несут из-подо льда,
Марал и тегэнек уже зацвел высокий,
И по долинам разлилась вода...

Идет великий день—день светлый Воскресенья
Того, Кто в Свой Алтай прислал давно людей
С учением любви, обид и зла прощенья,
Пришедших привести к спасению дикарей.

День светлый близится, и в мгле весенней ночи
Там, в глубине долин, раздастся чистый звон,
И разгорятся звёзд задумчивые очи,
Как звуки долетят до них со всех сторон!..

Прислушаются к ним и горные громады...
Все цепи горные как будто бы вздохнут...
Зашепчутся по кручам водопады,
С приветствием к камням аржан-элен прильнут...

И горных кряжей ряд, кузук-агаш на круче
Притихли... слушают... весь лес чего-то ждет...
Лишь реки быстрые бегут струей могучей...
И вдруг, природа гимн прекрасный запоёт!

И горы тоже подхватили пенье!
В долинах, у людей поют колокола...
Несется от земли горячее молене:
Христос... Христос воскрес... и с Ним весна пришла.

Чудо

(Быль из миссионерской жизни)

На крутом спуске в долину реки Яломана о. Константин остановился, любуясь залитою солнцем долиной и порослью убегавшего вниз по скатам густого леса.

Псаломщик поправлял торбы, а совсем ещё юный сын о. Константина тоже молчаливо любовался долиною, в этот яркий, солнечный день казавшейся ему особенно красивой.

Они ехали с проповедью в аил.

Юноша – Иван Константинович – любил эти поездки по дальним аилам, любил забираться в глуши, слушать шорохи леса и наблюдать его жизнь зоркими темными глазами. Зима в далеком городе томила его, привыкшего к простору алтайских долин, и он летом отводил душу с отцом, чутко понимавшим красоту природы и любившим ее.

– Книга Творца – природа вечная, – говорил он сыну, – чудные картины, Ваня... хороши... Дали-то, дали, погляди: ишь – белки вдали горят на солнце, как каменья драгоценные... А там – река лучится лентой золотистою...

– А вон – аил! – оживлялся юноша.

И оба вспоминали долг и подгоняли лошадей, чтобы скорее добраться до этих аилов, где их ждали души, тянувшиеся к свету веры, который о. Константин нес с собою.

И сегодня они не долго любовались тут, на вершине спуска к Яломану.

– В жару отдохнем в горах! – сказал миссионер, – а пока торопиться надо в яломанские аилы поспеть: теперь народ дома, и есть такие, которые ждут.

Онгудай остался далеко. Яломан пел свою песню, подражая большим рекам Алтая. Слишком уж хорош был край, чтобы не шептаться о нем говорливым струям.

И юноше Соколову, сыну миссионера, казалось, что река выговаривает ясно: – Красота, красота, красота, – падая с камней и облизывая каменистые же берега своего русла.

– Вон там, как в лес подниматься, – указал о. Константин сыну, – так и привал сделаем, чай сварим. Хорошо там: лесины

такие встречаются, что не обхватишь... Ты ещё на этих склонах, Ваня, не был. И, главное, близко аилы кругом: может быть услышат, что мы станом расположились, и подойдут, запах дыма почуяв... любопытные, ведь, знаешь, алтайцы наши, словно дети большие, на всё новое глядеть любят... Да и лошадям отдохнуть не лишнее: с раннего-то утра, поди, верст 40 проехали.

– Здесь и версты-то мерять не знают! – скептически сказал псаломщик.

– А что же мерить их? – ведь, алтайцам это не нужно, а путь миссионера Господь ведает! – откликнулся о. Константин; – до того места, что мы отметили, охотники опытные 70 верст считают... Теперь за полдень, а мы туда к закату приехать должны... Пожалуй и правда, что верст сорок сделали...

– Сюда правь, повыше, вон, где ручей течет в Яломан; по нему, видишь, аилы видно далеко – вон вправо и влево из-за деревьев береста виднеется... а какие лиственницы!.. Смотри-ка, Ваня... люблю я лиственницу: красивое дерево. Хороши и сосны, прямые, как свечи, и ароматные, и кедры красивы могучие, ну, а лиственница все-таки лучше: ты только посмотри!

Лесную тропу, теснясь, обступили деревья. Высокие, могучие стволы держали тяжелые короны мягких лиственниц и пышные вершины кедров они поддерживали, огромные свечи-сосны, разбросавшиеся над порослью, и пронизанная солнечными бликами листва позволяла видеть подножный пейзаж, мелкую поросль, целые купы сосенок, мхи на скалистых местах и богатую яркую зелень трав и папоротников, перемешивающуюся с кустами малины и цепкими ползучими плетями ежевики.

Уходя в зелёные, поросшие мхом, камни, где-то в глубине булькал ручей.

За поворотом тропы открылась чудная зеленая площадка, от которой точно отступили деревья, чтобы дать солнцу приласкать корни огромной лиственницы, шатром разбросившей ветви своей вершины.

– Вот так дуб мамврийский! – пошутил миссионер, – я думаю, нам двум, Ваня, её не обхватить: какая могу чая!.. Сколько ей лет, поди!.. Какая громадина; ишь куда ушла

вершина! её если рубить, так надо месяц над нею трудиться: такое дерево, как железо... Хорошо тут отдохнуть под нею.

И, спешившись, путники, немного отойдя, залюбовались красотою горного великана.

А лиственница была, действительно, царицею могучего леса: зеленая и огромная крепко и несокрушимо стояла она, царя над морем вершин, точно гордясь собою.

— Корни-то, папа, у ней, наверное, туда, к роднику, уползли! — заглянул в лощину юноша, — такие же огромные, как она!..

— Что ты задумался, папа?

— А я думаю — как глубоко корни этого красивого дерева впились в землю, так же впились в сердца алтайцев суеверия, и бороться с ними иногда тяжело.

Он задумчиво стал вынимать из сумы сухари, а сын и псаломщик живо развели костёр, на котором скоро чайник запел песенку кипящей воды.

День был, действительно, чудный, немного парило, тишина царила в воздухе, точно замершем в истоме, так что и жужжение насекомых, и шорох белок ясно слышался чуткому уху.

О. Константин пил чай торопливо. Грусть, внезапно охватившая его сердце после пришедшего ему в голову сравнения, росла, сердце томилось чем-то и куда-то рвалось.

Заметив, что псаломщик ловко укладывается под тенью ветвей лиственницы, он сказал, обращаясь к нему и сыну:

— А я вот что думаю: отыхать, мне кажется, рано, лучше ехать... что-то душа рвется отсюда: никто из аилов не идет к нам; ведь, до одного с версту не более, да и другой совсем близко, нет, видно, желания... алтайцы чутки, и дым от костра услышат, а раз их дым не привлекает, стало быть они беседы не желают... Собирайтесь-ка... — Ваня, и ты задумался что-то?

Псаломщик поднялся неохотно: его манил отых в тени огромного дерева, но все-таки он принялся за укладку, и немудрые сборы скоро были кончены.

О. Константин ещё раз взглянул на лесного великана, и они стали отъезжать, говоря о пути.

Точно что-то ухнуло по лесу, ухнуло и загрохотало, как грозный удар грома, и земля словно вздрогнула тут под ногами,

и о чём-то зашептался вершинами тоже дрогнувший лес, что-то захрустело и метнулось в воздухе огромное, и, далеко отдавшись, эти мгновенные звуки заставили путников обернуться и вскрикнуть.

Перед ними на оставленной площадке уже не высилось гордое дерево, сотни лет стоявшее тут: оно упало, точно подрубленное.

И, подъехав обратно, с невольным страхом миссионеры взглянули на этот поверженный колосс.

— Господи, — побледнел псаломщик, — придавило бы!.. Царица Небесная!..

Эхо, гудевшее тысячами голосов, вещая о гибели великана, неслось по горам, будя долины.

И ещё не замолкли его отголоски, как на прогалине на неоселанных лошадях и пешком стали появляться алтайцы, испуганные, бледные, с ужасом глядя на дерево:

— Ай, ай! — толковали они. — Ай, калак (тошно) сто лет стоял, больше стоял, давно стоял, Галдан Царека видел... ой-ой, дерево сильный, ещё бы стоял долго, пошто упал?!

И они обступили опять спешившегося миссионера.

Крестясь широким крестом, он, немного бледный, смотрел на них, на сына, на дерево, и тысячи мыслей летели в его голове, мешаясь с благодарной молитвой об избавлении от гибели и с радостной мыслью, что это — Божие чудо, что так же, как цепкие корни, вывернутые и оборванные, будет оборвано суеверие алтайцев, что это, видимо знамение Бога.

А псаломщик толковал алтайцам о том, что они сейчас пили и ели там, где теперь лежал могучий ствол.

О. Константин подошёл к дереву: выше его головы поднималось основание дерева, плотно примкнув к земле одним боком и закрыв пепелище их стоянки.

Невольная дрожь ужаса прошла по его телу: Ваня, его Ваня, он сам и псаломщик лежали бы теперь погребенными тут, и даже прах их истлел бы, пока люди сумели бы убрать эту громаду.

— Виши, куда упала вершина, сколько сгубила и поломала леса!.. И какая сила бросила его? Ведь и корни здоровые, цепкие и сильные! Вон какая огромная яма обнажилась... Ни

ветра, ни бури – тишина... О, Господи, вершатся чудеса, Тебе Единому ведомые!

А юноша Ваня взял его за руку и, указывая на алтайцев, взиравшихся сюда, сказал:

– Что они говорят, папа?.. Послушай...

– Да, – говорил какой-то пожилой инородец кучке сородичей с ещё бледными лицами, косившимися на трепетавшие, беспомощно раскинувшиеся ветви, – так вот они, абызы, ездят, нас обращают к Богу, а курюмесь злится: он злой! – опасливо оглянулся инородец.

– Злой... Да, да, – подхватил другой, – ты, Томаш, говоришь правду: курюмесь хотел погубить его – абыза; погляди какое дерево дернул, как Мангды-Шире (легендарный богатырь), и бросил о землю: да долго собирался: их ак-нэмэ (светлые духи) хранили... Бог не дал ему сделать им зло: у них большой Бог и не боится курюмеся, и Кагыра не боится, и Эрлика.

– Да, – сказал о. Константин взволнованно, – вы правы. Вот мы бы теперь лежали там раздавленные, но Господь не захотел, потому что мы нужны Ему для того, что бы спасать ваши души, которые дороги для Господа... Вот оно дерево огромное, как говорите вы, злою силою брошенное... Смотрите, какие корни, бревна: минута-две и этот ствол могучий могилой нашей стал бы, но Господь не захотел, понудив нас уйти... Бедное дерево, жаль бедное и прекрасное дерево!

И ему, действительно, захотелось заплакать над этим сверженным гигантом, чьи ветви, зелёные и чистые, всё ещё трепетали, как живые, и чьи обнаженные корни беспомощно и уродливо торчали над теплой, рыхлой землей.

Он с трудом отвел от них глаза, чтобы взглянуть в небо благодарным взглядом, и с глубокой верой остановил их на нем.

Инородцы тихо расходились.

Те, которые были на лошадях, собрались с ними, и, когда они двинулись, толкуя о случившемся, юный сын миссионера, и сам он ещё раз долгим взглядом посмотрел на сверженное дерево, плотно легшее поперек площадки.

Снова тишина воцарилась в лесу; так же булькал ручей, так же жужжали осы и жуки, носились пестрые бабочки, словно не

совершилось нежданного события. И только человеческие голоса нарушали тишину, говоря о нем и пересказывая о событии встречным, спешившим издали дознаться о грозном шуме, пронесшемся далеко, о событии дня и о том, как посрамил Бог христианский ухищрения курюмсия, пожелавшего отнять их жизнь.

Потом нередко, проезжая в долину Яломана горною тропой, миссионер и его молодой сын с волнением обезжали гигантский ствол, лежавший памятью о совершившемся, новой, проложенной в обьезд его тропой.

Лиственница потеряла зелень: от времени и бурь обломались и отпадали её ветви, но ствол не могли сокрушить ни снега, ни непогоды, этот, точно отлитый из железа, гигантский ствол.

И сейчас, после долгих лет лежит он в глуши на горной тропе в долине реки Яломана. Огромный, неподвижный и мёртвый, не поддаваясь гниению, как память о том, что Господь хранит своих слуг. И Его ангелы, ак-нэмэ (светлые духи) идут по их пути, отводя на алтайских тропах опасности от людей, посвятивших себя на служение Алтаю ради любви к слабым созданиям Божиим, чьи суеверия они твердо надеются сокрушить с помощью Господа Бога.

По аргутской тропе

(Случай из жизни еп. Иннокентия Бийского)

Горы особенно отчетливо рисовались сегодня на фоне темно-синего неба, эти высокие горы, покрытые то хвойей, то причудливыми извилинами скал, выступавшие перед глазами ещё молодого путника в одежде священника, ехавшего торною тропою вместе с проводником к быстрой реке, сверкавшей внизу там, куда опускалась тропа.

– Благодатный день! – сказал он по-алтайски спутнику. – Переплыть легко будет и вьючным лошадям... думаю я только, пройдут ли они аргутской тропою?.. Анча говорит, что трудно.

– Пройдут! – меланхолически сказал инородец, медленно обернув голову на лошадей с перекинутыми на седлах сумами. – Пройдут... ничего... не бойся,abyz.

Молодому миссионеру, большими, голубыми, ясными глазами глядевшему на красивую картину гор и на реку в зеленой кайме лесов, подумалось, что выбирать нельзя иной дороги, кроме предстоявшего и ещё неизвестного пути по Аргуту: его ждали больные, страдающие и дело... разве приходилось размышлять над дорогой алтайскому миссионеру? Дело было выше опасения! Да за несколько лет служения в алтайской глуши он разучился бояться опасных троп, бомов и бродов, всего того, что может пугать людей, которые не обрекли себя, как он, на служение Алтаю.

Лошади привычной ступью опустились по уклону, и Катунь засверкала совсем близко из-за кустов береговой поросли, куда направились путники.

– Тут перевоз есть... кони будем плавить, а сами – в лодку... лодка, вот, плохой, совсем плохой! – мешая русские слова с алтайскими и коверкая первый, заговорил проводник.

– Эй, абшияк (старик), эй! абыза надо перевезти скорее... эй какой такой глухой? скорее, говорю.

Что-то зашевелилось под кустами, свешивавшимися над невысоким яром, и старик, уже пожилой, седой и косматый, вылез из-под них, протирая глаза; он был одет в старую одежду из шкур диких коз, покрывавшую короткие, старые, засаленные

штаны и синюю грязную рубашку из дабы, расстегнутый ворот которой обнажал сморщенную загорелую грудь. Он низко поклонился, протерев глаза, и, взглянув на священника, спросил;

– Куда надо?

– За Катунь, – сказал тот. – Знаешь дорогу к Аргуту? Мы туда пробираемся... там скорый путь нам указали.

Старик потряс головою.

– Худой путь... шибко худой: коню – тесно, вьюку – тесно, человеку – плохо.

И внезапно спокойно кончил:

– Иди, перевезу!

Катунь, сверкая и пенясь, казалась розовой; за малыми порогами в полуверсте было сравнительно тихо: там в заводи стояла лодка, при взгляде на которую миссионер покачал головою. Это было странное корыто, сколоченное из досок, с доброй полусотней плохо заткнутых дыр, имевшее какую-то оригинальную, чуть не четвероугольную форму, на половину затопленное.

– Да, ведь, в ней потонуть можно? – невольно сказал он. – Она и без людей-то воды полна, а сядем – под воду уйдет.

– Ничего, как-нибудь, не утонем, – сказал его спутник, – ой, ой!.. Ой, плохой лодка!.. Вот он её немножко затычет, воду выльем и славно переплыем... ой, ой как славно... тут худо совсем, а так – коня снесет: их поведем за лодкой... ай, как плыть? однако, утонем!

– Гляди, какие шесты... мы ими работать будем! – старался ободрить его миссионер.

– Веслом работать, руками работать будем! – заговорил и перевозчик, словно обидевшийся на недоверие к его лодке. – День... светло... бури нету... ну, упадешь, замокнешь, что тако? ты плавать умеешь? лодка худой, а лучше нету... може и не утонем!

Миссионер невольно улыбнулся над этими доводами, которые, медленно выливая каким-то грязным черпаком воду, вразумительно приводил проводнику перевозчик. Он терпеливо ждал, слезши с коня, и глядел на цепи гор, стеснившие реку, на

вспененную воду на порогах и на быстрые, легко ускользающие волны, по которым лежал его путь к противоположному берегу. Почему-то невольно вспомнились ему головки детей, двух сыновков, оставленных в стане, и он спросил, хотя без страха, но суетливо:

– Тут глубоко?

– А кто её мерил! – лениво сказал проводник. – Ногами кони не хватят.

– Не подмочить бы сумы! – озабочился миссионер, стараясь отогнать свои мысли. – Развьючте-ка их... Ой, однако на этой скорлупе потопим выюки... пусть уж лучше с выюками лошади плывут.

И, поправив дарохранительницу на шее, невольно поднял глаза на небо, вступая в лодку, в которой быстро начала прибывать только что вычерпанная вода.

Они тронулись. Сильные струи подхватили утлую судёнышко, понесли его и силою загнанных в воду лошадей книзу.

Старик суетливо гребся подобием весла, бросив свою медлительность, а проводник, крича на лошадей, так же суетливо черпал воду, сочившуюся по всем щелям их лодки.

– Ай, ай! – кричал он, натягивая чумбур, которым были привязаны лошади, – ай, ай, однако пегашка перевернется... попал в стреж... эй, абшияк, эй! Да гребись ты, гребись: к камням унесёт... ах, ты...

Миссионер хотел взять у него чумбур.

– Я подержу, – сказал, – лошадей: помоги ему.

– Нет, нет, – суетился тот, – гребись лучше, али вот черпай, абыз, а я помогу... говорю, к камням утянет... ах, он!.. Миссионер усиленно черпал воду, ему некогда было глядеть на окружающую красоту величавых берегов, на красавицу реку и облитые солнцем причудливые скалы, поросшие вековыми лесами: они могли каждую минуту удариться о камни, проскользавшие мимо бортов, а выбиться на этой быстрине из воды было трудно.

Вдруг проводник отчаянно вскрикнул:

– Ой, ой, suma, suma!..

И миссионер бросил черпак на дно лодки, сердце захолонуло у него.

– «Неужели ризница?»

И тут же, забыв об опасности, свободно вздохнул: «нет, ризница, слава Богу, на карой лошади, а это сивая попала в стрежь... сухари намокнут в воде, чай, сахар... Ну, это ничего; и каши можно поесть хлебной... а, вот, ризница... миссия так бедна, что потерять её для миссионера беда».

– Скоро? да греби ты, греби! Вот направо-то загребайся! – кричал проводник, – лошади уйдут... эй, ты... ведь, потонем... смотри, до половины хлебает лодка...

– Абыз, помогай!

И, наконец, общими усилиями направили лодку в бухту тихой заводи за камнями, едва выбившись из быстрого течения.

– Ай, ай – сокрушился проводник, – вместо сухарей крошки... ай-ай, абыз... завтра домой поспеем, а сегодня что будем есть? о... о... о.

Он, без сожаления бросив полную воды скорлупу и её старого гребца, которому миссионер что-то давал, сокрушенno стоял, опустив голову, у сумы, открытой им, где вместо сухарей и сахара было какое-то месиво, которое он, однако, пробовал не без аппетита.

– Вот ещё на тропе как пройдем? – опять меланхолично сказал он. – На тропе можно ехать, и можно лететь: Аргут глубок, хуже Катуни дурит: такая река!.. Гора – высока... да там близко к месту... ничего, абыз... один упал, другой упал, а мы поедем... пусть отдохнут кони... тихо поедем... день большой, путь не долгий... успеем.

И они принялись не торопливо увязывать сумы и вещи и переворачивать лошадей.

II

В Аргутском ущелье царила прохлада. Тропа вилась высоко над водою, и снизу доносился грохот бешеной реки, словно злившейся на своё заключение в каменистые, угрюмые, поросшие редкой порослью берега. С высоты суровых, скалистых и почти голых гор, покрытых каменистыми осыпями в глубине, взору чемгула, царствовавшего там, и храброго

человека, Аргут казался вспененной лентой, а вблизи для редких путников – страшной пучиной, чье каменистое и порожистое русло имеет глубокие воронки, в которых вода кружилась, словно в омуте, жадная вода в бешеном стремлении старавшаяся смыть угрюмые, грозные камни, торчавшие всюду по её руслу могучими природными преградами.

О. Константина охватывала жуть при взгляде на низину с тропы, по которой ехал он с проводником уже часа два; над ними то нависали каменные карнизы, то топорщились редкие пихты и мелкий кустарник, под ними тянулись такие же нависшие скалы, уступами спускавшиеся к Аргуту, или осыпи, поросшие редкими кустами и травою. Впереди шла лошадь проводника, за нею вьючная каряя с ризницею, потом ехал миссионер, и за ним уже шла другая вьючная сивая лошадь. Всё время мурлыкавший что-то по-алтайски ямщик поглядывал вперед и на крутом изгибе тропы сказал:

– Ну, теперь,abyz, коней приостанови: я им ещё подпруги посмотрю... ладно ли? тут шибко худо будет; ползет осыпь-то.

Они оба внимательно осмотрели седла и подпруги, а потом, совсем почти не правя, вверились лошадям, изредка понукая их и зорко смотря вперед, туда, где за поворотом открылись совсем безлесные, поросшие только цепкой травою склоны аргутской пропасти, мрачные, и угрюмые, словно оползавшие к грозной реке.

Было часов шесть. День перешел за полдень, всё такой же яркий и сияющий, но мрачное место не могли скрасить солнечные лучи. Лошади, словно чуя опасность, насторожили уши, и миссионер, перекрестившись, невольно заглянул в глубину, туда, где метался белый Аргут по острым, отточенным, огромным камням. Осыпи шли крутыми уклонами, и по ним извивалась едва заметная тропа. Лошади, привычные к горным дорогам, осторожно соразмеряли шаги; но как ни легко старались они ступать, мелкие камни все-таки, шурша, катились у них из-под ног, и долго в тишине их шум слышался предостерегающим тоскливым звуком. Проводник не оборачивался: он медленно двигался, пока тропа не дошла до самого трудного места, и лошадь его с видимым трудом ползла

по откосу, инстинктивно стараясь не делать резких движений и умело справляясь с ускользавшей почвой, словно упывавшей из-под цепких копыт.

– Ай!..

Невольный крик слетел с губ миссионера. ещё бы? Лошадь, шедшая за передней и связанная с нею, всё время лепившаяся в бок по откосу, потому что сума, упиравшая в стену откоса, не давала ей идти прямо, вдруг сделала два-три неверных прыжка, теряя почву, и потянулась книзу, скользя и утягивая за собою лошадь проводника; это был тяжелый миг, но опытная рука держала повод передней лошади. Сухой звук ременной камчи³⁸ отдался в воздухе, и передняя лошадь заработала ногами, инстинктом почуяв, что быстротою она может спасти себя и товарища.

Миссионер свободно вздохнул, когда увидал, как скользящая с сумами лошадь, повисшая почти на узде, тоже заработала ногами с энергией отчаяния и, видимо, нащупав твердую почву, сделала несколько судорожных прыжков и уже свободно перешла опасную осыпь, дрожа мелкой дрожью.

– Постой! – закричал проводник. – Я отведу их: там, дальше, лучше, а ты, абыз, сивую отвяжи и, как я позову, поезжай... выше заберёшь – ладно будет.

Томительные минуты шли. Отец Константин отвязал чумбур у лошади с кладью от своего седла и прочно прикрепил его; он ждал, стараясь не глядеть на откос, на те ужасные 15 сажен, где тропа, как оползень, уходила из под ног лошадей. Сивая лошадь заржала, и её ржанье показалось ему особенно печальным, но из-за угла осыпи послышался голос проводника.

– Эй, абыз! эй, гони коня... повыше забирай, чем я ехал: сивая не отстанет.

В голове миссионера понеслись быстрые мысли, обрывки молитв: он был храбрый человек, но этот путь, который невозможно было теперь миновать, этот ужасный путь леденил кровь в жилах.

Раз... два... лошадь ступала робко: её словно покинула уверенность; о. Константину хотелось взглянуть вперед, туда, где слышался с тропы ободряющий голос проводника, но его

глаза против воли тянуло книзу, к полосе воды, клокотавшей в пропасти, рокот которой один нарушал тишину.

– «Выше... выше!» – билась мысль в мозгу.

Но было страшно натянуть поводья; лошадка шагала осторожно и несла его легко.

«Вот, сажень или две уже пройдено... еще, еще... более половины».

И вдруг они поползли быстро книзу, и камни зашуршали им страшную песню гибели.

Священник закрыл глаза.

– Ай... ай! – крикнул проводник. – Ай, ай... выше! дерни повод... камчи её шаркни... камчи... ай... ай...

И инстинктивно о. Константин потянул повод, не глядя хватая камчи; и ему казалось, что прошёл не миг, не минута, а целые часы, что он долго-долго уже ползет по этой ужасной осыпи.

Раз... два... копыта чакнули о скалистый камень; забирая кверху, лошадь с энергией забилась под ним, делая быстрые, судорожные прыжки, на секунду приостановилась и опять на секунду поползла, потом, сделав страшное усилие, запрыгала вперед и, наконец, трясясь всем телом, выбралась и на более крепкое место, откуда сама спешно понесла своего путника, убегая от ужаса, оставшегося позади.

Сивая пришла вся в мыле вслед за нею, видимо и её не миновала борьба за жизнь; они всё ещё осторожно двинулись книзу, где начиналась скалистая, опасная, но в сравнении с осыпью совсем удобная тропа, и через час миновали все ужасы разбитые, усталые, опустившись в Карагему, где ждало Их дело и более безопасный путь.

– Ну, – сказал проводник о. Константину, – вот так тропа! Есть много троп по Алтаю, которые эликам да бунам хороши, но этаких мало: Аргут глядит глазом вверх: – «кого снять?» мысля... не надо смотреть на него, а ты, абыз глядел... другой раз поедешь, не гляди... как ты покатился, я подумал, что тебе конец... ой, не надо шутить с Аргутом: ему бы только жертвы, абыз ли, простой ли человек – всё равно: схватит и разобьет... я тебе давно сказать хотел на Катуни еще, когда нас этот абшияк

чуть не утопил, что редко на этом бому не бывает жертвы, а мы с тобой и без жертвы ушли! – прибавил он хвастливо.

Миссионер его не слушал, он задумчиво глядел перед собою, невольно переживая то, что видел, и ему подумалось, что ангел смерти коснулся его крылом сегодня, близко пролетая над Аргутскою пропастью, и только чудом сохранилась его жизнь, может быть для этих задумчивых гор и медлительных суеверных людей, которым он должен был служить и на благо которых полагать жизнь, не признавая личной безопасности и счастья.

Солнце уходило, и долины наполнились мглой, тихие долины прекрасного, но дикого края, любимого его душой, учившейся презирать опасности, которые ждали его и в будущем отовсюду, подобные пережитой. И он задумался, глядя на небо синее и глубокое, где когда-нибудь и его будет ждать награда за весь его, незаметный для других, труд от справедливого и милосердного Бога.

Лестница

(Быль)

То было ранней весной...

Гр. А.К. Толстой

Залитая солнцем степь, местами, в балках, ещё оснеженная, с целыми длинными серебристо-белыми полосами ковыля и с темными пятнами редких киргизских могил уходила далеко-далеко, до задумчивой горной цепи, над которой тонкими изгибами рисовалась Аир-тау, сверкая ослепительной белизной снега, лежавшего в её глубоких котловинах.

Весна в этом году была ранняя, и на Фоминой неделе, т. е. 28 марта, о. Сергея³⁹ потянуло в степь. Она давно манила его своей таинственностью и простором, и он часто любовался линией синих гор, видневшихся на горизонте, когда выходил за поселок и думал о том, что там, за этими вершинами, наверное, хорошо.

О. Сергей любил природу: у него была мягкая душа, тянувшаяся к красоте Божьего мира, душа поэта и мечтателя, а под монашеской рясой билось молодое сердце, чуткое, любящее и доброе. Немного выше среднего роста, красивый, серьезный, с большими, темно-серыми глазами и мягко очерченным ртом, умный, образованный, умевший быть в обществе, племянник известного миссионера архиепископа, он удивил всех, когда ушёл в монашество, и изумил близких и знакомых ещё более, уехав в глушь, почти на границу, где стал деятельным миссионером, отдававшим все силы простому и темному люду. О нем в своё время много говорили, но, как водится везде, забыли за житейскими заботами, правда, не все: иногда в глухой Шульбинский поселок приходили письма от сильных мира: писал туда и Антон Павлович Чехов, и другие люди, миру ведомые и знаемые, но эти письма пролетали, как дуновение ветра над молодою головой, полною своих дум и забот, пролетали и уходили за повседневными заботами: далеких людей он старался забывать, чтобы мысль о них и о прошлом не мешала делать дело пастырского служения.

В понедельник и вторник на Фоминой седмице о. Сергия особенно охватили пастырские заботы: он молился с прихожанами об усопших, служил молебны на выгон скота и, хотя тянулся на проповедь в степь, но день отъезда отложился до 7-го апреля.

Тарантас стоял у ворот. Был яркий день; такие дни с небом без отметинки, горячие и томительные, бывают только в Азии, и о. Сергий, выйдя на крыльцо, спешил проститься с окружавшими его соседями-прихожанами.

Он уже хотел сесть в тарантас, как из-за угла соседнего дома показался верховой, страшно гнавший лошадь. Он подъехал к толпе и, быстро соскочив, подал о. Сергию письмо.

— Вот, — сказал о. Сергий окружавшим его людям, быстро пробежав письмо, — пишет мне из Семипалатинска протоиерей Рождественский, что Томский епископ Макарий выехал в Семипалатинск и меня приглашает туда... Как же теперь быть с поездкою в степь?

Прихожане на минуту задумались, но тотчас же стали подавать советы.

— На Ренки надо ехать, — сказал один, — в Барнаульский уезд, и на Солоновку...

— Да, так и мы думаем! — раздались голоса. — Там, по берегам этих речек, также киргизы кочуют, а оттуда, батюшка, можно проехать на Бельгачскую степь и ею в Семипалатинск: и места повидаешь — и в Семипалатинск во время поспеешь. Благодати, тепла-то Господь дает: путь тебе будет добрый! Ступай с Богом. В добрый час!...

О. Сергий, расспросив подробно о пути, сделал так, как ему говорили, и отправился через село Жерновку по указанному пути.

Вся освещенная солнцем дорога вилась длинною лен той, около нее зеленела трава, звенели ручьи и чирикали какие-то птицы в низкорослых, уже начавших опушаться, кустарниках.

— Благодать! — говорил казак-возница.

А о. Сергию почему-то вспомнилась гранитная набережная Москвы, огромные здания, университет, где он был так еще

недавно, и среди простора полей всё это представилось далеким, туманным сном, виденным в юности.

В Жерновке его встретил приветливо местный священник о. Феодор Олеров: соседи-пастыри все давно интересовались молодым Шульбинским миссионером, и о. Феодор был рад видеть его.

Угостив трапезой, он направил путника в большое село Бородулиху, где посоветовал остановиться на ночлег у церковного ктитора Потапа Фоминых, похвалив его, как человека умного и сердечного.

О. Сергий так и сделал.

Потап, действительно, оказался умным, сердечным и словоохотливым собеседником, а также очень радушным хозяином.

В Бородулихе в это время строилась церковь. – Бог благословляет дело наше, – говорил он о. Сергию – Господь и знамение послал: рой пчел на ограде церковной привился. Все у нас говорят: «признак добрый!»... А вы подумайте, батюшка, у нас тут, в деревне, киргиз живет с семейством, так и он пожертвовал на церковь хлебом и деньгами... Хороший киргиз, обрусл тут между нами, и даже креститься ему предложь, так он однако окрестится.

Миссионер оживился.

– А если бы его сюда позвать? – попросил он хозяина, – хотелось бы мне побеседовать с ним.

И хозяин поспешил исполнить желание гостя.

Киргиз пришел охотно.

Он с виду был похож на русского крестьянина, хорошо говорил по-русски, наружность у него была симпатичная, только глаза слезились и казались воспаленными.

Миссионер усадил его и стал беседовать сперва о делах житейских, а потом об учении Христа.

Киргиз слушал внимательно. Ему, видимо, нравился образ Христа, прекрасно обрисованный миссионером. Он жадно слушал, как Христос учил любить людей, как Сам любил их, творил чудеса и исцелял недуги. Они оба, и хозяин и он, стали

грустными, слушая о страданиях Христа ради человеческого спасения, и растроганный хозяин сказал, обращаясь к киргизу:

– Вот и тебе надо креститься, Алексей, а то что за жизнь некрещеному? тьма одна!

– Он, батюшка, человек-то хороший: жаль, коли душа его погибнет...

– Господь зовет, – мягко сказал о. Сергий.

И начал убеждатъ Алексея, забыв о сне и отдыхе.

Алексей долго молча слушал убеждения миссионера и также молча собрался домой, когда наступила глубокая ночь.

Но о. Сергий его не отпустил одного: он пошел с ним до его жилища.

Была прекрасная, немного холодная ночь с осыпанным яркими звездами небом.

Указывая на звезды, монах говорил:

– Там, за ними, есть жилище Бога, туда уходят все, когда кончается жизнь, все христиане, любившие и верившие... Неужели тебя не тянет туда?.. Всякая душа должна пони мать красоту Божию. Подумай, когда глаза тех, кто не знали Бога, закроются, они не уйдут выше звезд: их ждёт тьма, вечная тьма и тоска.

– Дай подумать, – сказал Алексей мягко, кладя руку на руку о. Сергия. – Вот, постой, рожь сожнем, к Петрову дню она поспеет, – потом траву скосим, пшеницу уберем, овес... а там, пожалуй, я и окрещусь... Погоди, батюшка, дни идут, идут скоро, глядишь – неделя, глядишь – месяц – весна пройдет, лето, а осенью, когда зазеленеет отава, я креститься стану... Подождешь?..

– Подожду, – сказал о. Сергий с грустью. – Только напрасно ты откладываешь: можешь захворать, а я в степи буду далеко... или ты уйдешь в степь, и священника близ тебя не будет...

Но Алексей остался при своем убеждении.

Наутро о. Сергий уехал из Бородулихи, торопясь туда, где ждала его встреча с любимым епископом, чей пример более всего подвиг его на путь монашества и миссионерства.

II

Прошло полгода.

В конце сентября, совершая служебную поездку, о. Сергий опять побывал в Бородулихе.

Стояла осень. Кусты уже желтели, и золотые нити паутины тянулись по ним, предвещая сухую и теплую погоду.

Народ почти убрался на пашнях, и, конечно, о. Сергий не преминул зайти к Алексею.

Алексей встретил его как-то странно: он был и радостен и немного расстроен.

— Вот, вот, спасибо, что пришел... я ждал: тут мои все креститься хотят, согласны: жена, дети, все... учились молиться по-русски... Крести их, батюшка...

— А ты? — живо спросил миссионер.

Алексей опустил глаза.

— Их крести, — сконфузился он. — Я подумаю... подумать дай... я скоро...

Миссионер не стал настаивать: колос, видимо, не созрел для жатвы, и он, с грустью в сердце, оставив главу семьи, принялся учить молитвам и наставлять в вере семью Алексея, которую и окрестил, с тайною надеждой, что повседневное влияние христиан-детей принесет благие плоды и для Алексея.

— Вы, батюшка, — говорили о. Сергию крестьяне, — далеко не уезжайте: Алексей креститься не замедлит: он давно хочет этого... Мы и понять не можем, что с ним.

Но миссионеру, у которого были полные руки дела, не приходилось ждать, и, наставив новокрещённую семью в вере, он уехал в Шульбу, где его ждала паства.

Слова сельчан Бородулинских сбылись скоро.

Раз, в начале октября, когда осень стала первыми утренниками морозить поздние цветы в казачьих огородах поселка Шульбинского и сделала золотою листву тополей на островах, разбросанных по быстрому Иртышу, в субботу, после всенощной приехал Алексей, какой-то но вый, ясный и радостный, с просьбою окрестить его.

У о. Сергия была большая работа на руках, но он радостно выслушал своего гостя и поручил его псаломщику и переводчику, а потом, окончив дело и прочитав правило, пришел посмотреть на новое приобретение.

Алексей спал тихо и мирно, и усталый, но радостный миссионер, успокоенный немногого холодною ночью, долго ходил по рассаженному им саду и думал о душе человеческой и её тайных изгибах, ведомых только одному Творцу.

Утром его рано подняла забота.

Придя в церковь, он увидел, что не приготовлено полубочье для крещенья.

– Почему? – спросил он у старосты, Михаила Меркуьевича.

– В чем же мы крестить будем Алексея?

– Простите, батюшка, вы все в степи с проповедью были: давно здесь не крестили никого... не доглядел я, а полубочье-то и рассохлось...

– Но как же быть с Алексеем-то? – заволновался о. Сергий.

– А окрестите в Иртыше, – посоветовал староста.

– Что ты? – испугался о. Сергий. – Теперь осень, холодно: простудиться может он...

Но староста только усмехнулся.

– Ну, киргизы – народ крепкий: у них каждый словно молотком сбит, они и зимой в воду лазают. Что ему сделается, батюшка?!

– Да когда же успеть? До обедни, ведь, надо, а на Иртыш идти далеко, ему причаститься нужно. Тут бы я его окрестил сейчас, а за обедней приобщил, а то после обедни сегодня мне, ты знаешь, ехать нужно. И окрестить могу я только на пароме, ждать же до завтра и служить обедню не могу, потому что замедлю отъезд.

– А он, батюшка, в Жерновке причастится, – сказал староста, – на обратном пути, а пока ты обедню служишь, мы всё изладим, чтобы его на пароме окрестить... Да и день к тому времени обогреет: ясный, виши, какой встал...

Его доводы убедили о. Сергия, и он совершил литургию спокойно.

Тем временем на пароме-самолете всё было приготовлено к крещению.

Иртыш в том году страшно обмелел, от берега шла длинная гать (насыпь) до парома.

Отец Сергий, совершая требы, думал об Алексее.

— «Спрыгнет в воду с парома, ну, а как из воды идти? Нагому идти далеко, да и холодно»...

И тут же распорядился, чтобы из его квартиры трапезник принёс лестницу и снес её на паром.

Алексей, ничего не зная обо всех этих распоряжениях, внимательно, стоя на паперти, смотрел на служение, слушал пение, и глубокая дума шла по его лицу.

Крещение было торжественное: народ стоял по отмели и молился.

День, совсем летний, облил Иртыш солнечным светом, но осенне солнце плохо грело воду; и, когда о. Сергий погружал новокрещёного Алексея в быстрые струи Иртыша, он задрожал и хотел карабкаться на паром, но миссионер сказал, указывая на приготовленную заранее лестницу:

— Вот лестница: иди по ней.

Алексей так и сделал, приостановившись только на миг.

На лице его было какое-то новое выражение умиленной, светлой радости, а из глаз, которые были ясны и не слезились, бежали тихие слёзы.

И он, когда о. Сергий докончил крещение, сказал, хватая миссионера за руку:

— Что я вспомнил, как на лестницу поднимался! сон какой!..

О. Сергий, видя волнение Алексея, увел его к себе, и он ещё дорогой торопливо принял рассказывать свой сон, забытый и воскрешенный в ту минуту, когда его глаза увидели лестницу, приставленную из воды к парому.

— Это, батюшка, тогда было, когда ты мою семью окрестил и из Бородулихи уехал. Сон тогда я увидел: будто я лежу на дне глубокой, глубокой ямы с крутыми берегами, выбраться хочется, а силы нет, и знаю я, что не будет мне возможности сделать это, и так тяжело мне стало, точно камнем грудь завалили, просто силы терпеть не было... Но, вот, вижу, точно просветлело надо мною, вижу, человек в одежде белой стоит и говорит:

— «Вот лестница: иди»...

И на лестницу показывает.

Кинулся я к ней и полез кверху быстро, быстро, вылез, такая радость у меня на сердце сделалась!.. Так я и проснулся в

радости, чаю пить не стал, пошел к тамырам-крестьянам и спрашиваю их, что мой сон значит? – всех обходил, а они все мне, как один, отвечают:

– «Это Ангел хранителькажет тебе путь в Церковь Христову, чтобы ты крестился... Крестись»...

– Прошла неделя; у меня сердце не терпит; оседлал я лошадь и поехал: заезжаю в Жерновку к о. Феодору, рассказываю ему сон мой – опять, неразумный, пытаю, что мой сон означает, – а он меня тоже спрашивает:

– «Да ты куда едешь?»

– «К батюшке, о. Сергию, – говорю, – в Шульбу».

Он мне и говорит:

– «Ну и поезжай с Богом: на пути ты на настоящем!»...

Еду я и думаю, что приеду к тебе, батюшка, и ты мне, как следует сон объяснишь. Ехал, ехал, задумался о том, о сем, и сон мой вышел из памяти, вылетел из головы, как дым из трубы, и молчал я вчера, потому что даже на память мне ничего не взметнулось, точно и не было сна никакого: ни вечером вчера, ни утром сегодня ничего мне в голову не пришло, и вспомнил я сон мой только сейчас, на пароме, как сказал ты мне: «вот лестница: иди»... Как я лестницу увидел и на тебя посмотрел: ты в ризе белой наверху, отец мой, того светлого напомнил, и лестница, твоя лестница – мою... И вот мою голову словно осветило...

И Алексей заплакал.

О. Сергия охватило волнение.

Действительно, сбывшийся сон был замечателен для этой души, спасенной для вечности.

Он усадил своего гостя и, глядя на его радостное просветленное лицо, почувствовал, что и в его сердце родилась большая и светлая радость за эту спасенную душу.

А Алексей радостно говорил:

– И во время, ведь, оглашенья в голову ничего не шло, а тут ты меня ещё смутил перед крещением: стал оглашать по-киргизски; мне обидно стало: я думаю – ведь я в русскую веру перехожу, зачем говорить буду по-киргизски? и тебе сказал, что по-русски говорить буду, даже, осердился на тебя немножко... А как ты меня спросил, проклинаю ли я Магомета, я промолчал:

это около меня темные духи ходили... Молчу, а сердце тоска давит: думаю, все его наши почитают, как же я отрекусь и его прокляну... А ты опять меня спрашиваешь:

– «Проклинаешь ли Магомета?»...

– У меня, прости, слово сорвалось: «как же, батюшка, всё же он пророк был Божий!?»...

– А ты мне:

– «Стало быть, тебя крестить нельзя: одно говори что-нибудь, – Христос или Магомет, свет или тьма»...

И стал меня учить.

– И с каждым твоим словом тьма отходила, таяла, как снег под солнцем весною тает, и, когда ты спросил опять, проклинаю ли я Магомета, меня точно кто по сердцу стукнул и я закричал:

– Проклинаю, проклинаю!!!...

– И мне его толкнуть захотелось от себя... А потом, когда лестницу увидел, слёзы сладкие литься стали... Да, это Христос мне сон послал.

И о. Сергию было радостно слушать речь своего прозелита, которого он крестил во славу Господа Бога.

Тихий закат горел пожаром, окрашивая в оранжевые цвета тонкое марево облаков на западе. Звенели мелодичным звоном колокольцы, вечерний, легкий туман начинал кутать Иртыш. Холодало, но ночь обещала быть волшебно красивой и сейчас уже, пока ещё бледная в куполе синего неба, чуть наметилась первая вечерняя звёзда.

Лошади тихо бежали по степной дороге.

Степь тянулась длинною полосою, окруженной на горизонте причудливыми силуэтами далеких гор, ещё местами зеленеющая поздней отавою, ковыль, пронизанный светом заката, купался в золотисто розовых тонах, и так хороша была эта картина, что глаза о. Сергия, не отрываясь, глядели на нее любующимся взглядом.

– Горы-то дальние, точно лестницы, поднимаются и в небо уходят, сказал толмач, ехавший с ним.

– Чистые контуры, – промолвил о. Сергий. – Нет такой чистоты у людей, как в природе... задумчивая прелесть, красота одна... Если бы не люди, которым мы нужны, ушёл бы туда на

вершины лестниц этих, к Богу, к небу ближе, да нельзя: надо выводить по лестницам земным таких, как Алексей.

И задумался, любуясь угасающим вечером, глядя на темнеющее небо, на котором звёзды вспыхивали и разгорались одна за другой. Задумался о ведомом одной его чуткой душе, может быть, о том, какими небесными лестницами уходят в высоту неба его избранники, туда, выше звёзд, в Царство Божие, где иная, вечная красота и где ждёт алчущих и жаждущих правды награда за подвиг жизни.

В Алтае

(Памяти о. Стефана Ландышева)

Словно зачарованные ветвистые кузук-агаши глядели с уступа в долину, сверкающую миллиардами блесков под бледным чистым сиянием луны. Алтай, точно заколдованный, ослепительно сверкал в эту ночь, будто осыпанный драгоценными камнями, и оснеженные горы особенно ярко выступали причудливыми линиями на фоне темного, глубокого зимнего неба. Ветра не было, и снежинки сырьые, мягкие и пушистые облепили хвою пышным убором. Как в сказочном царстве стояли леса, и красавец ак-иик (олень), слегка откинув украшенную ветвистыми рогами голову, задумчиво глядел умными красивыми глазами на эту картину, прекрасную, совершенную и чистую.

В самой глухи была эта долина. Сюда не проникали миссионеры, сюда не заезжали купцы. В ней, в самой её глубине, жил только Чотпор, старый отшельник Чотпор, боявшийся людей, особенно белых, и его маленький правнук Кодон (заяц), названный так за уменье быстро бегать на лыжах.

Старик Чотпор считался ярынчи (ворожащим на костях), и к нему ходили люди, но за последнее время он перестал ворожить и превратился в созерцателя, наслаждаясь миром своей долины и уча Койона своему закону. Целыми часами он рассказывал правнуку о древних богатырях, о Тенгере-Тедыгечи (небо-заключителе), о жестоком Шар-Жаалты, о богатыре Мормо и о том времени, когда, после смерти Ойрот-хана, Алтай перешел в подданство русских. Он учил его песням старины и передавал ребенку все, что знал сам, с любовью и терпением, находя в Койоне послушного и любознательного ученика. В двенадцать лет мальчик умел отлично находить дичь и питать себя и деда. В их юрте, спрятанной в скалистом уступе, было тепло, и всегда весело трещали дрова, в которых не было, конечно, недостатка. Несколько коз давали им молоко, умея и зимой найти себе пропитание, и они жили в любви и мире, кроткие и добрые, поклоняясь своим богам.

В эту прекрасную зимнюю ночь они оба – и дед и внук – не спали, томимые заботой друг о друге. ещё с утра у них потерялась одна из коз, и Койон пошел, надев лыжи и взяв старое ружье, на поиски ее. Ушёл и не вернулся к ночи, как делал всегда, и старика брала забота о правнуке всю прошлую ночь и сегодняшний день. шёл густой снег, был сильный туман, и кухта пала на деревья, только к ночи вызвёздило.

– «Не забрел ли Койон куда? Ведь, хотя он и знает дорогу, но он так мал, а лютые звери таятся в трущобах Алтая, карауля неосторожного!»

Старое сердце Чотпора ныло и томилось, и, выбравшись из камней на уступ, он глядел узкими, всё ещё зоркими, несмотря на старость, глазами в залившую светом луны сверкающую долину и чутко слушал, не раздастся ли лай собак ушедших с Койоном.

А ночь торжественная прекрасная стыла, замораживая мокрую кить. Чудно красивы и причудливы были деревья в этом убore, но мимо взора его проходила эта красота. Вдруг он насторожился: далеко раздался лай, чуть слышный, и эхо принесло его к Чотпору. Стариk, сидевший на камне с трубкою в своей теплой шубе и странной шапке, встрепенулся и усмехнулся радостно. Койон возвращался. Торопливо сойдя с камней, он прошёл к жилищу, набрал хворосту и, отворив деревянную дверку своей керегэ, (решетчатой юрты), похожей на хлебный скирд, обтянутый старой кочмою, бросил на огонь свежего хвороста, что заставило пламя весело подняться к верху туда, где зияло отверстие дымного выхода. Два козленка, привязанные на чумбуру, заблеяли, проснувшись, и пламя осветило немудрый скарб просторной керегэ, в которой лежали 23 сумы, и, подалее от стен, ближе к огню, стоял короб из бересты с ячменем, накрытый полукругом, сделанным из цельного дерева, с тонкими стенками и дном: им просевали толкан.

На полукруге лежало решето из сыромятной кожи, исколотое шилом; дальше лежали мешки из кожи барсука и других зверей и домашних животных, таганы, котел о трех чугунных ножках и чашки из корня березы. Котел стариk придинул к огню, положил

в него снегу и поставил на огонь; потом, придвинул к себе баста (рубчатый камень), посыпал на него ячменю и, растерев, всыпал в котел, поставив на огонь другой котелок для чая; достав сушеную баранину, он положил кусок её в варево, всё время чутко слушая.

Лай слышался совсем близко. В нерушимой тишине ночи послышались и голоса, которые заставили насторожиться старика.

— "Чужие!"

К его юрте в эту сверкающую ночь шёл чужой гость, вместе с внуком, и старик вышел встретить его, потому что свято чтил заветы старины и считал гостеприимство добродетелью, сохранившейся во всём Алтае. В свете месяца он увидал группу из трех человек, двух собак и одной лошади, на которой сидел один из трех, а его внук шёл рядом с небольшим человеком, чье молодое лицо смотрело любующимся взглядом на красоту долины и гор.

Узкая бородка, красивые, ясные, светлые глаза, большие и умные черты лица и мягкая улыбка под заиндевевшими небольшими усами понравились Чотпору, он распахнул перед пришельцами досчатую дверь керегэ и помог снять с лошади тихо стонавшего человека.

— Они заблудились, дед, — объяснил Койон, — и лошадь человека убила, а этот абыз дал ему свою. Я нашёл их далеко за озером, — назвал он место. — Этот сильно расшибся и не мог ехать... да им и далеко... Вот я и привел их ночевать, хотя абыз и горюет, что не попал домой: у них сегодня большой праздник.

— "Абыз?"

Старый язычник поднял голову.

— Абыз? — медленно прошептал он.

И они вместе с этим абызом удобно уложили на кочмы ушибленного, хороню говорившего по-алтайски, человека.

— Ой! — стонал он. — Ушиб или сломал я ногу? Внук твой, старик, говорил, что ты умеешь лечить.

— Садитесь, батюшка, вы из-за меня намотался, а всё эта кити виновата с туманом. Никогда я не блудил. Вот так год новый встретить где пришлось.

– Не горюй, Ташкинов... пустяки! Обо мне горевать некому, а твои знают, что мы можем запоздать; могут подумать, что больной, которого напутствовали, помер, и мы остались из-за него. Давай-ка я сниму с тебя пимы. Спроси хозяина, что он думает о твоей ноге? Как жаль, что я ещё плохо знаю по-алтайски.

Он давно снял с себя шубу и, оставшись в стёганом подряснике, заботливо разувал своего спутника, а старый Ярынчи Чотпор внимательно ощупал ногу.

– Пертык-сынык! – сказал он и сейчас же принялся за лечение.

Он умело забинтовал в лубки кость, сложив её под стоны больного, и обложил ногу снегом, потом достал из сумы небольшую частицу корня травы од-элен (огненная трава), которую редкие знали и мало находили, и дал съесть больному, приказав внуку разварить рыбий клей в маленьком таганчике.

– Ты будешь его пить! – сказал он больному и с поклоном пригласил абыза попить чаю и поесть варева, приготовленного им для внука, что тот сделал, не отказываясь.

Больной притих. Забинтованная нога и снег помогли и утишили боль. Ему только не хотелось спать и он заговорил:

– Тебя зовут Чотпор?.. А мы с абызом из К-а... – назвал он стан по-русски. – Он священник, а я – переводчик. Ездили исповедовать... торопились домой: сегодня новый год у нас наступает, дорогу выбрал я краткую, да кить и подвела: в тумане сорвался в ущелье. Лошадь убилась до смерти, а я сломал ногу. Это счастье еще, как я не убился. Дороги не знаем; если бы не твой внук, старик, совсем бы плохо было.

Чотпор сочувственно качал головою.

– Койон завтра выведет абыза, а я, видно, ещё у тебя полежу! – грустно говорил Ташкинов – Нога ехать не даст... да и не на чем. Абызу нельзя: служба большая.

– Разве он лекарь? – спросил Чотпор, вынимая трубку.

– Лекарь! – сказал больной, усмехаясь, и перевёл священнику слова. Тот улыбнулся, положив руку на плечо сидевшего около него Койона.

– Лекары! – сказал он. – Да, я лечу души. У тебя тут хорошо, Чотпор!.. на улице тихо; можно открыть вход; смотрите, какая ночь чудная, и в юрте будет лучше, свежее!

– Тебе не трудно говорить, Ташкинов? Мне бы хотелось поговорить со стариком и ребенком. Переводи им мою речь. Я буду говорить медленнее и останавливаясь.

И мягким прочувственным голосом, подойдя к отверстию, он заговорил.

– Да. Прекрасен мир Божий. Тишина какая! Новый год идет, а вы тут в пустыне, простые сердцем, дитя и старец, встречаете его, дело милосердия творя, принимая странников, заблудившихся, помогая больному, и мне захотелось, служителю Господа, красоту эту сотворившего, – указал он на долину рукою, – сказать вам благодарность глубокую и пожелать, чтобы Он, Господь милосердия, коснулся ваших сердец. Вы никогда о Нем не слыхали, не слыхали о Его жизни, о Его святом учении, о Его милосердии ни ты, дитя, ни ты, старец. Это было давно. Всё это, весь мир сотворил Он. Эти чудные горы, это небо и звезды, и нас людей, живших во зле и неправде. И когда зло усилилось на земле, Он кинул небо и пришел к нам говорить о любви. Как хорошо Он учил, целил болезни, воскрешал умерших, творил всякие чудеса. Но Его не взлюбили злые люди и убили, положив на крест и вбив гвозди в руки и ноги. Перед этим они мучили Его, но у Него было столько любви в сердце, что Он молился за них. Через три дня Он воскрес. Воскрес и ушёл на небо, а всё Его ученье состояло в том, чтобы мы любили друг друга, как сами себя. Койон бросил поиски своей козы и помог нам, приведя нас под кров свой. Ты, Чотпор, сотворил нам милосердие, и я ещё раз зову на твоё жилище благословение моего Христа Бога всего мира и этой прекрасной страны, Который любит тебя и видит твоё милосердие.

Ташкинов передавал хорошо: он отлично владел языком Алтая, и слова священника в тишине звучали силою, касаясь языческой души. Для Койона же они звучали откровением. Он встал от огня и приблизился к священнику робко, несмело взял его руку, тогда как старик сидел, глядя на огонь, и слушал, держа во рту не раскуренную трубку. Священник взял детскую,

закопченную, смуглую руку своей теплой и мягкой рукою и, притянув его к себе, указал на небо:

– К тебе и твоему деду послал меня Христос, полюбивший вас, – сказал он. – Ты любишь эти звёзды, небо и горы, а старик Чотпор любит тебя... всех же любит Бог. Там мы всегда будем жить. У меня там всё за этими звёздами... там – дети Чотпора, там твои мать и отец у Бога. Знаешь, Койон, мне иногда в такие ночи кажется, что небо открывается и видятся белые тени ангелов, помощников Бога, и тени умерших наших отцев и тех, кого мы любили. Я думаю, что Бог, полюбивший душу, не оставит её, думаю, что ты придёшь туда через горы в мою долину по тому пути, как я тебе рассказывал дорогою, чтобы ещё раз поговорить со мною о Христе, который тебя любит. А может быть, – прибавил он, – тогда ты лучше меня расскажешь деду обо всем, что услышишь.

Больной тихо простонал, кончив речь, и священник торопливо нагреб снегу за дверью и обложил его ногу с помощью поднявшегося старика.

– Скажи ему, Ташкинов, пусть он ляжет. Мы и так принесли ему беспокойство. Я сам похожу за тобою.

Старик согласился не сразу: он сказал, что привык спать мало, но все-таки лег по настоянию своего гостя. Уснул и Ташкинов, успокоенный компрессами, и священника потянуло на воздух из прокопченной юрты. Он тихо вышел в сопровождении одной из собак и остановился на первом уступе, заглядевшись на сверкающую долину. При свете он взглянул на часы, они показывали полночь.

– Новый год! Что принесет он с собою для людей этой мирной долины?

И точно в ответ ему снег скрипнул за ним и раздались робкие шаги. Мальчик подошёл к нему и опять, как в юрте, взял его за руку.

– Я приду! – показал он за перевалы оснеженных гор и повторил твердо и ясно: – Я приду.

Священник понял. Он молча привлек к себе крепкую фигурку в теплой шубе и ласково-ласково взглянул на детское, полное мысли, умное, скуластое лицо, привлекательное и

свежее, несмотря на копоть, покрывавшую его, и долго безмолвно он, ребенок и собака глядели на волшебную красоту долины, затерянной в горах и осыпанной снегами, в которой они, соединенные судьбою, встречали пришедший новый год, далекие от людей, среди красоты, тишины и мира, вместе с кузук-агашами на крутых выступах и ак-ииками среди леса, в долине, под торжественным сиянием месяца и звезд.

Милосердный

(Памяти протоиерея о. Василия Вербицкого)

Тихо шелестит ветвями липовая роща, осыпанная цветом; пчелы гудят, собирая мед. Солнце с синего весеннего неба обливает горячими лучами огромную пасеку, с рамочными ульями, с полянками, засеянными медоносными травами, с душистыми полевыми цветами, пробирается светлым лучом в маленькую беседку и озаряет лицо высокого старика, сидящего там над раскрытой книгой. Это – хозяин пасеки – одинокий старик миссионер, сам насадивший это редкое в Сибири, растущее только в Кузнецкой тайге, дерево – эту липовую рощу, сам устроивший обширную пасеку.

Это – красавец старик, с длинной серебристой бородой, тонкими чертами лица и глазами добрыми и прекрасными, немного грустно смотрящими на Божий мир. Всю жизнь один, в ранней молодости потерявший все, что было ему дорого: жену и сына, целую жизнь принесший на служение дикарям. А сколько она сулила ему, молодому, талантливому эта –догорающая теперь – жизнь? Миссионер глубоко задумался.

– «Бесплодно ли прошла она?» – эти мысли часто приходят ему в голову. – «Видно, смерть близко, видно, расчеты нужно кончать с жизнью, итоги подводить, чтобы бестрепетно стать перед престолом Того, Кто воздаст каждому по делам. Ничего особенного не сделал, никакого подвига!» – тихо шепчут его губы. – «Господи, Господи, только надеюсь на одну милость Твою!»

Этот смиренный старик забыл то, что сделал и делает, евангельски забыл в простоте своего много страдавшего и любившего сердца. Ему не вспоминается его прошлая жизнь, молодость, пережитые муки и первые шаги в миссии, не вспоминаются непроходимые дороги, борьба со стихиями, переносимые холод, зной и утомления, истощавшие его организм. Куда уходили его деньги, сравнительно небольшие, но все-таки, при его малых потребностях, составлявшие сумму, об этом бы сказали новенькие избушки инородцев, лишняя лошадь, уплаченный за выбивавшегося из сил в работе человека долг,

радостные лица ребятёнок при виде лакомств и сластей, даваемых им. И так всю жизнь, всю жизнь для других! а он – не помнил этого!

Сегодня ему было особенно грустно в тишине его любимой пасеки. Интересная книга любимого автора не интересовала почему-то и, встав, он вышел из беседки и стал ходить под липами, поднимая порою задумчивое лицо к синевшему сквозь просветы веток теплому майскому небу.

– Батюшка!

Робкий детский голосок окликнул его. Он звучал доверчиво и просительно. Стариk быстро оглянулся: из-за плетня, окружавшего со всех сторон рощу, на него глядело детское лицо мальчика инородца. Стариk улыбнулся ему.

– Чего тебе, милый?

– Меня мамка послала к тебе. Я в доме был, да меня сюда не пустили: «отдыхает», говорят, а я – сюда.

– И хорошо сделал... Чего нужно-то, говори!

– Мамка велела сказать, что у ней брат хворает, раны на нем, гной... – никто ходить не хочет за ним, а от него дух идет. Мамка сама тоже лежит... плачет, говорит: «иди к батюшке, скажи, может придёт, поможет». Я – к тебе... твоему Николаю сказал, а тот: «убирайся, отдыхает!»

– Ладно, милый, погоди здесь... сейчас я. Он где лежит, дядя-то твой?

– В землянке около нас... там под яром, около реки.

– Жди тут, я всё принесу, что нужно, и пойдем. А к дому не ходи: мы тут через заплот и вместе лесом до берега.

Священник быстро пошел к дому и через 10 минут показался снова в аллее, с узелком в руках и светлой соломенной шляпой на голове. Он с трудом перелез через забор и, взяв за руку мальчика, спешно зашагал меж деревьев перелеска, окружавший со всех сторон маленький миссионерский стан.

В землянке было душно, и отвратительно пахло разлагающимся заживо трупом. Войдя, миссионер оставил за собою открытой маленькую дверь, распахнул настежь крохотное оконце, но все-таки голова его начинала кружиться, и ему сделалось дурно от спрятого воздуха. Но он пересилил себя и,

весь побледнев, склонился к дощатой кровати, на которой, разметавшись, лежал ещё молодой алтайец.

– Алексей, узнаешь меня? – окликнул он того.

– Узнаю, батюшка. Ох, смерть моя, видно... жжет меня... тошно мне...

– Бог милостив! – и священник наклонился к его ногам. – Отчего ты не посыпал за мной давно?

– Всё бился, думал – лучше... Стариk лечил, сказывал – «волосец попал и ходит, от этого и раны на ногах», а теперь дня три дух идет, и жар огнем жжет меня. Стариk бросил ходить: «не могу, говорит, душа не терпит». Я всё один, батюшка, пить даже некому подать, а умирать не охота тут. Теперь весна: горы-то зелёные, реки быстрые шумят, а я лежу.

И он заплакал. Свободолюбивая душа инородца не могла выносить этого мрака землянки. Там, на зеленых горах, на просторе, на воздухе он бы легче умер, смотря тускнеющими глазами на любимую природу: и миссионер понял это.

– Погоди, вот я обмою тебе ноги, одену тебя в чистое и перенести людей позову. У меня в доме хорошо: горы видно, лес, Кондома близко – шум из окошек слышен, а птицы в саду так поют, что спать тебе давать не будут.

– О, батюшка!

И исхудалые руки, схватив руку священника, поднесли её к горячим губам.

– Лежи, лежи смирно. Где же мальчуган Ваня? Убежал? Ах, он этакой. Постой, я за водой схожу... есть у тебя что? Вот, нашёл.

И миссионер, взяв маленькое железное ведерко, сходил к реке, вымыл его и, взяв воды, опять вернулся к больному. Развертел его ноги, завернутые в вонючие лохмотья, открыл и ужаснулся, хотя ничем не выдал своего волнения: ноги до колен опухли и были багровы, кое-где выше к колену поднимались белые пузыри. Ниже, на почерневшей коже были раны, с какой-то кашеобразной, гноевидной массой вместо тела, местами просвечивали кости, и от этих ран шёл ужасный смрад.

– «Гангрена!»

Миссионер сразу определил болезнь, да и не трудно это было сделать; а живой труп вопросительно глядел на него, и жажда жизни светилась в его тёмных, лихорадочно горевших глазах.

— Бог поможет! — тихо сказал миссионер и принялся осторожно обмывать ноги принесенной водой.

Он намочил чистые, белые тряпки, захваченные из дома, и промыл все раны, потом другие тряпки намочил найденным в захваченной с собой аптечке камфорным маслом и завертел этими тряпками ноги больного. Кончив перевязку, снял с больного лохмотья и бережно одел в принесенное чистое белье и, после всего, вымыв руки, умыл ему лицо и помочил голову, а потом, едва владея собой, — так у него кружилась голова от этого ужасного запаха! — сказал, что пойдёт за людьми, которые перенесут, Алексея в его дом.

II

Часы тихо тикают на стене; шумит самовар на большом столе; приветливо светит большая лампа; лунная ночь смотрит в открытые окна; ветки черемухи врываются в комнату, осыпанные белыми цветами, и своим ароматом наполняют ее. И в соседней комнате тоже отворены окна — чистому воздуху свободен вход, приток его велик, и однако ни он, ни аромат черемухи не может заглушить ужасный запах разлагающегося трупа, уже дней пять наполняющий этот дом. Теперь он скоро исчезнет: тот, кто его внёс с собою, перестал жить и лежит спокойный и холодный на большом столе в комнате, соседней с той, в которой накрыт чай. Около него миссионер; все эти дни он не отходил от больного дни и ночи. Бедному так не хотелось умирать, до самой смерти жажда жизни томила его.

— Подними меня, батюшка, горы поглядеть. Река шумит там... где она?... не вижу?!

И священник поднимал его исхудалое тело, подносил даже к окну, а тот жадно глядел на любимую панораму гор и лесов, на синие волны Кондомы.

— Батюшка, ох, тяжко мне! ох, не хочу умирать... жить хочу, батюшка.

– Живи, милый; смотри, как хорошо кругом, а там, на небе, тоже хорошо: ни тоски, ни страданий, ничего там нет, одна радость. Смотри, какое оно синее, прекрасное, а звёзды какие ночью! Любишь их? Все вы алтайцы звёзды любите, души чуткие у вас к природе, а ты вот всё грустишь, о земном печалишься!.. Мы, милый, выше этих звёзд будем и жалеть станем тех, кто здесь на земле останется. Смотри: нужда, землянки кругом, и свечек-то нету в них тут ночью зажечь, а там – звёзды сиять нам будут неугасимые.

Больной стихал, слушая его, и покорно ложился на кровать, о чём-то глубоко задумываясь. Он и умер так, задумавшись, уже не чувствуя боли в омертвельных ногах, так и ушёл навсегда в царство покоя, где вечно светят страдальцам неугасимые небесные огни.

Миссионер сам обмыл его, сам одел, заботливо нарывал своих лучших цветов, зацветших уже, которые он ранней весной выращивал в маленькой тепличке, и осыпал ими мертвое тело. Он сам и читал над покойным, потому что никто не мог выносить запаха трупа. Завтра его похоронят, а сегодня усталый и ослабевший миссионер не мог читать и сидел около покойного так, хотя открытый псалтирь лежал у него на коленях.

– «Господи!» – думал он, смотря на ночное небо, усыпанное звёздами. – «Слабость-то человеческая! и почитать не могу – последний долг отдать усопшему бедному. Что скажу Господу на суде Его, когда Он спросит? Обязанности своей не мог исполнить... вся жизнь прожита, а добра никакого; никакого поступка самоотверженного... а Он велел полагать душу свою за други своя. Господи милостивый, одно только у меня оправдание: никогда я сознательно не сделал никому зла!»

И, подняв голову, священник долго смотрел в открытое окно, с глубокой верою глядя на усыпанное звёздами высокое вечное небо, где, он верит, ждёт его другая жизнь, полная чего-то несказанно прекрасного, которую он страстно ждёт и желает давно.

Миссионер

(Памяти о. Василия Ландышева)

Нет больше той любви,
как кто душу свою положит
за друзей своих
– Покончили?
– Давно, батюшка... тебя ждем!..
– Стремена крепки? подпруги все осмотрели?..
– Все, как есть! Чумбур отвязали, как ты велел, чтобы не
запутался; теперь ехать можно.

И седой казак-толмач, возившийся около лошадей, вместе с
тремя инородцами, поднял голову кверху, где на площадке, под
скалою, стоял священник, ещё не старый, невысокого роста
полный блондин с красивым профилем и выпуклыми ясными и
быстрыми голубыми глазами.

– Ну, двинемся! Давай Сивку – я на него сяду!..
– Нет, для тебя, батюшка, я Карого: а этот – мне: он
молодой; боюсь, на скачке не сплоховал бы!..
– Этак он и под тобой тоже сплохует!.. нет, Федорыч: я
решил ехать на нем...

И привычным движением схватившись за луку седла, он уже
сидел на коне красиво и свободно, словно так и родился
наездником.

– А всё же, – сказал казак, – осторожнее надо: бома эти
постылые ещё ничего, а вот ловушка – боюсь я ее! И, ведь,
идолы – лесу мало им, что ли? Сделали бы мост маломальский,
бревна прикрепили.

– К камням-то? – улыбнулся священник, – однако ты
трусишь, Федорыч! тогда бы в объезд ехал!

Старик осердился.

– «В объезд!» а когда доедешь в объезд-то? Трусом-то я
никогда не был! А всё же, что Бога искушать?!

– Я пошутил, ведь! Смотри – красота какая; не сердись, а
гляди, душа храбрая! Ведь, мы тут на горах этих точно буны
пробираемся; поди изнизу посмотрят – не раз глядят, а хорошо,

старина? ведь, любишь всё это? Сердце-то у тебя мягкое, даром что угрюмый такой!..

Перед ними внизу действительно было чудно хорошо; долина вся тонула в зелени, залитая солнечным светом; река казалась серебряной лентой; горы мягкими синеватыми линиями поднимались повсюду; всё сливалось... в общем, казалось, там, глубоко была не долина, а целое зеленое море с островами в виде гор, а они, эти пятеро людей, на маленьких крепких конях, лепились высоко, почти под облаками, на обрывистой тропинке каменистого бома; над ними висла скала, голова кружилась даже, а всё трудное было впереди, и уже недалеко. Вот передняя лошадь алтайца проводника как-то странно сжалась, плотно укрепилась ногами на краю площадки перед нешироким, но головокружительным провалом, под которым зеленела бездна со светлой полоской реки, и вдруг легким скачком перепрыгнула на другую сторону на такую же каменистую тропу, как и та, что шла до провала; за нею прыгнула с такой же осторожностью лошадь толмача, потом лошадь священника и остальных. Все сосредоточенно молчали несколько минут, и только когда тропа расширилась и повернула в лощину к спуску, из облегченно вздохнувшей груди толмача вырвалось восклицание.

– А всё же не приведи Бог часто ездить тут: и до греха недолго!..

– Бог сохранит, Федорыч: ведь, мы за хорошим делом едем: объездом ехать пожалуй и в живых не застали бы Пантелеймона; я и теперь опасаюсь, успеем ли во время?! а, ведь, как он просил приехать!.. Спроси, вон, Давида, – он скажет тебе.

– Вольно им забираться вдаль этакую: жили бы в поселках, аль в Улалу селились, нет – дикари! надо им простор да волю: не тронь меня, никто не гляди на меня... а все же, вишь, душа крещёная – покаяния захотела!..

– Теперь близко, Тамыш? – обратился священник к проводнику и тут только заметил бледные лица инородцев: они ещё не могли прейти в себя от перенесенного волнения.

– Близко! – ответил проводник, – объездом болота на много места отводят, а тут только спустимся, брод проедем и будем на

месте.

– Жив ли Пантелеймон? несмотря на то, что прямо едем сутки только, но надо считать уже трое!.. – Ты два дня ехал, Давид?

– Да, батюшка! – ответил молодой инородец.

– Ну, на всё Божья воля... мы сделали, что могли! – сказал священник и о чём-то глубоко задумался, смотря на эту знакомую ему с детства любимую, диковинную и прекрасную картину... Вся жизнь тут в Алтае: сын труженика миссионера, сам миссионер и дети бы были миссионерами, да нет их! и скорбные тени легли на его красивое лицо; были и нету, не дал Бог вырастить... так, верно, нужно!..

– Федорыч! – прервал он свои грустные думы, – а, ведь, сознайся – привык ты к шатанью с нами – миссионерами? Поди, другой раз на тебя и семейные ворчат?!

– Ворчит старуха, да и Оля, дочка, иной раз не пускает... а тянет... правда, батюшка, что тянет: как придёт весна, так мне ровно дома дышать нечем станет, станет манить в горы, в глуши...

– Вот видишь, а ещё Пантелеймону дивишься: ведь, он тут родился.

– Вперед, Тамыш, а то тут и тропы-то нету: я не знаю, куда и ехать: даже трава не примята нигде!

– Сюда вот, через колоды... эта трава с дождей поднялась, тропу затянула, да и редко кто ездит здесь!

– Кому жизнь не мила! – пробурчал Федорыч. Блеснула светлая полоса реки.

– Вон там – за поворотом, после брода, и поселы Пантелеймона: он да ещё 3 семьи живут наши – сказал Давид.

И правда, минут через 20 на них потянуло дымком; и, свернув за гору, они увидели долину... У той же неширокой, быстрой, но мелкой реки, через которую только что перебродили, стояли в густых кустах черемухи несколько избушек, к одной из которых проводник направил свою лошадь... Собаки встретили их дружным лаем, на который выбежало 2–3 инородца и кучка ребятишек.

– Ну что? жив Пантелеимон?! – обратился к старшим миссионерам.

– Жив еще... только плох! – озабоченно ответил, выступая, старый алтайец;

– Плохшибко... и хозяйка с ребенком тоже... вот и у меня сноха валяется...

II

Слезая с лошади, миссионер оглянулся кругом, невольно оглянулся: так красива была картина, окружавшая его, точно большой сад – свежий, чудный... цветы... целое море цветов кругом; крупные, желтые лилии грациозно клонили головки у самых его ног, дикие мальвы яркими пятнами рисовались на зеленом фоне, белые, розовые, красные... голубые колокольчики переплела повилика, а огромные фиалки, невидимые из высокой травы, струили свой нежный аромат. Красивые, гордые лебеди плавали в небольшом озерке, приютившемся в котловине; горный поток рокотал по камням, слетая с высокого уступа; пена и брызги долетали до хижин... Не верилось, что в такой чудный день, среди этой красоты, тут, за стенами избушек, тонувших в зелени, умирали люди...

А они умирали: со свистом и хрипом вырывалось дыхание из груди Пантелеимона, тупо глядели его глаза, окруженные большими черными кругами; синие и темно-багровые пятна выступали у него на лице, они почти сливались с общим каким-то свинцово-серым цветом кожи; он тихо и редко стонал, лежа на лавке, около окна; в другом углу стонала его жена, а подле нее, разметавшись и раскрыв губки, девочка лет полуторых с такими же синими пятнами на лице, как и у отца.

– Девочка... Если бы не долг – миссионер не отошел бы от нее, как увидал; но он пересилил себя и двинулся опять к двери.

– Никто не входите! – сказал он своим, снова выйдя на свет и солнце, – тут зараза: черная оспа...

И, повернувшись, скрылся в избушке... Причастив Пантелеимона и его жену после краткой исповеди, он спросил у них, как звать девочку; те сказали и имя ребенка. Жгучей болью ударило его по сердцу

— «Таня»... Таня! И у него была такая же; лета, имя и болезнь, неумолимая, что губит эту, сгубила и ту так ещё недавно; страшная рана свежа в его груди. И, наклоняясь над ребенком, он стал целовать маленькие ручки, называя её по имени. Неизъяснимой лаской звучал его голос. — Таня... Таня! Бедная крошка моя, пить хочешь, детка родная? жжет головку, милая? я отворю окно, двери, мученица крошечная, маленький ангел!!

И он обвевал её головку рукавом, своей рясы, гладил рукою её волосики, и крупные слёзы выступали на его глазах и, незамечаемые им, бежали по щекам. Без сознания крошка... крошка, душно здесь, тяжко тебе?.. на воздух вынести?!

И, взяв бережно ребенка, он вынес её на воздух под тень развесистых черемух: ей ничего не могло повредить теперь: смерть наложила печать на маленькое лицо; губки ловили воздух, мягкий воздух горной долины, напоенный ароматом цветов; — «ей будет легче умереть тут», подумал священник, вот так и он свою Таню унес в сад, и она лежала, как и эта, закинув головку, и дышала со свистом; такая же тусклая синева и пятна покрывали её лицо — милое лицо с большими голубями глазами; тени ложились на него — бедная, милая! ему с тех пор невыносимо видеть смерть детей, он мучается, глядя на них, и сердце его исходится от жалости... и как нарочно за эти 2 месяца, что прошли после смерти Тани, он много видел этих смертей... в его душу, хорошую, добрую, верующую, крадется горькая дума о том, зачем рождаются эти маленькие, ничем неповинные страдальцы, так рано кончая жизнь? и словно из тумана в ответ на его мысли перед ним выплывает прекрасное, доброе и нежное лицо немолодой женщины — матери его, любимой труженицы матери; вспоминаются забытые слова, говоренные ею с непоколебимым убеждением; часто она их говорила, когда хоронила детей, любимых, желанных...

— Ангелы нужны Спасителю... Его воля... им лучше там будет!..

И, примиренный этими воспоминаниями с тяжелой действительностью, он стал смотреть на лицо отходящего ребенка; воспаленные, запухшие глазки смотрели куда-то умным

пристальным взглядом, вдумчивым и тоскующим; что они видели – эти невинные глаза, о чем тосковали?! И он задумался над тайной смерти.

– Помирает! – подошёл толмач, – сердешная, а хорошенькая какая, ровно и не инородочка: глазки большие, волосики светлые... сироточка...

– А что? – встрепенулся священник, – разве умер?
И он кивнул головою на избу.

– Кончился Пантелеймон, царство ему небесное! И баба отходит... лютая оспа на них, смертная... Глядите, глядите, батюшка! Понизив голос, почти прошептал он.

Священник взглянул на ребенка, на которого смотрел толмач, глазки девочки закрылись, на милое лицо легло выражение полного покоя, и только легкий трепет пробегал по худенькому телу.

– Умирает!..

– Умерла уже! – скорбно сказал миссионер, – маленький горный цветочек!

И он встал, бережно поднял с колен свою легкую ношу...

– Теперь ни воздуху, ни солнца не нужно более! Пойдем, Федорыч: ты, ведь, оспы не боишься; – обрядим Пантелеймона и крошку с ним... Мать-то бедная: тяжко ей!..

– Сама она, батюшка, скоро с ними будет!..

– Видишь, недаром мы через бома с тобой перевалили: час бы – и долга исполнить не пришлось Пантелеймону... Всё Бог по любви своей не захотел отпустить душу его нераскаянной... гляди на небо, – за тонкими тучками, за маревом этим белым – выше синевы, – теперь он там, ушло все: и жизнь трудная, и болезнь, измучившая тело, заботы и печали... Хорошо там, Федорыч! Хорошо... только всё же сердце наше слабое, к земле привязанное, больше любит это видимое – долины, горы родные! – докончил он с грустной улыбкой, кладя трупик ребенка рядом с мертвым отцом, – мы хотя и орлами под небо с тобою взлетали, а всё же, выходит, кроты слепые: все к земле, все к земле поглубже да подальше: так и борется в нас дух бессмертный с телом, из земли взятым: дух-то туда, куда крошка эта и Пантелеймон ушли, куда и эта бедная уходит, – жестом

показал он на женщину, – а тело ещё сюда хочет, землю ищет! Люди мы слабые!

И он поник головой, стоя на пороге избушки, куда отошел от стола; и его голубые глаза грустно смотрели на горы и леса, окружавшие их; в них был упрёк, упрёк самому себе за то, что он так их глубоко и сильно любил, за то, что им, да их сынам слабым, страдающим, он отдавал свои силы с такой радостною готовностью, ему казалось, что этой двойной любовью к природе и людям он заглушал в себе любовь к их Творцу... Но, несмотря на эти думы, сердце его не скорбело об этом, и, глубже вникнув в них, он вспомнил слова Евангелия: «Больше сея любви никто же иметь, да кто душу свою положит за други своя», и в его душе, вместе с этими словами, росла горячая готовность положить эту душу за други, за слабых, больных, умирающих!

– Им силы мои, Господи... им моя жизнь!.. Таня, голубушка, милая! прости, что отец не рвется к тебе: посмотри, сколько здесь страдающих, несчастных, а у папы твоего силы ещё есть! Свидимся, девочка, успеем: вечность ждет...

И, поникнув головою, он опять вернулся в избушку, где глухо стонала умирающая женщина слабеющим голосом, и сел около нее, стараясь водою освежить её запекшиеся, почерневшие уста...

Из воспоминаний о былом

Памяти о. Л. Р-а

«Я объездил Европу, видел Африку, но в две недели, в которые я прорезал мимолетно Алтай, я убедился, что его красоты выше швейцарских и многих мест моей родины Кавказа!»

(Из речи ген-губернатора барона К.С. Нольмен)

Тихо, тихо!.. Крутymi уступами сбегают мраморные скалы к темной глади Телецкого озера; спадая откуда-то из ушедшей в туман вершины, шумит и бьется водопад; подножие скал у самого озера, точно мелкие лавры чело избранника, обвila брусника, плотно прижалась она к серым с голубями жилками камням толстыми листиками, и как-то нежно и грустно выглядывали её цветки бледно-розовые, точно восковые, мелкие колокольчики, похожие на российские ландыши формой своих цветов. У самого берега в воде видны камешки, красивые, оригинальных форм и оттенков, отливающие серебром и золотом. А кругом высокие горы, дремучие леса... дикая и величественная картина алтайской глухи, далекой от цивилизованного мира, глухи, неодолимо притягивавшей моё тогда ещё детское сердце, сердце 14-летнего мальчика, безумно любившего эту величавую природу!..

Каждое лето до самой поздней осени отец посыпал меня в Алтай, так как я рос худым и слабогрудым, а горный воздух целебно действовал на меня. И зимою я всегда мечтал об этих летних днях, жил воспоминаниями о них; у меня были друзья между инородцами, бывавшими у миссионера, у которого я жил. Я понимал их язык и говорил сам, хотя и плохо; я любил их быт, их заунывные песни, плавные и тягучие; любил их темно синее небо, высокие горы, ритмический плеск Телецкого озера, крупные болотные незабудки и белые лилии, – всё то, чем жили и наслаждались эти дикари.

За мною не особенно смотрели, а я, самостоятельный от природы, сразу как-то стал на положение взрослого, и о. Лев задумчивый, вечно занятый, относился ко мне как к большому, и

привык, чтобы я был с ним всегда, когда он совершал свои поездки с проповедью.

Где-где мы с ним не побывали, в какую глушь и тайгу не забирались! О. Лев был ещё очень молод, и мне было весело с ним: я не стеснялся его, рассказывал ему мои впечатления, делился думами, и он часто оживлялся со мною...

Как сейчас помню лицо этого монаха, круглое русское лицо, опущенное русой бородкою и украшенное темными славными глазами, несколько близорукими, приветливо и ласково смотревшими из-под очков; и голос у него был мягкий грудной, как-то особенно хорошо произносивший слова, ясно и проникновенно звучавшие на странном для русского уха языке, когда он говорил с инородцами о своем безмерно страдавшем Спасителе... Какое горе или испытание заставило его уйти в монахи и отаться миссионерскому делу, я не знал и не задумывался над этим; он для меня был товарищем, братом и другом!

В описываемое время объектом его проповеди было Телецкое озеро. Право, кто даже никогда не имел в душе искры поэзии, пожив на его берегах, начинал поэтически настраиваться, смотря на эту чудную панораму... Догорала ли вечерняя заря, вставало ли солнце утром – что за дивная картина представлялась взору!.. Мне казалось, что эти горы, окутанные свежими сумерками или утренними туманами, стройные и величавые молятся Богу... а Телецкое – то приливая, то отливая, поёт хвалебную песнь своему Создателю... тихо, нежно, боязливо, как дитя, поёт – неумело, но искренно, теплую молитву.

И о. Лев восхищался не менее моего.

– Ваня! посмотри, милый, – будил он меня рано утром, – красота, какая!..

И он далеко отбрасывал полу палатки, и мы, восхищенные, смотрели, не отрывая глаз... Розовый восток разгорался; свиваясь высоко, ползли туманы... озеро стояло тихое, подернутое легкой рябью... обновленная росою зелень, яркой каймою, как пышною рамой, оттеняла прибрежные скалы... и вдруг брызнет луч-другой солнца; ярко ослепительно всё

засияет, засверкает, и снеговые вершины, и ленты водопадов, и рябь Телецкого озера!.. А мы стоим, бывало, словно зачарованные, такие маленькие, такие ничтожные среди этого величия!..

– Пойдем в горы! – обыкновенно после раннего чая предлагал о. Лев. – В полдень ко мне димичи приедут из аила, проповедовать буду; а теперь погуляем.

И мы взбирались по скалам тропинками, протоптанными «бунами» и горными козочками, осторожно ступая по осыпавшимся камням.

– Ваня! – отчаянно порою вскрикивал, хватая меня, о. Лев.

– Что? – останавливался я, испуганный...

– Цветок-то раздавил! – искренно сокрушался он, поднимая колокольчики брусники, – ох, жалость какая!..

– Да, ведь, нельзя же! – оправдывался я, – всегда что-нибудь давишь, ведь не на крыльях же лететь?

– Травки, милый, поправятся, а вот цветок-то сломленный...

И тени какой-то тайной думы бежали по его лицу.

А меня смешила эта страстная нежная любовь к цветам и искренний ужас при виде их гибели и... только; я звонко смеялся над ним.

– Ах, Ваня, Ваня!.. – грустно улыбался он, – ведь, им жить хочется; мне каждый цветок юной жизнью представляется: сломишь – безвременно загубишь ее!

А я, не слушая его, взбирался выше и выше, ближе к солнышку, туда, где кончались границы леса, и холодом тянуло от снегов... Что за панорама открывалась оттуда: бесконечные горы, широкая полоса озера, то исчезавшая за выступами гор, то снова сверкавшая всеми цветами радуги... ярко горели белки самых высоких хребтов, ленились розовые под солнцем быстрые водопады, а целительный воздух, пропитанный запахом смолы, так и лился бальзамом в грудь! Дышать было легко-легко!..

– Мы словно птицы! – скажу я, бывало, спутнику...

Он ничего не ответит, только улыбнется мягко и ласково, а глаза его блестят; как и мои, восторженно, и грудь также дышит порывисто, втягивая в себя воздух.

– Мы цари тут! – продолжаю я фантазировать, – люди – Бог с ними! – мы выше людей, выше всего земного!

– И к Богу ближе. Аминь! – мягко кончал мой спутник. – А только всё же далеки, далеки от Бога... пожалуй, Ваня, не один, а многие из людей, над которыми мы возвысились, ближе к Богу, чем мы, хотя и там, на земле...

– Спойте! – прошу я его, вперед зная, что он не откажется – только, знаете, что-нибудь не духовное, а такое – хорошее, но не молитву!..

И он покорно начинает петь, но непременно что-нибудь духовное, небольшим симпатичным голосом, – молитву Богородице, Слава в вышних Богу и ещё что-нибудь; а потом моё любимое – единственную светскую вещь, слышанную от него. Боже! Каким глубоким чувством дышал его голос! Как сильно страдало его сердце! Он пел:

«Наболевшее сердце искало,
Томясь, искало покоя;
Не поможет душе истомленной
Теперь состраданье людское;
Люди? – нет, не понять им того,
Что измучило сердце больное!
Я уйду от людей и пойду
Поищу у природы покоя.
Там, где лес шелестит, словно шепчет
Мне заветную тайную думу,
Там, где рвутся на волю ручьи,
И струи их несутся без шуму,
Где цветы голубые цветут
Средь спокойной и тихой долины,
Где, почти до небес, поднялись
Горных кряжей крутые вершины,
Там я сердце больное моё
Изолью и наплачусь вволю,
И поведаю тайну свою
Про мою бесталанную долю!..
Там никто не осудит меня,
Не вспомянет ошибки былье;

Великаны лесные стоят,
Мыслят думы свои вековые
И не выдадут тайну мою,
Мое страстное жгучее горе!
Оттого я природу люблю
В ней потонут все тайны как в море.
– «Ободрись!» – мне леса говорят,
Теплым ветром меня обвевая.
– «Ободрись! пусть свободно вздохнет
Пусть вздохнет твоя грудь молодая!»
– «Ободрись!» – мне лепечут ручьи
И рокочут, рокочут без шума,
– «Утопи в голубые струи
Свою грусть, свои тайные думы!»
Истомленное сердце мое
Утомилось и просит покоя,
Я на горы уйду к небесам,
В них зажгутся звёзда за звёздою,
Высоко... только небо да я,
Только звёзды мне ясные светят...
Там душа отдыхает моя:
Я один, и меня не заметят!..

Такая печаль, такое невыразимое горе слышалось всегда в этой песне, что даже я понимал, что это он поёт о себе, что это ему страждется, что он ищет покоя.

И я жадно слушал эту песню жалобу, пока он сам не начинал звать меня вниз... Мы спускались гораздо медленнее: голова кружилась на круtyх уступах... А когда начиналась жара, и солнце пекло невыносимо, мы забирались под купы деревьев где-нибудь около берега быстрой Камги⁴⁰ около белей⁴¹ или в других, удобных для проповеди, местах... тут уже сидели кружком инородцы в своих смешных шапках, с неразлучными трубками, женщины в чегедеках с косами, покрытыми яламбашками, в остроконечных шапках, ребятишки нередко совсем голые.

Для о. Льва выносили складной стульчик, мне стлали мой коврик где-нибудь поодаль, и я ложился, с наслаждением

вытягивая усталые ноги...

А о. Лев не садился: он всегда говорил стоя, горячо – убедительно. Недавно научившись алтайскому языку, он быстро усвоил его, и переводчик даже не вступал в беседу, лениво присев куда-нибудь в тень, а я, тоже отлично научившийся понимать алтайскую речь, из своего угла всегда с любопытством глядел на миссионера... Он весь отдавался проповеди. Любимой темой его была та, где Христос целил людей; говоря, что надо Его любить, что Он даст вечное спасенье всем, он приводил факты любви Бога к людям: воскрешение сына Наинской вдовы, исцеление бесноватого и слепорожденного и многие другие евангельские примеры.

Однажды он прямо поразил моё впечатлительное сердце...

В этот день он был с утра как-то особенно грустен и нервен, глаза носили следы слез, эти милые славные глаза...

Народу наехало к нам очень много и, по обычаю, на проповедь собирались на воздухе, около палатки... Сперва он просто и кратко рассказал про Спасителя, начиная с Его рождения, понятно и ясно, а потом стал говорить о чудесах. Ах, никогда и нигде после не слыхал я таких проповедей, такого убедительного, в душу шедшего, голоса!

– «И пришел к Нему один человек знатный и богатый, звали его Иаир; у него была единственная дочь, и он любил её, как и вы любите своих детей! Это был чудный, ласковый ребенок, с душой чистою, как белые облака, с глазами такими же синими, как небо; а для отца в ней было все: и жизнь, и свет, и счастье!.. И как ему было не идти к Спасителю, как не просить, когда его дитя умирало, умирало в расцвете сил и красоты?! Он шёл к Христу в смертной тоске, он верил, что Один Он может её исцелить, если успеет.

– «Господи, войди в дом мой: моё дитя умирает».

– «И сколько отчаяния было в его голосе! он – гордый богач – упал на колени и склонился до земли перед Спасителем, умоляя его за своё дитя».

– «Но было уже поздно; слуги печально пробирались к нему со скорбною вестью: «Не утруждай Учителя: она умерла.

– «Смертная мука овладела отцом: «Умерла! Умерла!» он смотрел, ничего не видя перед собою, а на него сострадательно и нежно смотрели дивные глаза с прекрасного лица Учителя.

– «Не бойся!»

И тонкая рука легла ему на плечо.

– «Не бойся, только веруй, и спасена будет!»...

– «Он услышал это, как сквозь сон, и машинально двинулся туда, к своему дому. Вслед за Христом пошла вся толпа под жарким солнцем, ослепительно заливавшим лучами городские дома и светлую поразительно прекрасную фигуру Христа, Его дивную голову с золотистыми волосами, мягкими волнами лежавшими по плечам.

– «Спасена будет! но, ведь она умерла?!» И сомнение крадется в скорбящую душу отца, он потерял веру в Пророка; Пророк не нужен ему: ведь, она умерла!

– «А Тот, Кто сказал, что она будет спасена, был уже в доме...

– «Тихо... В большой горнице за дверями плач и стоны родных, а на мягком ложе – она, его девочка, так и умерла, смотря в окно; черные волосы кольцами завились над мертвенно-бледным лбом, губки словно что-то шептали, полураскрылись, а глаза сжались навеки; холодная лежала она вся, его жизнь и счастье!.. Тихо и отчаянно рыдает жена, тени от занавесок ложатся на пол и заслоняют яркий свет, но и в полутьме ясна светлая фигура Учителя.

– «Не плачьте: она спит!»

– «И невольно горькая улыбка легла на губы отца: «холодная, безжизненная... нет, Учитель ободрить желает!»...

– «Выходите все!» – ясно и отчетливо говорит Он.

– «И посторонние уходят, улыбаясь над Ним, а Он склоняется к девочке, берет её холодную руку с начинающими темнеть ногтями и говорит:

– «Девица, встань!»...

– «Властью и просто – два коротких слова.

– «Что это? безумный крик отца, полный захватывающего дух ликования: из-под ресниц её глаза, синие, глубокие, чистые

смотрели в глаза Учителя, и столько было в этих глазах, благодарности и любви!!.

– «Господи!!»

– «И снова бьется у ног Христа гордая голова Иаира: «Господи, буди Ты благословен, буди благословен, Спаситель!»...

И о. Лев затихает, закрыв глаза и невольно отдаваясь впечатлению сцены воскрешения.

Тихо сидят инородцы, задумчиво покуривая свои трубки... а он снова начинает говорить, уча их, увлекаясь, опять рисует картины того времени, когда Христос был на земле.

Заводились и споры; среди дикарей были мыслящие головы; они не редко задавали вопросы.

– А скажи нам: Христос вот велел за людей умирать; вы Его слушаете... а умер бы ты, батюшка, за кого-нибудь?!

– Если бы пользу ему этим принести мог – да, умер бы! – искренно и просто своим правдивым голосом сказал как-то о. Лев, на такой вопрос.

Помню, у меня сердце сжалось при этих его словах, и я как-то совсем по-детски подошёл и прижался к нему, обняв одной рукой за шею, точно желая удержать, не пустить его умирать за людей.

Он улыбнулся мне:

– Что это ты, Ваня?..

– Отец Лев! – горячо по-русски сказал я, – вы им правду сказали?..

Я страстно желал, чтобы он сказал «нет».

Он взглянул на меня изумленно:

– Разве можно лгать? – вопросом ответил он, и вероятно заметив моё волнение, ласково улыбнулся мне...

Что это было за лето! Я его никогда не забуду: столько впечатлений я вынес, столько пережил! И моя детская душа впервые сознательно раскрылась на встречу всему чистому и прекрасному под влиянием моего спутника.

Настала и осень. Я умолял родных, приезжавших ненадолго ко мне, оставить меня в Алтае до самой зимы, и они, видя моё

порозовевшее лицо и слушая мои горячие не отступные просьбы, согласились со мною».

Так и кочевали мы с моим любимцем по его стану из края в край, пока в холодный октябрьский день судьба не привела нас опять на полюбившиеся нам берега озера, теперь угрюмые и дикие под лучами тусклого осеннего солнышка, как саваном опущенные первым снегом.

О. Лев ездил с последней проповедью и возвращался в свой стан, но так как наступал вечер, а ветер поднимался сильный и холодный, пронизывая до костей, до стану же оставалось добрых 30 верст, то мы решили переночевать в юрте алтайца Нурке, с которым о. Лев говорил летом о том, что он, последователь Христа, по Его завету, спасая другого, должен отдавать жизнь свою и отдаст, если это будет нужно.

Помню, когда мы ещё подъезжали к аилу, я стал особенно грустным: печальные картины природы или какое-то тоскливо предчувствие томили моё сердце, я сам себе не мог объяснить.

Хозяин встретил нас радушно, но лицо его было озабочено, на вопросы о. Льва он скоро рассказал, что его печалит сын, уплывший за Телецкое на охоту.

— Смотри, — говорил он, показывая на облака, несшиеся по небу, видному сквозь отверстие юрты, — видишь, как их гонит ветер? На озере подымается буря... трудно в бурю плыть поперек его... а он, Пыжак мой, смелый — кинется... тошно, тошно мне!..

Согревшись чаем, я вышел на берег и сел подле толстой ели за скалою, смотря на Телецкое; озеро было страшное, темное, угрюмое, огромное; волны глухо и строго шумели, набегая на берег; белая пена на гребнях ещё более оттеняла их темноту. Я с содроганием думал о том, каково среди них Пыжаку на его крошечной узкой лодочке, и невольно вспоминал рассказы инородцев о страшной глубине Телецкого, об его темном недоступном дне.

— А что если он утонет? Как ему будет холодно, пусто там!.. — фантазировал я... — Ты что это тут? заяб, поди, Ваня?!. Добрый милый голос разом отогнал мои думы; он сел около меня и распахнул полу своей шубы, зовя поближе к себе. Я живо

последовал приглашению и прижался к нему, чувствуя биение его сердца, неровно стучавшего близко, близко...

Мне было тепло и клонило ко сну, но я боролся и, широко открыв глаза, вглядывался в волны озера, стараясь рассмотреть там приближающуюся лодку; я знал, что туда неотступно смотрит мой спутник, смотрит, волнуясь. И сон отлетал от моих глаз, когда я думал об этом; сумерки сгущались, буря усиливалась, волны с рокотом неслись, страшные, черные, вспененные, с шумом налетая на берег; до нас, сидевших саженях в 15 от воды, долетали холодные брызги... Хозяин, много раз подходивший к нам, стал спокойнее...

— Пыжак заночевал на том берегу; он почуял бурю и не кинулся!..

И когда мы, успокоенные его словами, стали без волнения смотреть в темноту привыкшими к ней глазами, там на гребне гигантской волны моим глазам почудилось что-то темное и длинное. Должно быть и о. Лев увидал это, потому что он вздрогнул, и его успокоившееся сердце шибко забилось... Вот опять мелькнуло ближе... — Лодка! — разом почти крикнули мы и, вскочив, кинулись к юрте, зовя хозяина.

И, вот, близко подойдя к воде, мы трое и прибежавшие на наш крик соседи напряженно смотрим туда, где на волнах бьется человек в тщетных усилиях достичь берега... Буря срывала с нас шапки, жгла лица колючими снежинками, окатывала брызгами, а мы смотрели с замиранием сердца на гигантские волны.

— Абам! Абам!

Протяжный жалобный крик: сын звал отца, звал из пучины, где погибала его молодая жизнь.

— Пыжак... Сын мой! О!..

Старик застонал, забегал, потом упал на землю и, рыдая, забился на ней, сквозь стоны, повторяя: «Пыжак, сын мой... болам, милый»... А там из тьмы отчаянно неслось:

— Абам! Абам!..

— Веревки! Все, какие есть у вас, несите сюда; чембуры ихние, наши... скорее, скорее!..

Это крикнул о. Лев толмачу и переводчику, давно стоявшим около нас:

– Скорее, ради Бога!

Они побежали, а я испуганно смотрел на него.

– Костёр разведите в юрте... отверстие откройте, если ветер не помешает!..

И он сбросил с себя шубу, увидев, что бегут с веревками. Стариk, при его приказаниях поднявшийся с земли, подошёл к нему и спросил голосом, прерываемым рыданиями, что он хочет делать?

– Попробую доплыть до него! – просто ответил о. Лев... – Я хорошо плаваю... его не пускают волны... если помедлю – он утонет!..

– А ты?

– Я, Бог даст, доплыву назад; как крикну – притяните веревкою; только бы её хватило! – с опасением добавил он.

– А холод? Вода холодная... Ты – гость мой... простынешь... умрешь! Не пущу я тебя!..

– А Христос то мой что велел делать? Он... помнишь разговор наш? нет, не удерживай меня!..

– Ваня, милый, поцелуемся!..

И прежде чем я, задыхавшийся от слез, успел сказать слово, он, крепко поцеловав меня, уже скрылся в волне, властно схватившей его в свои холодные объятия. А с озера слышалось:

– Абам!.. езень – болзын, абам!

И такая трогательная покорность была в этом прощании гибнущего сына с отцом, что я неудержанно рыдал, слушая этот голос; рыдал, оплакивая и его, этого мальчика, погибшего у берега, и моего отважного друга...

А веревка длинная, казавшаяся бесконечной, всё развивалась и исчезала в воде; голос слышался слабее... мы все стояли, точно приговоренные, схватившись за веревку и ждали в томительном молчании... А буря бушевала, тучисыпали нас колючим снегом, темнота густела... не было видно ни озера, ни даже друг друга, и голоса не слышно стало... может быть буря заглушала его или мальчик выбился из сил! Неслышно было и обещанного условного крика; нам казалось, что прошли часы с того времени, как о. Лев кинулся в воду; мы уже начали отчаяваться, и вдруг почувствовали, что веревка точно

натянулась... напрягая слух, мы старались услыхать крик, но его не было слышно... И тогда, разом решившись, мы начали тянуть веревку, напрягая силы. Сперва она шла туго, но к концу пошла как-то легче, словно там в этой страшной черной мгле кто-то помогал нам.

– Господи! – вырвалось у толмача – глядите! глядите!..

Темная масса вынырнула из воды.

– Батюшка, милый!

И я кинулся ему навстречу.

Да, это был он, обледеневший, шатающийся, и своими окоченевшими руками крепко прижимавший к груди захваченное под мышки тело алтайского мальчика.

Что тут было, не стану говорить! У костра, в юрте, они отошли оба. Мальчик, почти юноша, живо оправился и даже рассказывать стал обо всем, что пережил, а о. Лев всё не мог согреться, несмотря на сухое белье, теплую шубу и горячий чай: дрожь пробегала по его телу, а лицо улыбалось; это милое мне лицо, на которое я не мог без слез смотреть.

Старый хозяин сидел около него, позабыв о сыне; он сам поил его чаем, кутал шубами и глядел заботливо и печально на его разгоревшееся лицо. Сам того не сознавая, он дал о. Льву огромную награду за спасение сына своими словами, глубоко того обрадовавшими.

– Батька! – сказал он, когда все успокоились, я люблю твоего Христа. У алтайцев нет такого Бога. Наш Бог хочет мяса, крови, жертвы, а твой велит помогать, велит умирать за других, я тоже хочу слушаться Его, хочу креститься, я и жена, и Пыжак!

И слёзы блестели на его старых глазах, а мой дорогой о. Лев сиял и радовался, и это была его последняя радость! Ах, как я мучительно плакал всегда, вспоминая последующие дни, вспоминая борьбу молодой жизни со смертью, эту агонию, тянувшуюся несколько недель, и смерть тихую и одинокую, как мне передавали. Меня, не смотря на мои мольбы, увезли домой... О, мой бедный, мой милый самоотверженный друг! Я расспрашивал многих потом, летом, приехав на его могилу, о смерти его, и мне говорили, что он умер, как праведник, на руках отца спасенного Пыжака.

— Все молитвы пел да стихи какие-то, вас звал иногда в бреду, а умер в сознании: велел при себе Пыжака с отцом крестить; сам его и принял от купели. Койку его к окну повернули; день был ясный. Он всё на небо глядел, долго-долго, и потом сам отвернулся, мы думали, уснул он; подошли взглянуть, а у него кровь тонкой струйкой изо рта бежит, и глаза закрыты. Потрогали, а он холодный.

Так умер он, мой дорогой друг, по завету Христа положивший душу свою за другого. Темные кедры над его могилой, тихо шелестя ветвями, шепчут об его неизвестном миру подвиге, о том, как он умер, сломленный неизлечимым страшным недугом, схваченным им там, в ледяных волнах Телецкого озера.

Из жизни новых миссионеров

Отец Константин проснулся рано, по обычанию.

Был холодный ноябрьский день, и за чаем, глядя на грустное лицо жены, он невольно подумал о тяжести предстоящего пути по оснеженным горам, где ждали его обледенелые, скользкие дороги и переправы через неспокойные, горные реки, никогда не умевшие уgomониться подо льдом и всю зиму сверкавшие большими полыньями.

Ему, как благочинному, надлежало посетить станы: Ичинский, Чибитский, Чолушманский и Кош-Агачский, эти раскиданные на сотни верст друг от друга станы, и как раз в то время, когда страшные бури пролетают над Алтаем, занося долины снегами, а угрюмая красота диких гор, покрытых снегом, пугает глаз. Но ему не приходилось думать об этом. Он старательно гнал от себя заботу о детях и о жене, шутил с нею и старался уверить её, что любоваться на Алтай зимою можно так же, как и летом. Толковал о красоте лунных ночей, когда весь Алтай оснеженный горит и сверкает бриллиантами, и о том, что Господь сохранит его в пути.

— Ты подумай, теперь и дороги лучше, чем в старину, и народу много в Алтае... Что?.. Замерзнем?.. Христос с тобою, пустое это — везде есть жилища... Пожалуйста, оставь заботу: ведь, ты же жена миссионера... Давай-ка собираться: все, кажется, уложили вчера... И, пожалуйста, будь мужественна: разве я в первый раз еду?.. Не будешь грустить, и я спокоен буду.

Стараясь быть совсем бодрым, молодой миссионер живо и весело стал собираться, подбодряя спутников.

Однако рано выехать не удалось: задержали требы, и о. Константин озабоченно сказал спутнику, когда они, наконец, выехали из дома:

— Попадем ли мы в Кор-Кечу?

— Сорок две версты — поглядел на солнце, поднявшееся к полдню, его спутник. — День короткий. Недаром у нас, на Алтае, зовут ноябрь Кычи Кырлач, Куртаяг-Ай — старушечий месяц: день такой короткий, что старуха едва успеет обуться... А тут ещё на

Чикетамане будут задерживать обозы. Ну, да за всё Бог!.. День то теплый. Не зябнете вы?

– Привык! – отозвался о. Константин. Где книги мои? В той суме? Хорошо...

– Ну, подгоняй вьючных, ямщик, сорок две версты, не шутка...

А сам подумал, оборачиваясь и смотря на Онгудай, о милых, оставленных на долгие недели.

Причудливый Чикетаманский перевал был залит солнцем, уже склонявшимся к закату; внизу, сверкая полыньями, синела река и кайма леса, а горы стояли особенно холодные и строгие в снежном убore. Онгудай остался уже в двадцати верстах позади, и по ленте дороги двигались частые обозы-воза, нагруженные товаром, кожами или длинные караваны верблюдов, теснившихся по дороге. Их невольно приходилось пережидать, а солнце уже уходило. Вот осталась только пурпурная с оранжевым отливом полоска зари, но и она гасла, теряя краски и уступая место звёздам, в свете которых и приехали уже ночью в Кор-Кечу усталые и проголодавшиеся путники. – Ох, как и переедем, – говорил спутник о. Константину. Дурит Катунь, бесится: ледоход и забереги, паром, того и гляди, затрёт! Шальная река... Я так думаю, что и Аргут уже уgomонился, а ей что? Она всё бунтуется... Я такой полуумной реки не видывал...

– Ну, как-нибудь! – невольно усмехнулся о. Константин. Ночь холодает. Утешимся, может быть, и станет за ночь Катунь, кто её знает, каприницу? А нет, так на пароме не так уже страшно.

И долго не мог заснуть, томимый заботами о приходе и семье, которые пришлось оставить в это бездорожное время ради долга.

Паром был не особенно хорош, и Катунь сердито несла на темной, казавшейся черной от белого снега, воде массы крупного льда. Лошади особенно опасливо жались друг к другу. Умные и выносливые на суше, они боязливо глядели на воду. Да и для глаз человека река казалась страшной: глухо и грозно шуршали и стукались льдины, ударяясь о лодки парома, угрюмые, каменистые берега дикими кручами уходили в высоту: безлюдно и тихо было кругом, и люди казались игрушками на

фоне этих огромных гор среди реки на утлом, небольшом пароме.

– А, ведь, затереть может! – говорил паромщику ямщик. Вот, ещё сгустится малость, и полно тебе плавать...

– Ну! – соглашался тот флегматично, как истый сын Алтая. Это было, прошлый год было: лодка затёрло и разбило, большой лодка... Она – кудой река Катунь, закочить – утопит... Така река, така река...

И, не докончив своей мысли, не хлопотливо, но деловито принялся бороться с течением, направляя паром к желанному, правому берегу и не думая об обратном пути.

Трудная переправа окончилась, и лошади выбрались на правый берег Катуни.

Некоторое время миссионер и его спутник ехали молча: так ещё живо и жутко было воспоминание переправы, в ушах всё ещё продолжали стучать льдины, да и Катунь была близко тут, эта холодная, мятежная и гордая своею силой Катунь.

– Как же в былое время миссионеры ездили без паромов? – сказал о. Константин, а ведь приходилось!..

И задумался, смотря на реку, о тех ушедших и живых, чьими трудами создалась миссия, о тех, кто так же, как и он сейчас, некогда проходили тут со словами любви, своим подвигом жизни привлекая всех к Господу Богу. Может быть, он задумался и о тяжести бремени тех, кто были для него примером.

Его молодое, красивое лицо стало серьезным, а глаза загляделись вдаль, покрытую везде снегом.

И, словно поняв его, спутник сказал:

– В прежнее время, ох, и дорожка была тут!.. И ныне трудно, а ранее – не дай Бог, через Катунь переправа, бывало, смерть.

– Святые люди миссионеры были тогда! – откликнулся о. Константин.

И опять в молчании они ехали оснеженною дорогой, на которой у Катуни среди чернолесья темнели кое-где сосны, и горы теснились выступами, опускаясь к реке.

– Яломан-то, бессовестный, не застыл! – качал головою спутник миссионера. А, ведь, холодно, кажется... Надо бы ему

утихомириться... Ишь, турисит, как сонная баба, не в полную силу.

И, действительно, Яломан, небольшая река, впадающая в Катунь, шумела как-то уныло, точно жалуясь со сна на холод и снег, ковавший его быстрые струи.

– Завтра двенадцатое ноября, а ничто им, рекам горным, сильно уже говорливые! – сказал словоохотливый спутник о. Константина. А холодает, сегодня, однако, мороз завернет... И жутко же: снег, горы каменистые и тишина, тишина... Жутко вам, батюшка?..

– Привык! – опять отозвался тот. Но, зимою, действительно, Алтай суров, не то, что летом. Когда везде зелень, поют и ручьи, и речки, а птицы гомоном неустанным наполняют леса... Скоро и Иня: ночуем у миссионера, а завтра в долине Чуйской будем путь держать.

II

В маленьком миссионерском доме было уютно: пел ласковую песню самовар, со стен глядели карточки старых миссионеров: энергичное, полное ума и воли, лицо архимандрита Владимира, и тонкие, одухотворенные черты архиепископа Макария, так напоминающие черты первого Апостола Алтая, архимандрита Макария Глухарёва.

Сделав дело, миссионеры долго говорили о старом и новом. Более о старом: о больших трудах других, забывая о себе, скромные в своей оценке, говорили о нуждах миссии, о горестях, печалях и радостях жизни повседневной, и долго за полночь светился огонек в миссионерском доме Игинского стана, в глухом углу Алтая, засыпанного снегами.

А ночь холодала. Легкая кухта пала на лес, луны не было, только звёзды, особенно яркие, сверкали во тьме.

Черною лентой среди белого снега тянулся Чуйский тракт. Столбы телеграфа уныло поднимались через правильные промежутки. Особенно строго выглядывали сегодня горы с угрюмыми, причудливыми выступами: Алтай точно насупился, и день был серый и мглистый, томительный. Как-то неохотно бежали лошади, но они скоро согрелись и пошли ровно.

К полдню проглянуло солнце.

Темнеющей лентой стлался, извиваясь, путь; камни бокового барьера дороги темными пятнами выступали из-под снега, такими же темными пятнами казались и телеграфные столбы; внизу, под бомами, стлалось полотно реки, схваченной морозом, но и тут ещё не хотевшей уснуть под снегом.

– Однако в. Айгулаке ночевать придётся: не доехать далее!
– сказал о. Константин спутнику.

– Да, трудно ехать скоро: всё бома... Вон опять! – ответил тот.

– И широко дорогу проложили, а всё трудно! – посетовал и ямщик. – Скользят лошади по льду, снегу мало...

А день опять нахмурился. Угрюмо глядели сосны, сбегавшие с гор к реке, на её холодный покров; сумерки начинали бороться со светом, подул резкий, холодный, пронизывающий ветер: уже глубоким вечером иззябшие путники достигли Айгулака.

В маленькой, приютившейся близ огромной горы, избушке, единственной здесь, очень убогой, покрытой берестою, собралось много народа: сам хозяин с большою семьёй и проезжие торговцы-чуйцы с женами и ребенком. Было душно невыносимо, и, не смотря на морозный ветер, некоторые решили ночевать на улице в летнем экипаже, или амбарчике: так томила духота и невозможность уснуть.

О. Константину не пришлось сомкнуть глаз: несколько раз он выходил из избы в ожидании рассвета.

Под порывами ветра жалобно стонали редкие сосны, окружавшие Айгулак, и лошади беспокойно фыркали у корма на неогороженном дворе.

Спутник о. Константина зяб и жаловался на остановку:

– Надо бы ехать по тракту как-нибудь... Тут замерзнешь, а в избе сил нету быть...

– Ты старых миссионеров вспомни: они пешком ходили по аилам зимою! – упрёкнул его о. Константин.

И он замолчал.

Утром, совсем рано двинулись к Чибиту и приехали туда усталые и разбитые, но теплота комнат миссионерского домика и доброе отношение нового миссионера, только что приехавшего в этот вновь открывшийся стан, ободрили уставших.

Священники быстро разговорились, сходили в маленькую Чибитскую церковь, огороженную оградой из жердей, и принялись составлять план будущей деятельности нового миссионера.

Спутник о. Константина был доволен: он, обогревшись, ходил по маленькому Чибиту, осматривал горы и сказал о. Константину, ложась спать, что Чибит – место хорошее, и жить тут можно, заставив обоих миссионеров улыбнуться немножко грустно.

Утром о. Константина ждала поездка в Улаган, тяжелая семидесятиверстная дорога через таежный перевал.

– Трудная дорога? – спрашивал о. Константина новый миссионер.

Но о. Константин поспешил уверить, что дорога ничего: ему не хотелось пугать собрата и преувеличивать свои труды.

А тело ныло от езды, и он с наслаждением уснул, стараясь не думать о предстоящем трудном пути.

Солнце светило ярко, насколько может оно светить в полдень в ноябре месяце. Кони бодро бежали по оснеженной, глухой дороге. Было очень холодно.

– Это озеро Чейбек-коль! – говорил проводник. Прямо поедем; холодно, лед застыл на нем, ладно по...

И все испуганно захлопотали около ухнувшей под лед лошади.

Однако всё кончилось благополучно: лошадь выбралась на лед, и путники решили держаться берега.

Миновав озеро, они остановились под обдую ветром горою чтобы покормить лошадей подножным кормом. Проводник с ними забрался выше, а путники принялись собирать сучья и готовить чай. Костёр разложили на земле, для чего разгребли снег, выпавший в этой долине до полу-аршина, а из снеговой воды напились чаю.

Тучи затуманили день: они ниже и ниже опускались, точно желая коснуться долины, поползли по горам и начали осыпать снежинками путников.

К ночи сильно забуранило, и эта буранливая ночь застала их около Узук-колоя.

До первой юрты было далеко, не менее пятнадцати верст, а буран не позволял дать отдых лошадям в поле. Привыкшими к темноте глазами путники искали леса, где бы можно было укрыться от ветра и снега, и, наконец, нашли местечко в небольшой впадине скалы под двумя большими кедрами. Нашли и поблагодарили Бога, а потом живо развели костёр; но ночью было страшно холодно, и этот холод заставлял путников просыпаться поминутно и греться у костра.

Кедры сильно шумели, сыпал снег, а вдали выли жалобно, может быть, ветер, а, может быть, волки. И этот вой, жалкий и томительный, нагонял тоску.

У о. Константина томилось сердце: он думал о том, сколько ещё ночей ждёт его впереди, таких же холодных и мрачных. Ему казалось, что он и его спутники – песчинки, затерянные среди гор, и великою отрадою озарялось сердце при мысли, что о них, песчинках земных, печется Отец Небесный, а ангелы Его охраняют их путь.

Следующая ночь после дня пути принесла путникам относительный покой в Улагане; хотя миссионерский домик с почерневшими, голыми стенами и дымящимися, неуклюжими печами не представлял удобств, но о. Константину он показался уютным и милым.

Впереди ждали ещё трудности пути, но он старался забыть о них, сидя над книгами миссионера, который, слушая его рассказ о вчерашнем ночлеге, качал головою.

– Плохо быть благочинным, – шутил он. Мы всё же не так часто в лесу ночуем, а вы – частенько... Как бы завтра опять не пришлось – дорога трудная, не дай Бог, да и погода не радует... Плохое время, и не узнаешь красавца Алтая под снегами: угрюмый, сердитый, тошно смотреть. Зимою лучше: ночи лунные, всё горит, сверкает, снега падут глубокие, а теперь – плохо, хмуро, неприветливо...

– Ничего! – бодро сказал о. Константин. Зато отдых как ценится... Я ещё молод, потружусь. Скоро, ведь, и в обратный путь двинемся... Может быть, и погода исправится.

Но погода не исправилась.

Чолушманская долина близилась. Осталось верст тридцать пути, и путники, опять черными точками, тянувшимися по низине, решили, видя надвигающиеся сумерки, ночевать в юрте у ямщика на станции Иол-Узы; днем на пути задерживали алтайцы с требами. И опять ночь, ненастная и хмурая, покрыла землю прежде, чем путники достигли желанной цели.

Наступила мгла, и они потеряли дорогу; наконец, по лаю собак они наткнулись на какую-то юрту, но она была так мала, что не было возможности в ней переночевать; хозяев расспросили о дороге и поехали опять, пока не выбились из сил лошади, тогда решили остановиться у речки, среди горелого леса. Сейчас же собрали костёр, и о. Константин со спутником при свете его увидели саженях в пяти от себя какие-то темные, странные и непонятные предметы.

— Наверное, это пригоны калмыцкие, — сказал спутник, — должно быть, мы на них набрели, батюшка.

Снег валил большими хлопьями, и, подойдя ближе, путники убедились, что это не аил и не изгородь, а могилы калмыков.

О. Константин усмехнулся, видя испуг своего ямщика. Было мрачно и тихо, снег осыпал все, и во мраке, освещаемом только светом костра, путники принялись рубить молодые елки, чтобы ими отнести снег с места, которое подготовили для ночлега.

— Пусть хотя около нас будет сухо! — говорил спутник о. Константина. Ложитесь, батюшка, устать не мудрено с дороги этой... Ишь, куда забрели из-за бурана, на могилки попали.

Приткнувшись к седлу, о. Константин уснул крепко, но ненадолго: его разбудил вой, томительный и жуткий — выли волки совсем близко от ночлега, и их, судя по этому унылому вою, сливавшемуся в дикую и заунывную мелодию, было не мало.

Проснувшись и спутники миссионера, живо разожгли потухающий костёр и поочередно принялись подкладывать в него сучья и ветки, торчавшие из-под снега в изобилии, собирая их около стоянки и чутко прислушиваясь к вою волков.

Это была тревожная ночь, но и она миновала, как минует всё на свете. Утро встало в тумане; с первыми проблесками

рассвета затих вой, и путники двинулись вперед, теперь разобравшись, хотя и с трудом, в приметах дороги.

Их ждал крутой спуск в Ел-Узы. Чолушманской долины было почти не видно из-за тумана, хотя до половины спуск прошёл хорошо, но потом путь совершили по догадке в сгустившемся тумане с большою опасностью для себя. Благодаря снегу и отсутствию следов, тропка была потеряна, по бокам зияли пропасти. Поминутно лошади скользили около обрывов, и только выехав в самую Чолушманскую долину, путники вздохнули свободно.

Она расстилалась перед ними суровая, каменистая, и особенно темнели среди снежной пелены угрюмые камни и скалы огромных гор. Голубой Чолушман не пел свои песни, притихли водопады, висевшие теперь ледяным кружевом, причудливым и красивым, в высоте своего падения.

В Чолушманском монастыре путников ждал заслуженный отдых.

О. Константину хотелось попасть на Белю, но его отговорили: на озере от края и до края пролетали бури все эти дни, и оно бушевало, совсем темное и мрачное в оснеженных берегах. И, как ни скор был на дело молодой миссионер, но живая смерть смотрела из глубин неспокойного озера, а его жизнь была полезна и нужна для других.

И опять по трудным тропам Ел-Узы миссионер направил путь в Чуйскую долину, теперь уже к далекому Кош-Агачу, для чего было нужно перевалить через Курайский перевал. Одну ночь провели в юрте, а другую под открытым небом, бродя в глубоких снегах Курайского перевала. Только буны – целое стадо, попались спутникам на дороге, да на самой вершине перевала деревянный, немного покосившийся крест – память первых миссионеров, на который непогоды наложили свою печать.

Спуск на Курайскую степь был очень тяжел: лошади тонули в массах снега, они то и дело падали, раня подковами свои ноги, и до того замучились бедные животные, что на станции Курай, едва успели спешиться путники, как две из лошадей повалились на землю.

О. Константин бросился к Серку, который с молчаливым терпением нес в пути на себе выюки. Он хотел сшевелить с места бедное животное, объятый жалостью, но лошадь, измученная вконец, ответила только стоном, и о. Константину хотелось плакать над нею. Весь его труд, его бессонные ночи, холод – всё показалось ему ничтожным в сравнении с молчаливым страданием терпеливого серенького конька, и он отвернулся, кусая губы, чтобы не разрыдаться над бедною лошадкою, которую нужно было бросить тут, чтобы спешить на ямских лошадях в Кош-Агач, где ждал его долг службы.

Но на обратном пути он был утешен; его старый друг и другая лошадь оправились вполне и ждали своих хозяев.

И молодому о. Константину стало так радостно в этот сумрачный день при виде отдохнувших лошадей, что он забыл и трудный путь, и ужасный буран в Куюхтанаре, чуть не стоивший ему жизни, и охотно отдал за сено последние деньги, бывшие у него. Сено это стоило так дорого – 1 рубль пуд, но он не жалел этих денег.

Опять мелькнули прежние места: Боголу-бом, Бичинту-Кая, паром на всё ещё незастывшей Катуни, и после трех дней пути, проехав семьсот верст и перенеся опасности и невзгоды, молодой миссионер перекрестился широким крестом, увидев крест Онгудайской церкви. Вот, наконец, и любимое село, знакомое с детства, где трудился его много поработавший для миссии отец⁴², и где он, сын и внук миссионеров Алтая, нес своё подчас тяжелое бремя миссионерских трудов для Алтая, подражая тем первым учителям, которые принесли свет вдикую, прекрасную летом и угрюмую – зимою языческую страну.

Незаметная подвижница

(Памяти схимонахини Афанасии, потрудившейся в Алтае)

Бледное, кроткое лицо и глаза многодомные, глубокие. Послушница Мария, безгранично любившая это лицо говорила, сестрам нередко, что её сердце тает перед матушкиным взглядом, и ей хочется плакать и каяться, хочется просить о прощении в тех мыслях греховных, которые возникают в её уме.

– Святая она, – говорила Мария, – наша матушка. Гляжу на нее другой раз, когда молится, сама притворяюсь, что сплю, а у неё лицо такое станет кроткое, ясное. А глаза, а глаза!.. То они слёзы точат, то пламенем горят гневные. Сестры, милые, это ей видятся светлые ангелы и темные бесы.

Послушница Мария верила в это непоколебимо. Из далекой России прибыла сюда игуменья Афанасия, молодой сравнительно девицей Анастасией; для подвига пришла она в алтайские горы и задумчивая, тихая, тогда же привлекла к себе ещё детское сердце Марии. Она, да сестра Елена, да Варвара Алексеевна казались родными послушнице Марии. Девушка сжилась с ними и любила их, как своих, а матушку труженицу, проводившую жизнь в неусыпном труде, около которой прошла её ранняя юность и более поздние годы, Мария считала святой. Она с матушкой и сестрой Евдокией, теперь ставшей матушкой Еленой, помнила этот родной монастырь бедной одинокой избою, помнила размежевку земли для него, своего отца⁴³, трудившегося над нею в качестве выборного от общества вместе с землемером, помнила затем возникновение церкви и келий, заботы Анастасии, ставшей в постриге Афанасией. Заботы, труд, молитва и любовь, вот что видела у неё Мария. Теперь время коснулось её дорогой игумены, ныли и пухли простуженные на работе ноги, матушка не могла долго стоять на них и садилась даже на молитве, а лицо осталось тоже, кроткое и ясное, полное доброты, и такими же остались ясными и многодомными её глаза.

Обитель разрасталась, построили большой дом с мезонином, построили домовую церковь и говорили о постройке нового отдельного храма. Густели ряды белиц; давно

постриглась сестра Евдокия, превратившись в Елену, и сама она, послушница Мария, из свежей девочки и затем юной девушки превратилась в серьезную белицу-монахиню, и её лица коснулось время, положив на него тонкие морщинки вокруг глаз и мягко очерченного рта. Но голос остался у ней прежний – юный и свежий, и матушка Афанасия в часы досуга просила ее.

– Спой мне, Мария, на языке своем «Всякое дыхание да хвалит Господа».

– «Ар тынар тынду Каанды мактазын!» – пела Мария, а игуменья слушала, глядя в окно кельи на луговину монастырской ограды, где летом жужжали пчелы, и летали пестрые бабочки, а птицы вились свободные, чистые и беззаботные.

– Хорошо птицам Божиим! – говорила матушка. – Они только Господа хвалят, особенно ласточки милые. Хочется мне, Мария, чтобы они у меня под крестом на могиле свили гнездо себе и носились бы над нею белогрудые и щебетали.

– Не говорите о могиле, матушка, зачем это?

– Затем, милая, что это будет и скоро, а вы тогда молитесь обо мне, и псалтирь читайте. Чудные псалмы Давида царя! Любил он красоту Божию и Господа. За каждым псалмом имя моё грешное помяните. Не будете читать псалтирь, будет беден монастырь ваш; не забывай слов моих, Мария.

– Ах, матушка милая, – брала послушница её руки. А вы будете ли молиться за нас на том свете?

И она всегда отвечала ей при каждом таком, за последнее время часто-возникавшем, разговоре:

– Я буду молиться за монастырь и за всех сестер, если меня самое Господь помилует.

Едва появлялись первые цветы весною, и ей приносили их, зная её любовь к ним, она на своих больных ногах выходила за монастырские стены посмотреть на весеннее любованье, или поднималась в мезонин и, садясь у окна, глядела на прекрасные горы, охватившие их долину, и слушала, как шумит Майма. Что представлялось её глазам, всегда становившимся ласковыми и нежными при взгляде на Божий мир? Мыслила ли она о далекой родине, или она вспоминала свои странствования? Напоминал ли ей закат, красивший пурпуром горные выступы, далекие

каменистые горы Аравии, окрашенные горячим солнцем Палестины, которую видела она так давно? Может быть, ей вспомнилось всё чистое и светлое, сделанное в течение жизни, но она в своем большом смирении не могла светло улыбаться ему. Нет, скорее было верно то, о чем шептались белицы, и ей виделись ангелы в тихом свете потухавших зорь, светлые посланники Божии, приходившие на стражу к обители смиренной и бедной, на благоустройство которой мать Афанасия вложила труд своей жизни.

У них был строгий устав, и работали все, старые и малые над шитьем зимою, моя, стирая, убирая, стряпая между келейными правилами и службой, а летом – в работе над огородами и в полях, в работе тяжелой и утомительной, прилагавшейся ещё к зимним трудам. Каждые руки были на счету, особенно во время уборки сена, и мать казначея часто бранила пожилую болезненную белицу Варвару, оставляемую для уборки матушкиных комнат, за нечистоту и пыль, а та без возражений принималась за труд. Матушке Афанасии было жаль Варвару, и когда монастырь пустел, она кликала к себе ее:

– Варвара, иди, милая, почитай-ка, посиди тут, псалтиль, или подремли. Кружится голова-то? Так, да вижу, крови у тебя мало; отдых да молоко нужно, смиренная моя. Ведро тут, вода есть. Ну и ладно, сиди, сиди.

И скрепляя себя, чтобы не застонать от поднимавшейся ломоты в ногах, она мыла полы в комнатах и коридоре, а Варвара, пред которой она падала в землю, прося не мешать ей, сидела покорно, давая отдых своему слабому телу.

– Ну, вот! – кончила мать Афанасия. Ведро там. Видишь, моя бледнолицая, не тяжело мне – я здоровая; ноги болят, говоришь? А я на коленах. Если бы можно, то и воды принесла, да увидят, скажут, осудят. Тебя подведу, бедная, моя. А, ведь, мне скорбно без дела хлеб есть. Апостол сказал: «Кто не трудится, да не ест». Теперь я в церковь: устала Таня там за псалтилью.

И шла читать, тайно сменяя Таню, хромую, неспособную к полевым работам девушку, за которую часа три читала псалтиль, присев на стуле и давая слабогрудой Тане отдых, которого она

была лишена наложенным на нее послушанием. Послушница Мария не знала даже об этих трудах, а Таня и Варвара умели молчать, зато и любили они свою смиренную, как в душе называли её между собою.

– Вериги носит! – шептались послушницы.

Услыхав как-то такое неосторожное слово, мать Афанасия, страшно опечаленная, спросила у Марии, что такое они говорят о веригах?

– Не ношу я их. Вон, там лежат в ящике, в гроб положите их со мною; была молода, носила, но и это тайна, смотри, Мария! Носила от помыслов, охраняя душу, чтобы не давало забыться железо холодное, тяжестью своей тяжесть грехов мне напоминая. Они мне легки стали грешной: привыкла я к ним: и полевые работы исполняла с ними. Но потом, когда я из Иерусалима вернулась и болела сильно, увидали врачи земные вериги мои и велели их снять, и с того времени не надевала я их, грешная. Скажи же, Мария, им, что никаких вериг нет у меня!

И поникла опечаленная над книгою, которую держала в руках.

Осенью, когда умирала природа, ею овладевала тоска.

– О небе тоскую, недоступном по грехам моим. Вдруг закроют от меня райские обители ангелы Божии так же, как небо закрыли облака туманные? Ах, как тоскливо и грустно мне, как я подумаю, что не услышу небесного пения!

И в трепете молила Марию:

– Когда будете читать псалтирь, по смерти моей, и дойдете до молитвы, после четвертой кафизмы положенной, пожалейте и помолитесь обо мне.

Марии запомнились её слова, сказанные ей однажды в назидание перед тем, как она приняла схиму, в такие осенние дни.

– Какие помыслы грешные приходят на ум. Послушай меня, Мария. Раз весною, накануне Благовещения, днем я подумала: «Завтра едят рыбу, если бы была свежая, я бы поела, а старую рыбу не буду есть! И вышло из моего грешного помысла плохое дело. Не говори сестрам о том, что услышишь – это мне вразумление Божие за чревоугодничество было. Села я после

всенощной перед сном, чтобы молиться, лампадка в темноте иконы озаряла, и вижу – какие-то темные тени наполнили келью: странные, страшные, отвратительные. Мне казалось, что вы должны были слышать их шум... И чудилось мне – в руках их таясь и чашки, и что-то ели они и спорили между собою, а один, уродливый и ужасный, носил большую свежую рыбу и сказал мне, приближаясь: «не поешь ли ты этой рыбы?» Пойми ты, Мария, испуг мой, я сознавала, что темные духи это, и, собрав силы свои, прокляла их, говоря: провалитесь вы в бездну и тьму! Не помню, крестилась ли я, мне казалось, что крестилась. Я вся трепетала от ужаса, и слёзы лились из моих глаз, а вы не шли, и ни звука не слышала я кругом. Светлые пятна только родились в ночной тьме, наполнившей келью, и из них слагались образы, превращаясь в людей, в светлых людей в облачениях диаконов и священников, со свечами и кадилами, запевших праздничные песнопения. Если бы ты их слышала, Мария! Никогда я такого не слыхала пения и не могу тебе передать, как оно было чудно. Моя душа улетела со звуками; они, казалось, уходили в небо, и сердце моё таяло от умиления, и лились слёзы неудержимые, а мысль родилась в уме: «прости Господь, наказал и утешил!» а светлые люди исчезли, растаяли, только пение ещё звучало долго в ушах, пока ты не пришла. Это вразумление, Мария, чему я могу подчиниться, если буду мыслить о житейском, и чего лишусь. Ты не говори никому; с болезни я стала болтлива, но моё сердце боится смерти, и я не хочу делать поступков, которые угонят меня от света; а тебя, моя дочь, должна я учить.

И среди текущих дней она опять говорила послушнице:

– Ангел мой хранитель гневается на меня, Мария, упрёкает, что я пост оставила и Богу, как следует, не молюсь, а ты останавливаешь ещё ночную молитву мою, на немощь указывая. Нет, с тех пор я решила вставать в полночь и псалтирь читать, не простит ли мне Господь этот грех мой; и ты не ленись молиться, Мария.

И молилась ночами мать Афанасия, вставая с трудом и кладя поклоны, а сестра Мария дивилась её терпению, зная, что от ревматизма иногда ноют ужасно её больные ноги.

После схимы, она редко стала выходить из кельи.

— А всё солнце люблю и мир — грешница, боюсь не праздность ли это, Мария, на красоту глядеть полей, украшенных кринами сельными? Да нет, это и схимникам доступно, потому что красоту эту Господь сотворил. Ах, Мария, на поля мне захотелось, на поля, где колосья золотистые подымаются, а от леса тянет запахом ароматным. Да дождусь ли? Осень холодная, мгла, и горы затянуло туманами. Заменяет ли кто Таню псалтирницу? В её часы трудно ей: темные духи придут к ней слабой и будут шептать ей о здоровых и сильных, не жалеющих её. Не могу я одной молитве отдать душу, Мария; жаль мне Таню и Варвару жаль — уменьшить нужно работу им ласково, чтобы они не заметили, что люди часть труда с них сняли. Ах, тяжко обижать, тяжко! лучше быть обиженной много. А весна мне, Мария, кажется началом рая: ещё в детстве я весну любила, за пах сладкий черемухи цветущей, ручьи говорливые и зори ясные. Какое, бывало, умиление в сердце необъяснимое и тогда и сейчас, когда солнце весеннее встаёт утрами ранними, как лучи его живительные, первые лучи осыпают землю, какая радость рождается в душе человеческой, и какая грусть непонятная при багровом осеннем закате. То — жизни рождение вечной, а то — смерть печальная. На востоке — рай. Иначе бы сердце людей не трепетало восхищением при свете утра и лучах солнечных, не глядели бы радостно глаза на ясные утренние зори, и птицы небесные не славили бы так Господа утрами весенними, которые мне хотелось бы увидеть ещё в жизни.

И увидала, совсем ослабевшая телом, своими глазами, любившими Божий свет и ясное весеннее утро, и ясные солнечные лучи, и колосья полей, но эти колосья принесла и положила на её убогое ложе послушница Мария. Светлая радость осветила лицо схимницы.

— Ах, милая моя, спасибо, полем на меня пахнуло, воздухом полевым. Бывало, жну их, и жаль неразумной золото спелое срезать, так бы и оставила. Если бы меня Господь пожалел на суде Своем, и в час мой я лицо моего ангела увидала!

— Матушка, вы видите вашего ангела хранителя? — спросила, приникая к её ложу, послушница Мария и поцеловала руку, лежавшую на колосьях, эту, много трудившуюся в жизни

руку, теперь почти безжизненно лежавшую, бессильную и слабую.

– Нет! – сказала она тихо. Я видела его раз и хотела бы увидеть, умирая, его лик и светлые прозрачные крылья. Но, Мария, ты привыкла молчать; мои слова не для людей; пока я жива, пусть никто никогда не услышит того, о чем я говорю с тобою. Молись, чтобы ко мне пришел мой хранитель и уверил меня, что там меня помилуют на Божьем небе, помилуют и примут в светлое царство любви.

И дождалась. Такое было у ней светлое лицо, когда она умирала, и сестры помнят, как засияли её глаза, как она приподнялась и затрепетала, словно объятая необъяснимой радостью, а улыбка, светлая и прекрасная, легла на её уста, и она сама сложила на груди руки, которые так много подняли труда во время жизни.

Эта жизнь ушла из мира, оставив Алтаю бренное тело и память незаметной подвижницы, которую люди обширного мира совсем не знали, но которую знали чистые ангелы и любил Сам Христос, Кому принесла она на служение свою смиренную и кроткую душу.

Тихая могила на кладбище у новой церкви – скромная, незаметная, как скромен и незаметен был подвиг, но простой народ говорит об исцелениях, простой народ берет землю с этой могилы, как святыню. И кто знает, может быть, зазвонят торжественно колокола среди алтайских гор, и скрытые в скромной могиле останки откроются прославленные и возвеличенные, потому что Господь любит кротких и возвеличивает смиренных, вознося их славу до небес.

«Владыка! про Ваш юбилей мне сказали
Уста тех немногих из Ваших друзей,
Которым так близки все Ваши печали
И радости, редкие между скорбей.
И с искренним чувством мы шлем Вам,
Владыка, Наш теплый, сердечный, душевный привет,
От имени нас и страны той великой,
Где дремлет снегами засыпанный лес.
Мы любим его, этот край отдаленный,

Где подвиг вершили Вы долгий, святой,
И Ваш юбилей, для Алтая священный,
Мы чтим, поздравляя Вас всею душой.
И я, сарынчи дорогого Алтая,
И муж мой, помощник в труде для него,
Желаем Вам долгие годы для края
На радость и светлое благо его.
Сегодня Вас там, на Алтае, вспомянут:
Пройдет по Алтаю молитва за Вас,
И старшие младшим рассказывать станут:
– «Он много и скромно трудился для нас»...
– «Трудился, лечил нас, любил и молился»...
– «Теперь Он далеко, но помнит о нас»...
– «Я, старый, в Чемале при нем окрестился»...
– «А я в Чолушмане был с ним и не раз»...
– «Дай, Боже, Ему и здоровья и силы!»
Он много в Чемале сирот приютил,
Ему все алтайцы и близки, и милы,
Он мало ли силы на нас положил?!

Владыка, в Алтае о Вас не забыли:
Там помнят и любят Вас, любят и чтут.
Недаром в огромной России и мире
Вас люди «Апостол Алтая» зовут.
И Вам сарынчи написал эти строки,
Жалея, что слабо владеет пером,
Он искренно любит и чтит Вас глубоко,
И просит молитв за своих и о нём.

Из прошлого

(К пятидесятилетнему юбилею служения в священном сане Макария, Архиепископа Томского и Алтайского. 19 марта 1861г. – 19 марта 1911г.)

Сей верный раб Господа жизнью своей
Был дивен, как ангел во плоти:
Смиреньем сердечным пленил дикарей,
Он кроткими сделал неверных людей,
У демона бывших в работе

(Из стихотв. свящ. Иоанна Ландышева)

– Вот он, Немал наш! – слабым голосом сказал больной миссионер. Люблю я красоту эту горную: тут каждая тропа знакома мне вверх по Катуни до восьмидесяти верст и вниз до пятидесяти по Чемалу, Куюмэ и Эликмонару; везде красота Божия. Если у вас душа природу любит, эту книгу Божию, то вам тут будет хорошо, брат мой. Тихо кашляя, больной внимательно вглядывался в молодое красивое лицо, читая светлую думу в глазах юного монаха, заглядевшегося на далекие горы.

– Правда, жутко бывает иногда в ночи ненастные: бор шумит уныло в лощине за домом этим, гул поднимается, точно грохочет бубен, завыванья слышатся дикие. В Чемале верят люди, что это камы поднимаются, и моему взору иногда представлялись смутные тени, окружающие дом, а вы так молоды.

– Вам, наверно, некогда было думать много об ужасах этих?
– улыбнулся мягкой улыбкой юный иеромонах.

Но старший покачал головою.

– Я ко всему должен приготовить вас: зимою, когда снега засыпают Алтай, здесь мёртвая тишина стоит, даже Катунь замирает и бьется только в полыньях. Жутко человеку привычному, а вы так молоды.

Но его пытливый взгляд, устремленный на молодое лицо, осветился довольством, когда его преемник произнес:

– Со мною Господь, – ведь я желал сюда ради любви и подвига... не бойтесь за меня: Господь мой помощник.

– Так, так, вы правы: Он – помощник, а люди, брат мой, тут добрые, кроткие, суеверные только до страсти; всего невидимого

трепещут, бедные, темные люди... «Патмос» мой посетить не забывайте; хорошо на нем; там кроме ропота Катуни голоса человеческого не услышишь: о камни она бьется мятежная, одна нарушая молчание пустыни... Придётся вам бороться тут с невежеством, лечить немощи телесные и духовные. Труда – сколько хотите будет. Болезней – тьма; ведь, вы уже не первый год в миссии, знаете, какой они народ нечистоплотный. Особенно болезни глазные развиты, а чем лечатся, тоже, поди, известно? Я силы полагал тут тринадцать лет, – за что зачтет Господь эти годы, Им одним зримые, мала еще паства моя, пока я лечиться еду, тут Иосиф Александровский будет, укажет вам оглашенных: не много их; вот бы надо вам съездить в аил за Тельдекменем; там одна душа крещения просит давно, вырваться сюда не может, а я слаб и тоже не мог ехать туда.

Он назвал аил и сказал, что инородец Василий покажет о. Макарию путь.

– Это, пожалуй, сегодня нужно сделать, – сказал тот живо. Здесь пока треб нет. Вы еще, о. Иоанн, соберетесь уезжать не завтра, и время мне удобное... пойду я, отыщу Василия, лошадей, и скажите мне имя этой души, спасения ищущей.

– Тортыш Манышев, слабый человек, болезненный: над ним его младший брат, две жены и дядя стоят, как темные духи. Зимой он еще мне сказал: «приезжай за мной, абаз, моя душа устала верить богам, уши не могут слушать камланья, мне противны камы, но они меня не выпускают; приезжай, увези меня и окрести».

– Вот видите, стало быть нужно, чтобы я поехал не медля. Сколько времени нужно ехать туда?

– До Тельдекменя отсюда верст сорок, потом еще верст двадцать до бума Кызыл-отру, и у Пельтыр-оэка, который впадает в Катунь, в сторону немного, стоит аил Манышева, красивые места. Они любят селиться далеко и выбирают такие уголки, что любоваться надо, друг мой. Вот и Василий, кстати.

Небольшой сухощавый скуластый инородец приветливо поклонился миссионерам и, поговорив с ними, пошел за лошадьми.

— Смотрите, осторожнее, отец Макарий, — спустя час напутствовал их больной миссионер. Они в гневе могут причинить вам зло; темные, невежественные дети; и ночевать придётся на дороге: она пустынна, тут аилов нет, разве послать с вами Александровского?

— Не заботьтесь, пожалуйста, никого не нужно; мы одни.

И береговою тропой по Катуни они поехали вверх, всё далее и далее стремясь от Немала.

Сперва они говорили, а потом замолкли, потому что приходилось напрягать голос — так грохотала река. До самых сумерек, не останавливаясь, они продолжали путь, слушая её песни, и, немного свернув с дороги, ночевали на какой-то речушке, под камнями скалистого и лесистого берега, без палатки, и утренний рассвет рано поднял их.

— Скоро Тельдекмень будет, то место, где богатыри когда-то мост строили, — говорил Василий, кипятя в котелке чай. Много разных рассказов про это место говорят.

— А отец Тортоса Манышева давно умер? — перебил его отец Макарий. Ты знаешь их?

— Знаю. Сапыр, его младший брат — охотник, сердитый такой, а дядя — кам. Они все живут вместе, и в аиле у них всей родни человек двадцать, не обрадуются они нам.

Он говорил это с глубоким спокойствием, присущим алтайцам.

— Нас с тобой, пожалуй, побьют, как обозлятся: в прошлый раз они на абыза грозились: Сапыр даже ружье вытащил, а дядя кам — совсем страшный, глаза дикие, и всегда точно зябнет, зевает, трясеется... Говорят, его духи одолели.

Когда они двинулись в тумане, гремела и билась в узких берегах р. Тельдекмень, и они ехали медленно, час за часом, приближаясь к цели.

— Скоро и Пельтыр-оэк, — сказал Василий. Ты не был ранее в этих местах, отец Макарий?

— Не был! — откликнулся тот... Какая дорога трудная, уже вечереет.

Но только когда начало смеркаться, они достигли тихого аила, миновав Пельтыр-оэк, глубокое ущелье которого осталось

в стороне. Женщины аила скликали коров, их странные крики летели в тишине. На лай собак при приближении путников выскочили полуоголые дети, и на пороге одной из трех юрт показался изможденный болезнью сгорбленный инородец.

– Вот он сам, Тортос Манышев, абыз... Какой худой! в чем душа!

Отец Макарий поспешил спуститься с лошади.

– Здравствуй! – сказал он по-алтайски. – Вот я приехал к тебе, Тортос, меня послал абыз из Немала. У тебя болит душа, а я могу вылечить её и привести к свету из темноты.

– Ты абыз? – обрадовался хозяин, оглядываясь пугливо. – Тише, тише, дядю затрясла лихорадка: кара-немэ мучают его... Я не хочу, чтобы меня так мучили, я только боюсь, что Сапыр озлится. Ох, как он не любит вас, абызов! а мне охота тихо жить и слушать, как колокола звонить будут. В Чемале я люблю колокол: он ровно зовет: «к нам... к нам». Вон, абагая затрясли кара-немэ за то, что он им камлал: они добра не помнят, проклятые.

И вдруг сжался весь, пугливо глядя в сторону третей юрты, из которой вышел высокий плечистый инородец.

– Сапыр – прошептал он. – Ой, калак... Сапыр!..

– Ну, и что же? что тебе бояться его? – сказал мягко отец Макарий – это тоже темная сила, и ты уйдешь от неё, как только я тебя увезу, убить он нас не может. Иди туда, в юрту, я тоже приду, а пока я поговорю с ним.

И сам пошел навстречу мрачному человеку.

– Ты зачем приехал? Кто ты? – сказал тот.

– Я тебя тоже спрошу об этом – с спокойной кротостью обратился к нему отец Макарий. – Я приехал сюда спасти душу Тортоса Манышева.

– А я – его брат, Сапыр Манышев, и не пущу его с тобою, он потерял ум: у нас так бывает в роду. Вон абагай совсем решился ума, и его затрясли темные духи, и Тортос полоумный: он не смеет креститься, никак этого нельзя, я не дам ему этого сделать.

– Он – не дитя, и твой старший брат; не поднимай кулаки, или я подумаю, что настоящий безумец ты, Сапыр, никогда в

аилах так не принимают гостей, как принимаешь ты... слава бы пошла по Алтаю, если бы узнали, что можно найти в аиле Манышева вместо гостеприимства! Лучше покажите мне больного кама: у меня есть лекарства, и я помогу ему, может быть, немного... завтра сюда приедет другой абыз и с ним чиновник, бий. К вечеру они будут в аиле. В Чемале знают, что я поехал за Тортожем и, если ты тронешь Василия, тебе будет не хорошо; будет тебе плохо и тогда, когда ты тронешь своего брата.

Глаза Сапыра угрюмо впились в молодое спокойное лицо; он прошептал какое-то проклятие и пошел за миссионером к отверстию ближайшей юрты. Женщины и дети с любопытством глядели на миссионера, а на ложе в юрте зашевелился, покрытый шубами, кам и что-то забормотал невнятное, подняв на вошедших воспаленные бегающие глаза...

Пока Тортож суетливо усаживал гостя, Сапыр что-то шептал женщинам, и те насупились, отведя глаза от миссионера.

– Проклятый такой, проклятый! Из-за него Ульгень и Эрлик накажут нас всех, а Тортожу зададут. А ты зачем тут, болам? – крикнул он, увидав славного крепкого мальчика, своего любимого девятилетнего сынишку. – Пошел, пошел, нечего тебе смотреть и глаза плятить, беги-ка, ищи коз: они разбежались, подите к Пельтыр-оэку, а то этот, – понизил он голос, околдует вас так, что у вас вместо голов вырастут шишки. Он приехал колдовать сюда, проклятый, беги, мальчик.

И дети испуганно отошли от юрты, в отверстие которой глядели на молодого русского абыза их любопытные глаза.

Василийпринёссиуму. Из неё юный миссионер вынул лекарства, которые хотел дать больному, но кам сделал вид, что уснул, и отец Макарий стал говорить Тортожу о Боге, пока Василий кипятил чайник.

– Вот, если бы душу эту темную тронуть можно было, – говорил он, указывая на кама, он бы мог исцелиться и без лекарств, которым не доверяет. У нашего Господа есть много святых: они жили ранее на земле и знакомы им все скорби и печали мирские. А когда Господь их за светлую жизнь взял на небо, они у Него в награду попросили дар целить болезни

людей, и кто им молится, тому они помогают, исцеляя от болезней тела и души. Твоего абагая зовут Тискинек?

– Да.

– Слушай, Тискинек, я, ведь, знаю, что ты не спишь и слушаешь; видишь, закат догорает, и день тухнет, здесь в долине уже сумерки, так догорает и твоя жизнь. Как день умирает вечером и воскресает утром, так и твоя душа потом воскреснет, и как ей будет страшно там, куда попадет она, служившая в мире демонам и незнающая Христа! И сейчас к тебе, Тискинек, приходят они, черные, страшные, душа кошмарами, ледяня твою душу холодом ужаса.

Кам сел на своё ложе; его трясущиеся руки протянулись к миссионеру, и всё зло темной души засветилось в глазах,

– Замолчи! – захрипел он, – замолчи!

– Нет, я не замолчу, – сказал тот, поднимаясь с сиденья. – Призывай их, проклиной, они мне ничего не сделают, ни мне, ни Василию, ни Тортогау, потому что в его душе живет имя Христа. Бедный человек! почему ты отталкиваешь меня? – да потому, что они тебе внушают это, те черные духи, которые овладели твоим телом и душой, а Христос, жалея тебя, послал меня и велел говорить тебе о Своей великой любви, о том, что ты Его дитя заблудшее, что тебя, который ужасает глаза человека видом, Он любит, как отец... послушай меня...

Но кам, собирая силы, поднялся и замахал, как бешеный, руками.

– Уйди, уйди... моё сердце горит огнем; если ты не уйдешь, я кинусь на тебя и вцеплюсь в твоё горло, перекусу его и стану пить твою кровь... уходи... уходи...

Страшная зевота овладела камом, его тянуло всего, и он корчился перед бледным от ужаса Тортешем и Василием, а отец Макарий своим мягким голосом читал молитвы, подняв глаза к темному прокопченному потолку юрты, в отверстие которой заглянула трепещущая звёздочка, первая засиявшая на небе. А кам всё трепетал на одном месте: ему дергало глаза, рот, руки, и вдруг из перекошенного рта хлынула кровь, и он, зашатавшись, рухнул на ложе.

О. Макарий подошёл к каму. Он, Василий и Тортеш уложили его на ложе и прикрыли шкурами, потом отец Макарий, оградив крестом разведенное лекарство, хотел влить его в полуоткрытый рот, но рука Сапыра, неожиданно появившегося около них, ударила по его руке, и чашечка с лекарством, выбитая из неё, полетела на пол.

– Посмей! – прошипел он. – Посмей! мы тебя и этого дурака, – плюнул он на брата, из аила выбросим. Пой его своим пойлом, а абагая не тронь.

– Ты приносишь ему зло непоправимое... если его не лечить, он умрет: припадки ослабляют его. Я думал, что у больших людей есть разум, а вижу, что его нет, – с горечью сказал отец Макарий. – Ты боишься, чтобы сила Господня не проявилась на нем, темная душа. Зачем ты угнал женщин и детей? они бы могли послушать нашу беседу.

– Нам некогда тебя слушать, – с ненавистью воскликнул Сапыр, – убирайся в юрту этого дурака из юрты абагая, я тебе говорю, бери свой чай...

– Ступай, веди его, – кричал он Тортешу, – не то я возьму камчи и отпорю вас; можете жаловаться бию вашему, хоть кому, а тут не оставайтесь.

– Ты не хозяин этой юрты, – сказал ему брат. – Зачем гонишь?

Но плеть, которую моментально схватил Сапыр, заставила его замолчать.

Отец Макарий схватил руку обидчика.

– Не тронь, уйдем мы, ты – бессердечный и злой человек, – кинул он и ушёл в юрту Тортеша.

Туда пришла жена того и сын; они долго говорили. Тортеш решил ехать в Немал, хотя жена и сын прекословили ему.

– Поеду, поживу – успокаивал он их. – Я, ведь, ещё не креститься.

А сам наивно подмигивал миссионеру, возбуждая в том невольно грусть.

В аиле не засыпали. Давно уже была ночь, теплая и ясная, и в её тишине слышно было, как пела вода Пельтыр-оэка.

– Что-то замышляют, – вышел и вернулся Василий. – Коней оседлали, женщина плачет там.

– Уж не помер ли твой абагай, Тортож?

– Не знаю, – покачал тот головой. – Я теперь выходить боюсь: Сапыр злой, ой, какой злой! Может, он поехал в аил за людьми, может он нас бить будет с ними вместе.

Лицо Василия немного побледнело: этот спокойный покорный тон сородича пугал его, а отец Макарий сидел, глядя задумчивым взглядом в тишину ночи; у него было грустно на душе. В отдалении прозвучал топот лошади, голоса, и его глаза невольно обратились на лица хозяина и его семьи и приметили мертвенно-бледное теперь лицо Василия.

– Что это они? почему не спят? – спросил тот.

– Не бойся ничего – спокойно сказал миссионер – успокойся и ляг, у них, видимо, что-то случилось. Вон, ближе голоса, слушайте, они сами чем-то испуганы, и женщины плачут; вон, хозяйка идет узнать. Иди с миром и я с тобою: может быть, там нужна помощь.

И все потянулись за ним и хозяйкой к поляне среди аила, где женщины и дети поспешно раскладывали костёр.

– Рыбу надо запечь – слышался слабый голос кама.

А женский голос, рыдая, повторял:

– Болам, болам! мой Татир. О, колак, колак, зачем ты его услал, Сапыр? Теперь смерть возьмёт его: ок-дилан укусила его ногу, не поможет ваша рыба и ядно, ничего не поможет, смотри, как пухнет она...

– Не плачь, Татир... О, колак, колак...

Отец Макарий спешно приблизился к толпе, он раздвинул круг и увидел на руках Сапыра, беспомощно сидевшего на камне, тихо плакавшего мальчика с побледневшим лицом. Перед ними, сидя у ног мужа, рыдала ещё не старая женщина.

– Почему вы думаете, что его укусила ок-дилан? – спросил миссионер торопливо. – Может быть, простая змея?

Сапыр поднял на него суровые, теперь полные скорби глаза, и молча пихнул к нему небольшую бурую змейку.

– Татир убил её, – сказал он глухо.

Тогда миссионер быстро обернулся к Василию.

- Воды и мыло скорее.
- А ты, Тортыш, неси суму мою сюда...
- Подкиньте хворосту в костёр, чтобы он был светлее...
- Не бойся, Татир, я тебе не сделаю больно – засучил он рукава, – не бойся, маленький уулчак, ты не умрешь, нет, нет...
- Скорее, скорее, Василий.

Платком он накрепко перетянул смуглую ножку выше колена, до которого почти дошла уже опухоль, поспешил вымыл руки и осторожно обмыл ранку, потом, на глазах изумленных и насторожившихся людей припал к ней губами.

– Абыз! – сказал Василий предостерегающе. – Если тебе попадет яд, ты умрешь.

Но абыз ничего ему не ответил.

Глаза Сапыра и матери Татира впились в эту кудрявую голову, припавшую к детскому телу.

Отец Макарий выплевывал слюну и говорил, ободряя мальчика:

– Чуточку больно, потерпи, вот и кровь пошла, слава Богу! ещё немного потерпи, дитя.

Кама, приплетшегося сюда, опять охватил озноб, и он пошел в юрту, но остановился в раздумье, глядя на миссионера. Может быть, он сравнивал этого юного кама русских с собою, кама-абыза, который служил неведомому для него Богу, бесконечно милосердному, у Которого он с юных лет научился тоже быть милосердным к тем, кто творил ему зло.

– Теперь масло, Василий. Так, прибавь его каплю в камфарное. Слава Богу, повязки? Они влево лежат, хорошо... теперь положи сахару в воду больше и так мне дай куска два, постой я забинтую вперед ножку и руки вымою.

– Вот теперь, Татир, ты выпьешь горькую воду, это так нужно, но за то я дам тебе сладкого, вот видишь? – подал он сахар.

Черные глаза ребенка заблестели восхищением, и он доверчиво протянул руку за сахаром.

– Теперь унесите его, – дав лекарство мальчику, сказал миссионер, – и положите в тепло, укройте, я пришлю ему чаю;

пусть он напьется и вспотеет. Господь поможет: не заботьтесь и не скорбите.

Он ушёл в юрту, чтобы предаться короткому отдыху, но долго не мог заснуть, а в юрте Сапыра не спали тоже, и сам он, полный глубокой думы, сидел подле спящего мальчика и его робкая жена.

Полоса зари разгорелась на востоке, и птицы начали просыпаться, издали слышался ропот Пельтыр-оэка, впадающего в Катунь, но он не видел и не слыхал ничего: его глаза не отрывались от детского личика.

Ребенок вспотел и сладко спал, а между тем его укусила окдилан, укус которой причиняет смерть. Сапыр сдвигал брови: в его глазах стояла кудрявая голова, приникшая к телу ребенка, голова того, кого он обидел, и гнал от себя; даже минутная дремота не одолела его: так глубока была его дума.

Утром абыз пришел к ребенку; мальчик проснулся, был весел и встретил его радостно.

– Спасибо, абыз: не больно ноге, а гляди, какая большая окдилан, самая настоящая! – показал он на мертвую змею.

Отец Макарий развязал его ногу и перекрестился: опухоль спала совсем и ранка не была вовсе воспаленной и засыхала: он переменил перевязку и сказал, обращаясь к Сапыру:

– Я оставляю тебе масла и бинтов, видишь, как я это делал? теперь только нужно, чтобы ранка не засорилась. Вчера я, чтобы не дать тебе сделать зла, сказал, что сюда приедет бий: бий не приедет сегодня. Я уже отправил в Немал Тортоша и Василия, и ты можешь сердиться и кричать на меня.

Сапыр поднял суровые глаза на миссионера, они встретились со спокойным взглядом кротких и ясных глаз, но разве могло подняться зло в душе Сапыра?

Он бросил невольный взгляд на змею, валявшуюся на полу, на веселое лицо мальчика и полное боязни лицо жены, с мольбою, смотревшей на него, перевёл опять глаза на молодое лицо и вдруг поднялся перед отцом Макарием – большой и сильный; его губы передернуло, так тяжело ему было говорить слова, которые родились и трепетали в сердце, но он пересилил себя.

– Спасибо тебе, абыз, – неуверенно начал он, – за мальчика, за Татира. Я злой, прости меня, я потом с ним приеду к тебе, скоро приеду. Прости меня, абыз.

И поклонился низко, скрывая взволнованное лицо.

Отец Макарий понял, чего стоили гордому человеку эти слова; дружески взял его за руку, он ясно и ласково улыбнулся.

– Спасибо и тебе, Сапыр, за ласковое слово, – сказал он кротко, за то, что ты позволил мне помочь ребенку: я буду ждать вас всех в Чемале. Милости просим ко мне, в мой дом.

И они оба уже спокойно и доверчиво взглянули в глаза друг другу.

Катунь обдавала брызгами каменистую дорожку бома Казыл-отру, по которой осторожно шла лошадь отца Макария. Сегодня угрюмые скалы и быстрые струи Катуни казались ему особенно красивыми и особенно ясными и теплым день; иногда он взглядывал на небо, без отметинки синее и глубокое; одиночество не томило его; с ним был его Господь, для Которого он приобрел душу Тортоса и надеялся приобрести Сапыра и его семью, и светлая радость исполненного долга заставляла зажигаться теплой любовью его глаза, которыми он глядел на Алтай, на эту страну, в которую принесли готовые для подвига душу и силы.

(Post scriptum)

На милом Алтае могилы родные,
Облитые солнцем, стоят,
Над ними, как стражи, гиганты лесные
Приветно ветвями шумят.
И горы кругом поднялись, исполины,
– Вершины их в небо ушли;
Прекрасны Алтая озера, долины,
Где подвиг когда-то несли
Всё те, что лежат под родною землею
В долинах Алтая везде,
Все те, что несли ему слово святое
И жизнь проводили в труде...
Не все они тут, потрудившись в мире,
Почившие, нету иных,
Но сердцем Алтай они крепко любили,
И дух их средь гор дорогих.
Макарий, смиренный апостол Алтая,
Спит в Бологове, там, под Москвой;
Владимир, ушедший из милого края,
В Казани нашёл свой покой;
У церкви Стефан⁴⁴ и Василий⁴⁵ почили, –
В Алтае их чтут имена,
Они его тоже всем сердцем любили,
И их не забудет страна...
Да, много могил полагавших за брата
Всю душу... легка им земля:
Они тут ходили, любя её свято,
И горы, и лес, и поля...
Есть много живых, но далеких отсюда,
От края до края земли
Они, по велению Божию, всюду
Из гор своих милых ушли...
Епископов сколько Алтай дал России!
Мефодий⁴⁶, Макарий второй⁴⁷,
Владимир Сеньковский⁴⁸, отец Иннокентий⁴⁹

И Сергий⁵⁰ Алтаю родной,
Милетий⁵¹, другой Иннокентий⁵² есть ныне,
Но душу свою отдает Один,
Кто Алтай не покинул доныне,
Кого почитает народ, –
Макарий-печальник, и в сан облеченный,
Алтай свой родной не забыл:
Как прежде, так ныне он, сердцем смиренный,
Его так же нежно любил,
Паломник всегдашний туда: только лето
Растопит снега, он спешит
И взглядом, любовию полным, с приветом
Из Бийска на горы глядит.
Повиты туманом чуть видные дали.
Но ясны для сердца Того,
Кого они юношей кротким видали
И помнили свято Кого.
Теперь голова Его вся поседела
Под бременем лет и труда,
Но так же Он скор на Господнее дело,
Как был в том далеком... тогда.
И только из дымки неясной тумана
Алтай свой Его схватил взгляд,
Глаза его влажными кроткие станут
И радостью нежной горят,
И путь свой вершит
Он по тихим долинам,
И едет из края и в край,
Как в юные годы; как прежде, так ныне
Приветствует старца Алтай.
Вот он, Артыбаш и Телецкого волны!
И горных массивы громад,
Как прежде, так ныне, величия полны,
Над озером гордо царят.
Приветливы, ясны алтайские лица,
Встречает с любовью народ,
Алтайцы из далей спешат вереницей,

Узнав, что Макарий плывет.
Всю жизнь Он отдал им, как жертву для края,
Принес им все силы свои,
Для блага своего родного Алтая
Во имя Господней любви.
Алтай это помнит, Алтай это знает
И ценит, там старый и мал
Своего печальника с лаской встречает,
И редкий его не видал.
Ему, Кого сердце моё почитает,
И я посвящаю мой труд.
С желаньем: пусть всякий сторонний узнает,
За что Его любят и чтут.

Алтайские слова, встречающиеся в книге «Апостолы Алтая», их перевод и значение

Аба – отец,
Абам – отец мой,
Абшияк – стариk,
Абыз – священник,
Аг-энэ – Белая мать,
Аил – алтайская деревня,
Ак-немэ – чистые духи,
Алас-ару – иволга,
Алтын-нор – Телецкое озеро,
Амру – молочница,
Аржан-элен – вереск,
Бадан – трава, употребляемая алтайцами вместо чая,
Байга – свадебный пир,
Балам – сын мой, дитя мое.
Басмак – камень для растирания соли, ячменя и т. п.
Бом – береговая скала,
Димича – помощник зайсана – князя волости,
Кагыр – слуга Ерлика,
Кайн – береза,
Калак – Ах... О, горе!
Кара-немэ – нечистые духи,
Карлагаш – ласточка,
Кой-чечек – белая ветреница,
Кол-куреэги – алтайская пифия,
Кочкор – камен. баран,
Крут – сыр,
Кудай – Бог,
Кузук-агаш – кедр,
курмач – поджаренный ячмень,
Курюк-ай – март,
Курюмесь – диавол,
Курьмижек – идол, божок,
Куу – лебедь,

Марал – алтайская роза,
Пертык-сынык – перелом кости,
Позучак – теленок,
Прют-аркыш – папоротник,
Пыштак – сыр,
Сарынчи – певец,
Сомо – семь разноцветных тряпочек, висящих перед
идолами,
Сыгын-ай – сентябрь,
Тегенэк – шиповник,
Терек – тополь,
Тимырыт – черемуха,
Толкан – толчённый поджаренный ячмень,
Толоно – боярка,
Торбок – бычок,
Торчик – соловей,
Ульгэнь – Доброе Начало,
Уулчак – мальчик,
Чан-ай – октябрь,
Чегедек – жен. головной убор,
Чегэнь – кислое молоко,
Эзень-болзын – прощай,
Элик – козочки,
Эрлик – злое начало,
Якши – хороший,
Яламбашки – раковинки, вплетенные в косу,
Яман паалу – венерич. болезнь.

Примечания

- ¹ - Глухарев, † 18 мая 1847 года.
- ² - (Ин. 15: 31)
- ³ - (Мт. 20: 1–9)
- ⁴ - Осенью 1830 года
- ⁵ - Протоиерей С. В. Ландышев, † 25 декабря 1882 года.
- ⁶ - (Мт. 9: 37)
- ⁷ - (Мт. 20: 3–9)
- ⁸ - (Мк. 1:2–4).
- ⁹ - (Мт. 10:8)
- ¹⁰ - (Ин. 15:19)
- ¹¹ - (2Кор. 11:16)
- ¹² - Днесь благодать Святого Духа нас собра
- ¹³ - (1Кор. 3:6)
- ¹⁴ - (Ин. 16:22)
- ¹⁵ - (Мт. 24:14)
- ¹⁶ - (Мт. 12:49)
- ¹⁷ - (Мт. 10:42)
- ¹⁸ - Ныне митроп. Московский Макарий.
- ¹⁹ - Невский, ныне митрополит московский.
- ²⁰ - Спиридоновской церкви свящ. Николай Лавров.
- ²¹ - Белуха
- ²² - Колотушкою
- ²³ - Лепта – это сборник песнопений религиозно-нравственного содержания.
- ²⁴ - Ныне митроп. Московский
- ²⁵ - Христос Воскрес
- ²⁶ - Гора на лес. Берегу р. Катуни, против устья р. Маймы
- ²⁷ - Река в Улале
- ²⁸ - Гора в с. Улале
- ²⁹ - Село Бийского уезда
- ³⁰ - Лисицкий, старец из сосланных, сотрудник о. Макария

³¹ - Когда ветер дует снизу, Как не колыхаться вершинам камыша? Если подумаю о родных моих, Из худых (продырявленных) глаз слеза идет.

³² - Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело

³³ - Посреди гор пройдут воды... На горах станут воды...
Дивны дела твои, Господи

³⁴ - Слава Ти, Господи, сотворившему вся

³⁵ - Мф. 5,11,10. – Апокал. 22:14

³⁶ - Совершившего трудный путь, блаженной памяти иеромонаха о. Смарагда, удивленный начальник миссии спрашивает: «Да как это вы?» А он спокойно отвечает: «верхом, пешком, на лодке»

³⁷ - Письмо это и последующие – у автора воспоминаний

³⁸ - Плетка

³⁹ - Бывший Шульбинский миссионер, ныне епископ Новомиргородский

⁴⁰ - Река, впадающая в Телецкое озеро

⁴¹ - Берег озера

⁴² - Еп. Бийский Иннокентий

⁴³ - О. Михаила Чевалкова, крещёного алтайца, ставшего впоследствии священником-миссионером.

⁴⁴ - о. Стефан Ландышев

⁴⁵ - о. Василий Вербицкий

⁴⁶ - Еп. Читинский

⁴⁷ - Еп. Якутский

⁴⁸ - Архиеп. Новочеркасский

⁴⁹ - Еп. Благовещенский

⁵⁰ - Еп. Херсонский

⁵¹ - Еп. Барнаульский

⁵² - Еп. Бийский